

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

1/2021

Содержание

ПРОЗА

Александр МАРДАНЬ. Любимый дедушка. Странный детектив. Повесть.	3
Полина КУЗНЕЦОВА. Как говорит Никитка. Повесть.	59
Марина АРЖАНИКОВА. Рыбий клей. Рассказ.	98
Андрей НЕКЛЮДОВ. Чай с персиками. Рассказ.	112

ПОЭЗИЯ

Валерий ЛОБАНОВ. «Что кричит лесная птица...» Стихи.	55
Константин КОМАРОВ. Машина тишины. Стихи.	94
Никита ЗОНОВ. На белом ветру. Стихи.	109

МОЛОДАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дмитрий КОНОНОВ. Где-то сказки были. Рассказ.	121
Полина КОРИЦКАЯ. Шестнадцать счастливых минут. Стихи.	133

ДРАМАТУРГИЯ

Дмитрий РЯБОВ, Юрий ЧЕПУРНОВ. Танго с манго. Комедия в одном желании.	136
--	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей БУТРИН. Любовь Борисова — царственная легенда новосибирской сцены.	157
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Володя ЗЛОБИН. Русская ширококозая: перипетии Революции В. Я. Зазубрина.	173
--	-----

Коротко о книгах

Издано в Сибири.	186
------------------------------	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Андрей КУЗНЕЦОВ. Сложные оттенки простых красок.	187
--	-----

Авторы номера	191
---------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Александр МАРДАНЬ

ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА

Странный детектив

П о в е с т ь

Памяти моего деда Льва Клементьевича Ицковича, 1900 года рождения, прошедшего всю войну с солдатской медалью «За отвагу», получившего в 1952 году двадцать пять лет лагерей, реабилитированного в 1956-м после четырех лет лесоповала в Бодайбо, под Иркутском, и умершего в 1958-м от разрыва сердца, посвящается

Вы думаете, все так просто? Да, все просто. Но совсем не так, как вы думаете.

Альберт Эйнштейн

1.

Ивана Павловича Дымова разбудило тягостное чувство страха. Ощущение, будто ты подавился чем-то и не можешь вдохнуть, беспомощно хватаешь ртом воздух, но какая-то преграда не дает ему прорваться в легкие.

Так уже было тогда, в том «симметричном» 1991 году, когда в груди разлилась пекущая боль, стало темно в глазах. Хорошо, что все случилось на работе, ребята оказались рядом, скорая приехала быстро.

Инфаркт был обширный, но все обошлось. На память осталась только диета (никакого холестерина!), периодически профилактика в ведомственной клинике (за этим дочка неуклонно следила и манкировать процедурами не позволяла) да вот такие приливы беспричинного страха. Про них Иван Павлович ни врачам, ни дочери никогда не говорил. Зачем им об этом знать? В конце концов, это просто выброс кортизола, гормона страха, паническая атака, при нарушениях гормонального фона это бывает.

Врач, проводивший обследование, посоветовал: «С таким фоном вам надо не в следственных органах работать, а где-нибудь сторожем на авто-

стоянке, чтобы тихо, тепло и без стрессов». «Да у нас главный стресс знаете какой? Тонну бумаги за день исписать...» — отшутился тогда Иван Павлович.

Он знал, что сейчас нужно просто не торопиться, посидеть, восстановить дыхание — понемногу, маленькими глотками, осторожно, как будто пьешь холодную-прехолодную воду из лесного родника — таким вкусным и почти драгоценным кажется неглубокий вдох, который проникает в грудь.

Уже рассвело, истошно орал петух, и деловито клохтали соседские куры, в приоткрытое окно тянуло утренней свежестью, тени листвы, вперемишку с солнечными зайчиками, дрожали на занавеске. Судя по всему, будет опять солнечно.

Август в этом году выдался на славу, и, хоть по утрам сентябрило, днем было тепло, даже жарковато. Пацаны с окрестных дач с криками плескались в речке, стараясь получить максимальное удовольствие в последние дни, оставшиеся до нового учебного года.

Иван Павлович любил дачу. Здесь выросла его дочь Ленка, потом так же загорала дочерна и сдирала локти и колени, лазая по деревьям и заборам, внучка Машка.

Внучка звала Ивана Павловича дедом, но бабушку — только Машей. Маша-старшая говорила: «Летом счастливый ребенок должен быть ободраным, грязным и голодным». Теперь ее уже нет, она умерла быстро, через полтора месяца после страшного диагноза, опухоль была неоперабельна.

Они с Дымовым увиделись перед ее смертью, после стольких лет отдельной друг от друга жизни. Второй Машин брак был, видимо, вполне удачным, а вот Иван Павлович больше никогда не женился, хотя были возможности и все ему советовали. Но Дымову сама мысль об этом казалась нелепой. У других женщин было другое место в его жизни, а место жены навсегда осталось Машиним.

Дыхание постепенно восстанавливалось, сердце возвращалось к нормальному ритму, перестав учащенно биться о ребра.

Иван Павлович осторожно поднялся. Нет, ничего, обошлось. Сейчас чай, а потом, пока еще не жарко, нужно цветник в порядок привести.

Он прошаркал на кухню — ноги еще были ватными, — автоматически нажал кнопку электрочайника, ткнул пальцем в пульт телевизора.

Бодрый голос дикторши резанул тишину:

— ...Двадцать лет со дня так называемого августовского путча...

На экране — ГКЧП в рядок за столом и адажио из «Лебединого озера».

А ведь точно, девятнадцатое, как это он забыл! Дымов хлопнул себя по лбу.

Забурлил чайник. По телевизору еще что-то говорили, но Иван Павлович, пытаясь размазать замерзшее обезжиренное масло (никакого холестерина!) по куску хлеба, уже не обращал на это внимания.

В тот август возвращаться не тянуло, не хотелось его вспоминать, словно морок, наваждение, угарный кошмар. Обжигаясь чаем, Дымов

проглотил бутерброд, не почувствовав его вкуса, и поспешил во двор, на воздух. Дышать опять было трудно.

Жаркий день еще не начался, с деревьев капала обильная ночная роса. Дымов вступил в калоши и пошел по мокрой траве к зарослям золотых шаров у забора. Где-то там он бросил вчера вечером секатор, не закончив подрезку.

Соседка тетя Клава, конечно, уже была на ногах, что-то подправляла на своих безупречных, словно по линейке вычерченных грядках.

— Доброго утрачка, Иван Павлович! С хорошей погодой вас!

— И вам того же! — отозвался Дымов.

— Цветочки стрижете, красоту наводите? — в голосе тети Клавы звучало нескрываемое ехидство. — Вы бы там, позади дома, посмотрели — у вас там бурьян по пояс, ко мне через забор лезет! А у меня помидоры...

— Ну да, ну да... — виновато согласился Дымов. — К вечеру попробую ликвидировать. Так уж получается...

Тетя Клава, бодрая старуха, которой, как и Дымову, было уже порядком за семьдесят, неизменно порицала своего соседа за бесхозяйственность. На всем участке Ивана Павловича не было ни единой грядки, деревья росли не в специально отведенном саду, а где попало. В довершение картины прямо перед крыльцом красовался огромный чертополох с колючими сизыми листьями и мохнатыми, пряно пахнущими пунцовыми цветами. Иван Павлович не стал выдергивать этого красавца, случайно поселившегося чуть ли не на проходе. Впрочем, для чертополоха это место, наверное, было вполне удобным.

Сама тетя Клава давно переселилась на дачу и вела хозяйство образцово, выращивая невероятное количество сельхозпродукции. Свежими, а также закрученными в банки фруктами и овощами были обеспечены не только ее многочисленные дети и внуки, но и нерадивый сосед.

К Дымову тетя Клава относилась со снисходительной жалостью. А как еще можно относиться к человеку, который, живя на земле, ходит в поселковый магазин за картошкой? С другой стороны, она уважала Ивана Павловича и была ему благодарна, поскольку именно он в свое время отстоял для дачного поселка речку.

Дачный поселок был старым. Из-за удаленности от города (больше часа на электричке, а автобусом еще дальше) он считался не особо престижным, участки здесь получили работники городских фабрик, врачи и школьные учителя.

Первые поселенцы воспринимали счастливую дачную жизнь как воплощение идеала свободы, равенства и братства. Свобода, понятно, регламентировалась уставом садоводческого товарищества, поэтому тогда, в шестидесятые, поселок застраивался типовыми домиками. Дома Ивана Павловича и тети Клавы сохранились еще с тех пор, теперь здесь таких старожилов было мало.

В девяностые годы обнищавшие врачи и учителя, а с ними и фабричные, потерявшие работу, распродавали свои участки. Новые владельцы полностью изменили облик поселка — появились монстры с колоннами и

фронтами на все четыре стороны, несуразные трехэтажные сооружения с псевдомавританскими арками...

Город постепенно придвигался все ближе, к поселку провели дорогу, соединив ее с шоссе, сохранившийся лес и река приобрели новую ценность, да и размах собственников стал совсем другим. Дома теперь строили под руководством профессиональных архитекторов, с большими окнами и стеклянными крышами. Новые участки сразу окружались высокими заборами, и какие за ними чудеса зодчества, было не разглядеть. Как, впрочем, и вообще не увидеть, что за жизнь там идет. Подъезжали громоздкие черные, как катафалки, машины, выходила молчаливая обслуга, хозяева с соседями не общались, да и вообще не знакомились.

И однажды жители поселка обнаружили, что выхода к реке у них больше нет: металлический забор, возникший всего за одну ночь, перекрыл дорогу.

Инициативная группа во главе с тетей Клавой попыталась не пропустить технику на огороженный участок, который немедленно начал было застраиваться. Но решающим оказалось вмешательство Ивана Павловича. Он подключил к делу областную прокуратуру, и в результате доступ к реке был отвоеван, строительство за забором угасло, не начавшись, а хозяина участка так никто и не увидел.

После этого тетя Клава зауважала Дымова и теперь прощала ему чудачества с чертополохом и магазинной картошкой. Она даже считала своим долгом подкармливать странного, но полезного, как выяснилось, соседа — пусть в отставке, но старшего следователя областной прокуратуры.

Иван Павлович тетю Клаву немного побаивался, но тоже уважал. За ее неистребимую энергию, за доброту, которую она прятала под горластой напористостью, и, наверное, за Машу.

Маша всегда дружила с тетей Клавой и была единственной, кому было позволено называть соседку просто Клавдией. Именно так, с ударением на втором слоге, тетя Клава, уроженка Рязанской области, проносила свое имя.

Клавдия трогательно, хотя суетливо и немного неуклюже, ухаживала за Машей в то последнее лето. Маша знала, что умирает, и неожиданно попросила разрешения приехать на дачу, чтобы проститься со всеми и, может быть, с каким-то счастьем прошлой жизни.

Умерла она в августе в больнице. И мать Ивана Павловича когда-то умерла в августе. И сам он еле выжил после августовского инфаркта. И вообще много чего страшного случалось в августе, неудивительно, что Дымов так не любил этот месяц.

Иван Павлович невольно обманул тетю Клаву, когда пообещал срочно навести порядок на участке. Как только он вернулся к золотым шарам, в кармане звякнул телефон — напоминание о сегодняшних планах.

Не будет он нынче полоть этот злосчастный бурьян. В обед обещала заехать Машка, договорились вечером идти в театр: у Лены спектакль. Не премьера — репертуарный, но она звала, значит, семья едет.

К профессии Лены в семье Дымовых относились с уважением, хотя сперва Иван Павлович был категорически против, когда дочь вознамерилась поступать в Щукинское.

Несмотря на домашние скандалы, Лена все-таки уехала в Москву. Поступила с первого раза — и так же страстно, как раньше протестовал, Дымов стал гордиться дочерью. Через полгода она сообщила, что выходит замуж, а еще через полгода — что разводится. Родилась Машка, Маша-старшая ушла с работы, чтобы растить внучку, а потом и вообще ушла, но это не имело отношения к Лене, а только к нему, Дымову.

Вернувшаяся после «Щуки» дочь устроилась в городской театр и быстро стала получать роли.

Тогда Дымов завел традицию — каждая новая роль Лены становилась для семьи событием. На следующий за премьерой день Иван Павлович брал выходной, все шли в цирк, зоопарк, на каток или еще куда-нибудь и делали большую фотографию. Фото в рамках развешивали в комнате — вначале это делал он сам, а потом Машка. Это стало ее коллекцией маминых ролей и семейных праздников. Такие вот околотеатральные радости...

2.

Сейчас Виталий Николаевич, наверное, смотрит на все по-другому, а тогда, в далеком девяносто первом, он, Виталик Сергушин, точно знал, что с наставником на первом рабочем месте ему не повезло.

— Прикрепляю тебя к Дымову, будешь работать с ним. Характер у него сложный, но если хочешь по-настоящему что-то уметь — учись у него. Потом мне спасибо скажешь. Ну, иди, — протянул руку, прощаясь, начальник отдела Сергей Петрович.

Общий кабинет следователей был маленьким, темным. Стол Виталику отвели возле окна, за которым, полностью перекрывая доступ света в помещение, росла могучая липа. Напротив — стол этого самого Дымова.

Ребята в отделе оказались нормальные.

— Ну, что тебе Петрович сказал?

— Сказал у Дымова учиться.

— Ага, учись, студент! — рассмеялись они. — Попробуй с ним характером помериться!

— Ну, во-первых, уже не студент, а сотрудник следственного отдела областной прокуратуры, — огрызнулся Виталик. — А во-вторых, мне всегда не нравилось, когда человек говорит о себе: «У меня плохой характер». Вроде: «Я-то хороший, это характер у меня плохой». И потом, этому Дымову ведь уже на пенсию собираться пора?

— А его здесь не за душевные качества держат, а за чутье. Ради нюха его все терпят, так что и ты потерпишь, — вдруг отрезал Саша Груздев, полноватый и румяный, как девушка.

— Да, чутье у него звериное. Этому и учись. Детей с ним крестить тебя никто не заставляет, — вступился за Дымова и Толя Лазаренко. Он яростно кланднул скоросшивателем и захлопнул папку. — Все, не могу



я больше! Не пишется мне с утра, вдохновения нет. Что, новый сотрудник следственного отдела, когда проставляться будешь? Я сегодня не на дежурстве, к вечеру освобожусь.

— Да я готов, ребята, только вот города вашего не знаю. Вы где обычно сидите?

— Мы, Виталья, не сидим, мы из вежливости место другим уступаем, — улыбнулся Груздев. — Все покажем, не переживай. Как говорится, велкам в наш дружный коллектив!

— Уж не знаю, какой там «велкам», только у нас труп, — раздалось из-за отворившейся двери.

Так Виталий впервые увидел Дымова. И тот ему сразу не понравился.

В кабинет не столько вошел, сколько проскользнул небольшой лысоватый человек с мелкими чертами лица и совсем не соответствовавшими им кустистыми бровями, которые нависали над глазами и прятали взгляд.

— Труп, мои драгоценные юноши, — повторил Дымов. — Кто со мной, Петрович уже распорядился?

— Иван Палыч, наш новый сотрудник — Виталий. Рекомендую! — Лазаренко сделал широкий жест в сторону Сергушина.

— Ну да, ну да... — пробормотал Дымов, не поворачивая головы. — Я к начальству.

Лазаренко оторвал взгляд от закрывшейся двери кабинета и пожал плечами:

— Вот такой, что поделаешь... Да не бойся, Виталья, привыкнешь. Так кто на выезд?

В машине по дороге на место происшествия дальнейшее знакомство, как на то надеялся Виталий, не состоялось.

— Писать разборчиво умеешь? Почерк хороший? — буркнул Дымов, глядя в окно.

— А разве это главное качество следователя?

— А какое еще? Протокол, составленный неразборчивым почерком, юноша, признается существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства и не может быть использован в судебном доказывании. Вас этому учили? Так что уж постарайтесь, коллега...

Труп мужчины, на вид около сорока лет, лежал под кустами на обочине аллеи у самого выхода из парка. Милиция и криминалисты уже были на месте. На краешке скамьи сжалась девушка в спортивном костюме, у ее ног свернулся клубком черный пуделек. Ясно: собачница, наткнувшаяся на труп.

Судмедэксперт, пожилой мужчина, протянул Дымову руку:

— Доброе утро, Иван Павлович! Смерть в результате проникающего ранения, умер сразу. Время — около полуночи, все детали позднее.

— Спасибо, Евгений Михайлович, только не тяните с «позднее».

— Понимаю. Мы с вами в последнее время часто при подобных обстоятельствах встречаемся...

— В любое время все нужно быстро делать. Они вон, — Дымов кивнул на кусты, будто за ними прятались преступники, — не медлят. Ты все пишешь? — обернулся он к Виталию.

— Как учили!

— Ну да, ну да...

Дымов будто не расслышал раздражения в ответе. Он склонился над телом:

— И что тут? На шее цепь из металла, напоминающего золото, на руке два массивных перстня из похожего металла. Бумажника, документов нет. Юноша, опишите одежду, она у него недешевая. Кстати, туфли не по сезону. Явно не собирался по лужам бродить. Как его сюда занесло? Смотрите, юноша, теперь вы.

Дымов в стороне о чем-то переговаривался с экспертом и оперативниками, побеседовал с девушкой, потрепал по голове пуделя, потом взглянул через плечо Виталия:

— А вот так не пишут! Что значит «около тела»? В протоколе должно содержаться ясное и точное описание места происшествия и всего, что на нем находится. Диктую: справа от тела, на расстоянии десяти сантиметров от правой руки, шариковая ручка из пластмассы грязно-розового цвета, без колпачка...

— Товарищ старший следователь, а грамматические ошибки проверять будут?

— Вот вернемся в контору, там и проверим. Я сам проверю, как старший по званию.

В кабинете у начальника собрался весь отдел. Докладывал Дымов.

Сергей Петрович крутил в пальцах скрепку и досадливо хмыкал:

— Значит, как я понимаю, устанавливаем личность. Судя по всему, из этих, как их теперь называют, новых русских, хотя не все они русские. Нужно «пальцы» по нашей базе отследить: эти новые — часто наши криминальные старые. Ну и там заявления о пропаже... ну вы знаете... Свидетелей нет?

— Нет, сейчас не та погода, чтобы ночью по парку гулять. Но будем работать и в этом направлении.

— Да, конечно, — согласился Сергей Петрович и вздохнул, — но шансов немного. Следы ограбления?

— Бумажника нет, в кармане несколько мелких купюр. Но золота на убитом было как на новогодней елке, его не взяли.

— Версии?

— Может, все-таки ограбление? Деньги забрали, а золото не успели, кто-то помешал? — подал голос Саша Груздев.

— Едва ли ограбление. Сорвать цепь с шеи легче и быстрее, чем карманы обчистить, — отмахнулся Сергей Петрович. — Еще версии? Лазаренко!

— Думаю, если он из бизнесменов, точно были к нему вопросы у своих же. Я бы предложил вести производство как заказное.

— Очень может быть. Но место убийства? Киллеры работают по плану, изучив обычный распорядок жертвы. Что-то мне не верится, что убитый регулярно гулял в этом месте и в это время.

— А может, подстава, заманили? Может, возвращался из гаража? — не сдавался Толя Лазаренко.

— Те, кто пешком из гаража идут, наемных убийц не интересуют, их не заказывают. Подстава? Возможно, возможно... Отрабатываем и эту версию.

— Разрешите? — Виталий встал, и все посмотрели на него, кроме Дымова. — Что, если это семейные дела? Жена заказала или дети?

— Дети его, пожалуй, малы для убийства, а вот жена... О господи, нет ничего мутнее для раскрытия, чем семейные разборки, но работать и здесь будем. Иван Павлович, ваше мнение?

— Да какое мое мнение! — пробормотал Дымов. — Пока у нас не появятся зацепки, нет у меня никакого мнения. Вот придет экспертиза, подготовлю материалы по возбуждению...

— Очень хорошо! — раздраженно бросил Сергей Петрович. — Боюсь, опять у нас глухарь в конце отчетного периода. Вот тебе и показатели раскрываемости! Мы из всех областей лидеры по убийствам! Просто впереди планеты всей! Конец месяца, а мы новое дело по факту возбуждаем... Так вот, мне нужны результаты! И как можно скорее, понятно? Дымов, сегодня же доложить о детальных планах следствия! Группу усиливаем Сергушиным. Пусть сейчас же вгрызается в тему. Я должен как можно скорее получить факты, мне на коллегии голову снимут! Все!

Следственные мероприятия, проведенные отделом в последующие дни, кое-какую информацию принесли, но была она неутешительной. Убитый оказался бизнесменом Васечкиным. Все выглядело как чистая случайность: из-за приступа острого аппендицита, случившегося у водителя, бизнесмену пришлось возвращаться из ресторана пешком. Свидетели подтвердили, что Васечкин отказался вызвать такси, сказав, что хочет подышать воздухом, и бахвалился, что бояться ему в этом городе некого. Официантка показала, что бумажник при нем был, а про документы, мол, она ничего не знает. Семейный заказ не подтверждался — жена искренне оплакивала кончину мужа, и, кроме того, мотива у нее не было: все нажитое уходило по завещанию не ей, а сыну Васечкина от первого брака, которого давно увезли за границу. Документы бизнесмена были дома, и, со слов жены, бумажником он не пользовался, часто их терял, а наличные носил в кармане. Толя Лазаренко продолжал разрабатывать версию заказа, связанную с бизнесом, обратился к специалистам из ОБХСС. Там был свой человек — майор Живокостов, который прежде работал в отделе Сергея Петровича. Лазаренко с ним одно время даже приятельствовал. После ухода в ОБХСС Живокостов отошел от бывших сослуживцев, но помогать продолжал. И все-таки производство рассыпалось. Предчувствия Сергея Петровича о всяке оправдывались, и никому в отделе это настроения не прибавляло.

Виталий за это время успел обмыть свое первое место работы (Дымов пришел вместе со всеми в ресторан, но был немногословен, посидел недолго и, сославшись на явно выдуманную причину, скоро ушел, о чем Виталий ничуть не пожалел), подружиться с Груздевым и Лазаренко, узнать имена нескольких хорошеньких девушек из архива и канцелярии. Во время ночного дежурства Сергушин самостоятельно выезжал на место происшествия, где познакомился с судмедэкспертом Евгением Михайло-

вичем и даже, кажется, понравился ему. А для следователя быть в хороших отношениях с медэкспертизой — первое дело! К счастью, вызов оказался не криминалом: бомж наглотался в коллекторе воды, так что этот инцидент не испортил отделу показатели раскрываемости по бытовым преступлениям.

С Дымовым отношения не складывались. Тот придирался к новичку по всякому поводу: то Виталий чашку не помыл, то папки не так сложил, а то лист у фикуса отломил... Фикус стоял в простенке между окнами и занимал почти полкомнаты. Дымов относился к растению нежно, сам поливал и протирал его листья. Сергушин случайно отломил лист, проходя мимо фикуса. Выслушивать упреки пришлось несколько дней.

— Не хотел бы я с ним в одном купе из Москвы до Владивостока ехать, — жаловался Виталий ребятам.

Те с ним соглашались и даже сами часто злились на Дымова. Но, как замечал Виталий, злились не по-настоящему, а так, как обижаются на чудачества близкого друга. Хотя друзей у старого следователя вроде бы не было.

Однажды утром Дымов вывалил на стол Виталия кипу папок:

— Вот, за последние полгода. Изучай!

— Зачем? — удивился Виталий.

— Ищи.

— Что искать, Иван Павлович?

— Знал бы, сам бы нашел. Думай! По крайней мере, опыту наберешься.

— Да ведь это всяки по отделу. Еще до моего прихода. Единственный опыт, который я могу приобрести, — это как не раскрывать преступления.

— Ты что, поставлен надзор за следствием осуществлять? Лучше чашку помой, развел черт-те что на столе! — Дымов сдвинул в сторону чашку с недопитым утренним чаем и развернул папки веером.

— Это не черт-те что, это атмосфера комфорта, а чай помогает, — возразил Виталий, но Дымов, по своему обыкновению, довод не воспринял.

— Что у тебя на служебном столе, то и в голове. Твоя голова — твои проблемы, а в кабинете должна быть рабочая атмосфера. Давай-давай, за дело...

3.

Новое убийство не заставило себя ждать. Дежурил Саша Груздев, но на место происшествия вызвали и Дымова.

Холодное, промозглое раннее утро, обшарпанный подъезд пятиэтажки с покосившейся, незакрывающейся дверью. Труп мужчины в старых, изрядно растянутых тренировочных штанах и нелепой домашней кофте, которая с одинаковым успехом могла быть как мужской, так и женской. Человека убили на пороге собственного дома. Плачущая жена в байковом халате поверх ночной сорочки, испуганный мальчишка лет восьми, которого соседка поспешно увела в спальню, когда в квартиру вошли участковый и следователь.

— Убитый — Игорь Петрович Антонов, тысяча девятьсот шестьдесят третьего года рождения, проживал здесь: Савеловская, тридцать три, квартира четыре, — вместе с женой и сыном. Жена показывает, что... — зачастил участковый, но Дымов его остановил:

— Да, спасибо, хорошо, хорошо... Я сам спрошу. Сядьте, пожалуйста, — обратился он к всхлипывающей женщине. — Как вас зовут?

— Валя... Валентина Петровна. — Женщина присела на краешек дивана, застеленного смятой постелью.

— Пожалуйста, Валя, ответьте на мои вопросы, это очень важно. Это вы обнаружили мужа?

— Я... Я проснулась, а его нет. Думаю, что такое? Свет ни в туалете, ни на кухне не горит. Где же ему быть? У нас две комнаты, там Сашка спит, тут — мы... — Она показала на разложенный диван.

— Ну да, ну да... А что же дальше?

— Я подумала, что он покурить вышел. Ну и...

— Подождите, подождите, не торопитесь, — подчеркнуто спокойно попросил Дымов. — Ваш муж часто по ночам курил? Или, может, вчера нервничал?

— Игорь вечером очень на свое начальство ругался. Он на заводе работает — на «Стальканате», так им опять сказали, мол, зарплаты в этом месяце не дадут, а если что не нравится — так увольняйтесь. Я на «Медтехнике» работаю, нам зарплату тонометрами дали, мы их собираем. Их хоть продать можно, я уже два продала — Люсе из восемнадцатой квартиры и...

Женщина вдруг остановилась и с недоумением посмотрела на Дымова.

— Да-да, говорите, я вас внимательно слушаю... Не спешите. Так, значит, ваш муж на «Стальканате» работал? Это большое предприятие, когда-то богатый был завод...

Дымов метнул из-под кустистых бровей быстрый взгляд на участкового, пытавшегося прервать разговор. На лице лейтенанта явственно читалось нетерпение и неодобрение: для чего терять драгоценное время, выслушивая информацию, не имеющую отношения к делу?

— Когда-то был, а сейчас... — женщина запнулась. — Господи, для чего я вам это рассказываю? Вы же меня о чем-то спрашивали?

— Ну да, ну да... Значит, ваш муж ночью покурить решил. А как же он на улице оказался? Он что, всегда на улице курил?

— Конечно, на улице. У нас же первый этаж, балкона нет, это же хрущевка. Я в доме дымить не разрешаю, да и не привык он, да и Сашка... Ой!.. — Женщина прикрыла рот ладонью и круглыми, полными ужаса глазами уставилась на следователя: — Так это я во всем виновата, получается, что его на улицу курить выгнала? Курил бы дома, целый бы остался...

Она больше не рыдала, но по лицу катились слезы, капая на руку, зажимавшую рот, стекая в рукав халата. Дымов беспомощно озирался вокруг, пытаясь найти какой-нибудь платок, и наконец протянул ей детскую футболку из стопки одежды на столе, приготовленной, видимо, с вечера для утренних сборов в школу:

— Вот... вот, вытрите... успокойтесь... Ну в чем же вы виноваты, Валя? Да ни в чем. Воды выпьете? Лейтенант, принеси воды!

Женщина сделала несколько глотков из чашки, поданной участковым. Дымов подождал, пока она опять сможет говорить.

— Так-то лучше. А теперь скажите, который был час, когда ваш муж пошел курить? Он ложился спать или еще нет?

— Да почему нет, мы легли. Сашка уже спал. И Игорь лег, и... — Женщина опустила глаза и вдруг густо покраснела. Стало видно, что она еще молода, белокожа и, наверное, может быть привлекательной. — В общем, потом я сразу заснула, а Игорь еще вертелся в кровати. А потом я проснулась, а его нет. Дальше я ведь уже рассказывала...

— Да-да, рассказывали, — успокоил ее Дымов. — А в котором часу вы проснулись?

— Не знаю, уже под утро, но еще было темно. Я к окошку подошла, а у нас тут на улице ничего не видно, лампочки возле подъезда сроду не было. Я его не разглядела, вот и решила выйти.

— И последний вопрос. Скажите, Валя, а были у Игоря враги — кто-то, кто ему мог бы зло причинить?

— Да нет, что вы! — Валентина махнула рукой. — Какие у него враги? Он тихий у меня, я его даже иногда ругаю, что за себя постоять не может и все на нем ездят. Нет, вы не подумайте, мы хорошо живем... жили... Зря, выходит, ругала! А что теперь будет, что делать? Он же там... — Она кивнула в сторону окна.

— Вам все товарищ участковый объяснит. Спасибо большое, вы очень помогли. — Дымов поднялся.

Саша Груздев заканчивал с осмотром места происшествия, тело уже увезли.

— Ну, что у нас здесь, товарищ Груздев? Что нового эксперты говорят?

— Вы же знаете, Иван Павлович, они много не говорят. Подробности — после вскрытия. Пока так: смерть наступила за пять-шесть часов до начала осмотра, как раз между двадцатью двумя и двадцатью четырьмя часами. Удар нанесен тяжелым тупым предметом в левую височную область. Предположительно, орудием убийства может являться что-нибудь тяжелое, имеющее форму схожую с цилиндрической, — например, металлическая труба... И это уже от меня: следов ограбления нет, — доложил Груздев.

— Ну а тут что? — Дымов поводил светом фонарика по потрескавшемуся асфальту и мусору на нем.

Саша показал на раскрытую сумку:

— Тут вокруг окурки, пачки сигаретные, вообще наплевано. Но я по возможности собрал, на всякий случай к вещдокам приобщил. Вы на меня не ругайтесь, ладно? А то Толька Лазаренко вечно смеется, что я все, что попало, тащу. Говорит, что работы всем прибавляю. Но поди знай, какие детали понадобятся...

— Да чего ж ругаться, все правильно, молодец, — одобрил Иван Павлович и вроде бы даже улыбнулся. — Сегодня нужно опросить возможных свидетелей, соседей в первую очередь. Хотя какие тут свидетели

глухой ночью, все по норам спят, кричи — не докричишься... А он мог кричать?

— Евгений Михайлович говорит, что с полученными повреждениями он жил еще десять — двадцать минут, но позвать на помощь никого не мог.

— Да уж, с помощью у нас того... В том числе и с помощью от нас, — снова помрачнел Иван Павлович. — Ну что, поехали докладывать. Опять сегодня от Петровича разнос получим...

И конечно же, Дымов не ошибся. Советование было бурным, Сергей Петрович бушевал, и все понимали, что возразить ему нечего.

— Новый эпизод — в разработку Дымову. Иван Павлович, доклад мне ежедневно, ежечасно, ежеминутно! Лазаренко, что по Васечкину?

— Я консультируюсь по экономическому аспекту, вот сегодня Живокостов обещал зайти. Работаем, Сергей Петрович!

— Что ты мне пятый раз про Живокостова? Он что, теперь главный консультант нашего отдела? Пригнулся у них там, в ОБХСС. Оно и понятно: на убийства ездить не надо. Ты мне результаты давай!

— Стараемся, Сергей Петрович, завтра доложу, — пытался успокоить начальника Лазаренко, но Сергей Петрович не унимался:

— Сергушин, что у тебя?

— А что у меня? Я по заданию Ивана Павловича старые дела перечитываю. Знакомлюсь, так сказать, с архивом нераскрытых с целью опыт перенять, — съязвил Виталий.

— У нас больше никакой работы нет? — возмутился Сергей Петрович. — Иван Павлович, бросай его на дело Антонова. И Груздева туда же, и вообще все прогрессивное человечество!

— Да я тут вот о чем подумал, — начал Дымов. — Что, если... В общем, есть одна идея, Сергей Петрович. Возможно, что... Только проверить надо.

— На сегодня все. Проверьте, находите возможности, но чтобы факты были! Я свою голову дальше на плаху понес. Мне сейчас что-то доложить нужно, буду сочинять, шкурку на кисель натягивать... Все свободны, в смысле — все заняты работой. Идите!

В коридоре Виталий нагнал Дымова:

— Иван Павлович, вы меня в курс нового дела вводить будете?

— Буду. Только вначале поговорим о том, что ты в старых делах нашел.

— А что там найдешь? Вы бы мне лучше рассказали, а то ведь я знаю, как следственные дела ведутся. В живом разговоре намного больше узнать можно.

— Живой всегда лучше, чем мертвый. Только я не знаю, как вас там учили, а у меня дела ведутся в соответствии с правилами уголовно-процессуального законодательства, — отрезал Дымов. — Перекур. Вернись — отчитаешься. И чайку бы неплохо.

Виталий пошел в кабинет ставить чайник, а Дымов направился во внутренний дворик, куда теперь, в свете борьбы с курением на рабочих местах, выселили всех курильщиков. В дверях он столкнулся с радостно улыбающимся Живокостовым.

— Здравствуй, Иван Павлович, дорогой! Как дела? — Живокостов протянул руку.

Дымов ответил на рукопожатие, правда, энтузиазма ему изобразить не удалось. Он не любил Живокостова, всегда уверенного в себе, гладко выбритого. Когда тот еще работал в отделе, он казался Дымову каким-то неестественно новым в своих выглаженных рубашках и всегда чистых, даже на выездах, туфлях. Теперь Живокостов стал будто еще новее, во всяком случае, костюм у него был явно еще дороже, а очки на маленьком носу еще фирменнее.

— Привет, привет... Какие у нас дела? Тайна следствия, знаешь ли. А ты легок на помине, про тебя сейчас у Петровича Лазаренко говорил.

Живокостов расхохотался:

— А ты, я смотрю, не меняешься, все такой же колючий. В смысле, мы знаем, кто легок на помине, — дураки? Да ладно, с Лазаренко у меня одно дело, а к тебе — другое. И серьезное.

— Я скоро вернусь, — попробовал увильнуть Дымов.

— Да перестань, знаю, что нервно курить идешь. Вам, наверно, Петрович втык делал? Пошли вместе, там и поговорим, — потянул за собой Живокостов.

Единственный, зато раскидистый платан во внутреннем дворике издавна облюбовали местные вороны, поэтому сесть на загаженную скамейку под ним было невозможно.

— Угощайся, — Живокостов достал из кармана пачку «Кента».

— Ого, с удовольствием! — Дымов вытащил из протянутой пачки сигарету. — Где ты их берешь? Мы тут больше «Примой» пробавляемся, сейчас даже болгарских не достанешь.

— Да вот и я про это. Слушай, Палыч, есть серьезное предложение. Тут со мной один человек консультировался...

— Лазаренко, что ли?

— Да при чем тут Лазаренко? — удивился Живокостов. — Я тебе про серьезные вещи. Короче. Один человек, очень солидный, создает новую компанию, тоже очень солидную. Нужен начальник службы безопасности, ну ты понимаешь. Сколько ты получаешь, я знаю, он дает в пять раз больше и готов сразу заплатить за три года вперед. Единоновременно. Я решил тебе предложить, по старой дружбе.

— Это как — одновременно? Я привык ежемесячно в кассу ходить. — Дымов покрутил в руках сигарету.

— За своими копейками? Иван Павлович, не дури, что ты из себя младенца разыгрываешь! Еще раз говорю, предложение серьезное, от такого не отказываются.

— Знаешь что, Петя... Ты мне скажи, этот солидный человек по твоему отделу проходит или, не дай бог, уже и по нашему?

Живокостов обиделся:

— Ну как знаешь... Была бы честь предложена. Подумай еще, пару дней тебе дают. Надумаешь — набери меня. Я не гордый, я, Иван Павлович, умный. Может, и тебе поумнеть пора?

— Ну да, ну да... — Дымов растоптал окурок и хлопнул Живокова по плечу: — Спасибо тебе, коллега, за сигарету, давно хорошего не курил. Я умнеть буду на службе социалистической — или как оно теперь, капиталистической, что ли? — законности, ладно?

4.

В отделе над раскрытыми папками одиноко сидел Сергушин.

— Иван Павлович, чайник я вскипятил, только... пакетики у меня закончились, — замялся он, поднимаясь навстречу Дымову.

— Ничего, юноша, найдем. В обороне что главное? Харч! — Дымов достал из ящика стола коробку с чаем. — Давай подсаживайся, сейчас у нас с тобой брейв-ринг будет. Смотрел такую передачу по телевизору?

— Конечно, интеллектуальное шоу. — Виталий протянул дымящуюся кружку Ивану Павловичу.

— Что же ты, шоумен, накопал? Рассказывай.

Дымов отхлебнул обжигающий чай. Неприятное чувство, оставшееся после разговора с Живоковым, отступало.

— Я так понял, Иван Павлович, мы ищем какие-то совпадения, да? Вот я тут попробовал систематизировать, но почти ничего нет. — Виталий показал мелко исписанный лист.

— Понял ты правильно, молодец. Так «почти нет» или что-то есть?

— Время. Между двадцатью двумя и двадцатью четырьмя. Но это почти ни о чем не говорит. Самые беспокойные часы, всегда больше всего происшествий. И убийств в том числе. Потому во всех наших случаях и со свидетелями плохо — в это время народ по домам сидит.

— Подожди-подожди, — остановил его Дымов. — Во-первых, «почти» — это не слово для протокола, забудь о нем. Во-вторых, время может быть важно. Хотя, конечно... Место?

— Разные места. По нашим эпизодам: один труп на автобусной остановке, один — возле ночного магазина, один — на проезжей части дороги, правда, там маленький переулок, движения ночью никакого, обнаружили только утром. Один — в парке, и два — во дворе, рядом с подъездами, в которых убитые и проживали.

Виталий отвечал уверенно, сверяясь со своими записями. Дымов подавил удовлетворенную улыбку, взглянул на молодого коллегу одобрительно:

— А говоришь, ничего нет! Как это нет? Ты обратил внимание, где обнаружены трупы?

— В смысле?

— Если убийца хочет скрыть преступление, он будет тело прятать. А во всех наших случаях оно лежит на самом видном месте. Помнишь Васечкина? Проще простого было труп в кустах укрыть, а его прямо на аллее бросили, на обочине, мимо не пройдешь. Может, убийце нужно, чтобы жертву обнаружили быстро?

— Ой, Иван Павлович, это вы что же, на серию намекаете? — засомневался Виталий.

— Да не приведи господь, тьфу-тьфу-тьфу! — сплюнул Дымов. — Но исключать ничего не будем. Пошли дальше. Типология по жертвам?

Виталий вновь заглянул в свой лист:

— Пол, возраст, социальное положение, способ убийства — все разное. Даже национальность разная, это же сейчас может быть важно, вы знаете.

— Да знаю, — поморщился Дымов. — Давай еще раз пройдем, подробнее.

— Хорошо. — Виталий разложил перед собой еще несколько страниц. — Здесь у меня сводка по отдельным эпизодам, — пояснил он и начал перечислять: — Февраль. Два факта — убийства Звенигородцева и Зайченко. Петр Болеславович Звенигородцев, сорок два года, преподаватель института, возвращался из кафе, где отмечал с коллегами защиту диссертации, был пьян, почти две с половиной промилле в крови... Ой, простите, Иван Павлович, две целых и четыре десятых.

Дымов кивнул:

— Отлично. Дальше.

— Труп обнаружен на автобусной остановке. Удушение. Следующий — Василий Георгиевич Зайченко, пятидесяти шести лет, вышел в ночной магазин за сигаретами, рядом с этим магазином и обнаружен его труп, колото-резаные раны. Два эпизода в марте, оба — женщины. Одна — пенсионерка пятидесяти семи лет, работала уборщицей в двух маленьких магазинах, возвращалась с работы, удушение. Вторая, Анна Оганезовна Тертерян, студентка двадцати лет, была на дискотеке, поругалась со своим парнем, шла домой одна, убита во дворе дома, удар камнем по голове. Камень валялся рядом. Кстати, во всех других случаях орудие убийства обнаружено не было.

— И два трупа в апреле. — Дымов прошелся по кабинету. — Васечкин и Антонов. Бизнесмен и инженер завода. Колото-резаные и черепно-мозговая. Свидетели?

— Ничего ценного. Только в случае Зайченко продавщица магазина показала, что видела через окно, как подходил к нему какой-то мужчина, но ничего определенного, образ размытый.

— По опросу соседей Антонова тоже мужчина фигурирует, но тоже ничего конкретного — так, видели силуэт, — добавил Дымов.

— Понятно, что мужчина, не будет же женщина трубой размахивать, — согласился Виталий.

— Ну не факт, кто их знает... Что еще?

Виталий пошелестел бумагами на столе и вернулся к первому, мелко испisanному листу:

— Я вот тут еще мотивацию пробовал сопоставить. Она вообще не прослеживается.

— Общей-то, на первый взгляд, нет, а в каждом конкретном случае? — спросил Дымов.

— Да и в конкретном — непонятно. По отношению к женщинам — следов сексуального насилия нет, да и какое там насилие над старухой почти шестидесятилетней...

Дымов вскинул брови.

— Ой, извините, Иван Павлович, опять «почти»... — смутился Виталий.

— Да я не про «почти», я про старуху... Молодой ты еще! Ладно, не прерывайся.

— Самое вероятное в преступлениях такого типа — ограбление, но и тут не сходится. Кошельков, правда, ни у кого не найдено, но у некоторых их с собой просто не было. — Виталий сверился со своим списком. — Вот как у Зайченко, Антонова... У других, как показывают родственники, или в случае с кандидатом наук — коллеги по застолью, денег было немного. Ну, вероятно, за исключением Васечкина: жена никогда не знала, сколько у него денег. Так что если объединять дела по ограблению, то Васечкин и, может быть, Звенигородцев еще бы подошли, да и то с натяжкой, а остальные — нет. Какой смысл грабить человека, который в спортивных штанах у подъезда курит? Явно не миллионы у него в кармане. То есть по большей части мотивация неясна.

— Это она нам неясна, а преступникам очень даже ясна. Давай и мы думать.

— Неужели вы считаете, что я не прикидывал варианты? Хулиганские побуждения? Тогда бы избили предварительно, а тут — все убийства сразу и внезапно. А вы что думаете?

Дымов отхлебнул из чашки и брезгливо вылил остатки чая в кадку с фикусом:

— Фу, ненавижу холодный... Виталя, включи-ка еще раз чайник. А думать тут можно что угодно. Может, гастролеры появились, без системы работают, всех подряд загребают. Может, блатные в карты проигрывают.

— Кого проигрывают? Людей? — Виталий застыл с чайником в руках.

— Конечно. Кто проигрался, должен убить первого попавшегося. Бывает такое, мне встречалось. Чего мне только не встречалось... Человеческий род по части истребления себе подобных очень изобретателен. К несчастью.

— Я, Иван Павлович, даже версию маньяка пробовал рассмотреть, — смущенно признался Виталий. — Только маньяк — это же должен быть совсем ненормальный...

— То есть только маньяк — ненормальный, а другие убийцы — нормальные? Убийство — это по определению ненормально, иначе оно не было бы наказуемым деянием, — возразил Дымов.

Виталий попробовал оправдаться:

— Я имел в виду сложный психиатрический анамнез. Во всех других случаях мотивировка должна быть, в смысле *cui prodest**. И потом, если маньяк — это серия. А в нашем случае по каким критериям в серию объединять? Все разное, вы же сами видите, да и одного почерка нет. Что — по времени и по, простите, немотивированности? И кто нам это позволит? Что Сергей Петрович скажет? Нас просто засмеют.

* *Cui prodest?* — Кому выгодно? (Лат.)

— Ну, не надо бояться быть смешным. Меня это меньше всего заботит, а вот... — Дымов задумчиво почесал в затылке. — А что у нас с осмотром места происшествия? Что там в твоей сводке? Дай-ка я сам посмотрю, у тебя вроде почерк хороший, это я уже выяснил. Да, слушай, чертовски есть хочется! Уже, между прочим, обед. Как говорится, война войной... Не в службу, а в дружбу, сгоняй, принеси каких-нибудь булочек из буфета. А я тут пока почитаю.

Вернувшийся с булочками Виталий застал в кабинете табачный дым и Ивана Павловича с азартно блестящими глазами.

— Вот, Иван Павлович, принес. Вы с повидлом любите?.. А что это вы накурили? Сами всегда за дисциплину ратуете, а в кабинете хоть топор вешай!

— Подожди, — махнул рукой Дымов. — А вот скажи мне, мой друг, у кого, как правило, ручка при себе есть?

— У следователя. Мы столько пишем, что для нас это главное орудие производства, табельное оружие, — пошутил Виталий.

— Согласен, — радостно откликнулся Дымов. — А еще?

— Да у кого угодно. У врача, особенно участкового. У сантехника! — стал перечислять Виталий.

— А если человек поздно вечером в дежурный магазин выбежал в домашней одежде, только куртку набросил? Сигарет ему не хватило. Ему ручка нужна?

— Ему — едва ли.

— А теперь гляди. Вот что всегда на месте происшествия при осмотре находили. Ручку! Ты сам ее описывал по делу Васечкина. И так по всем эпизодам! Простая такая, шариковая, лежит себе рядом. Ну что — ручка? Ручка может быть у любого человека, ну выпала из кармана... Обрати внимание, везде простые ручки, дешевые, все время разные.

— Подождите-подождите... — Виталий начал догадываться, азарт Дымова передался и ему. — Но ведь у преподавателя могла быть с собой ручка. И у Васечкина, бизнесмена.

— У кандидата наук в кармане пиджака была хорошая подарочная ручка, а эта, которая улика, лежала рядом. Он что, специально какую-то другую темной ночью доставал, чтобы в пьяном виде что-то записывать? Он, судя по данным экспертизы, на ногах-то должен был плохо стоять.

— Точно! — воскликнул Виталий. — А ручку возле Васечкина я помню — такую розовую пластмассовую дрянь он и в руки бы не взял! И уж с собою точно носить бы не стал... Иван Павлович, неужели серия? Но ведь если это маньяк, то нужно понять, по какому принципу он жертвы выбирает, почему эти, а не те? И с какой целью убивает?

Только сейчас Дымов увидел пакет с булками:

— О, спасибо! С повидлом? Отлично!

И продолжил с набитым ртом:

— А вот по какому принципу выбирает и с какой целью... Если бы ты мне это мог объяснить, я бы предложил Петровичу в отношении тебя сразу об очередном звании ходатайствовать. Ну что, поздравляю, коллега!

Вот тебе и почерк, вот тебе и серия. Пошли «обрадуем» начальство. Вот чего нашему отделу не хватало для полного счастья...

Так молодой следователь Виталий Сергушин увидел воочию, что такое хваленое звериное чутье Дымова.

5.

Как Дымов и ожидал, сообщение о возможной серии Сергея Петровича не просто не порадовало, а повергло в глубочайшее уныние. И его можно было понять.

Сергей Петрович был начальником следственного отдела областной прокуратуры уже пять лет. Срок вроде бы и не такой большой, но на время его начальствования пришлось много событий и перемен. Он принял отдел вскоре после того, как страна вступила в эпоху ускорения, гласности и перестройки. По складу своего характера Сергей Петрович был человеком недоверчивым, и новомодные слова с не совсем понятным смыслом, которыми вдруг запестрели все газетные передовицы и зазвучали все радиоэфир и телевидение, воспринял с предубеждением. И хотя он исправно прочитывал «Правду», неизменно присутствовал на политинформациях в своем отделе (формально, согласно штатным обязанностям, он руководил проведением политинформаций, но делать доклады всегда поручал своим сотрудникам, апеллируя к их молодости и говорливости), многое оставалось для него неясным.

Каждый вечер в девять часов он усаживался перед телевизором. Это было его законное время, когда никто из домашних не имел права беспокоить деда. «Считайте, что я на работе!» — однажды сказал он, и с тех пор эта фраза стала семейной формулой. Не только взрослые члены семьи, но и внуки знали, что дедушка занят очень ответственным делом — он смотрит программу «Время». На экране вновь и вновь появлялся улыбчивый, бодрый генеральный секретарь, окруженный толпами людей, изумленных своей близостью к небожителю и возможностью даже дотронуться до него. Он говорил понятные вещи понятным языком, но, если бы Сергея Петровича попросили пересказать услышанное, он едва ли смог бы это сделать. Впрочем, родным просить об этом в голову не приходило, а на политинформации с пересказом легко справлялись Груздев и Лазаренко.

А потом отменили и политинформации. Сергей Петрович считал это ошибкой, поскольку в руководящую роль партии в вопросах формирования идеологии верил беспрекословно. Когда три года назад обком создал специальную комиссию по правовым вопросам, которая стала ощутимо вмешиваться в работу следственных органов и создавать дополнительную головную боль с отчетностью и даже вызовами «на ковер», Сергей Петрович, в отличие от многих коллег, принял это с пониманием. Ему казалось, что это правильно, что партийную работу нужно усиливать, особенно в нынешней напряженной ситуации идеологической неразберихи. Он осуждал тех, кто критиковал партийные органы или даже выходил из партии по политическим мотивам. Он тоже не одобрял курс перехода на рыночную экономику, но партия должна была оставаться партией.

Однако потом пленум обкома принял постановление «О структуре и штатах аппарата обкома КПСС», и административно-правовой отдел был упразднен. Но Сергей Петрович упорно пытался сохранить партийный порядок хотя бы в подведомственном отделе.

Действительно, за последние годы произошло много всего, не совсем понятного Сергею Петровичу, и он, как мог, пытался противиться хотя бы внешним изменениям жизненного уклада. Не все удавалось, но на то, чтобы запретить Толе Лазаренко ходить на работу в майке с надписью «Рестроука», производство которых наладил местный кооператор, пристроившийся при швейной фабрике, полномочий начальника отдела хватило.

Сергей Петрович не был ретроградом, просто долгая жизнь приучила его быть осторожным в принятии новшеств. Он сочувствовал начальнику ОБХСС, которого считал своим старшим товарищем и знал как опытного работника, когда тот однажды пожаловался:

— Я же, Петрович, не против чего. Я только не могу переварить, когда вдруг то, что раньше называлось криминальным теневым производством и спекуляцией, стало частной предпринимательской деятельностью, вполне законной и даже престижной. Может, это и правильно, я вроде бы тоже за, но знаешь... просто переварить не могу!

Сергей Петрович с пониманием отнесся к его решению уйти наконец на заслуженный отдых и втайне порадовался, что в его собственном отделе эта проблема стояла не так остро.

— Мы, ребята, как врачи, — наставлял он своих сотрудников. — В жизни может многое меняться, но аппендицит — он аппендицит и есть, несмотря ни на какие социальные потрясения. Вот и у нас так: убийство — оно и есть убийство, наша задача здесь проста, понятна и неизменна.

Тем не менее Сергей Петрович и сам подумывал о пенсии. Работай он тоже в ОБХСС, он, наверное, уже ушел бы. Но, к счастью, общий уровень подведомственной ему преступности изменился в худшую сторону менее существенно: преступлений в областном городе всегда хватало, но бог пока уберет от резонансных криминальных дел, сотрясавших столицу, и масштабных преступных разборок. Кроме того, Сергей Петрович очень любил свою работу, хотя никогда никому об этом не говорил. Представить себя тихим пенсионером с удочкой на берегу реки он пока не мог. Тем не менее из-за висяков, множившихся в последнее время, тучи над отделом заметно сгустились. Начальство уже неоднократно выказывало Сергею Петровичу свое недовольство, так что было ясно: если нынешнее дело не сдвинется с мертвой точки, вопрос о пенсии может решиться и в приказном порядке.

Пока Дымов докладывал об объединении нескольких убийств в одну серию, сердце Сергея Петровича сжималось. По-видимому, Дымов был прав; по-видимому, вот оно и пришло, то самое дело, которое часто поджидает следователя в конце службы, — самое важное, самое сложное, самое страшное. Теперь все зависит от того, сможет ли он с этим справиться и уйти с почетом, превратившись в легенду для своих сотрудников, или придется, в случае неудачи, уныло освободить место, чувствуя спиной снисходительно-сочувствующие взгляды: да, мол, стар стал Петрович, ему

такое не по зубам... При всем богатстве следственно-разыскного опыта Сергея Петровича, серийных дел в его послужном списке не было, если не считать того, давнего, сразу после войны. Тогда он был еще начинающим следователем и работал в милиции в группе майора Засохина по фактам пропажи людей, отправлявшихся с городского вокзала и исчезавших неизвестно куда. Он до сих пор помнил осужденного по этому делу невысокого, но жилистого человека, который умело втирался в доверие к заранее выбранным попутчикам, а потом убивал их и грабил, когда они сходили на маленьких пригородных станциях. Причем только один раз его добычей стали деньги — небольшая сумма, скопленная на новую мебель молодой семьей, в остальном это были дешевые серебряные украшения, отрез сукна на пальто, новые резиновые калоши... Больше всего Сергея Петровича поразило тогда полное равнодушие преступника и к убитым им людям, и к своей собственной судьбе. Он не только оценивал жизнь другого в пару калош, но, кажется, и свою ценил не больше. После задержания этот человек не юлил, не пытался запутать следствие или оправдаться, а спокойно реагировал на предъявляемые улики и так же бесстрастно рассказывал о том, где, когда, при каких обстоятельствах и как он убивал молодую женщину, старуху, пятнадцатилетнего подростка, крепко подвыпившего колхозника...

— Неужели для него человеческая жизнь ничего не стоит? — возмущался Сергей Петрович, в то время молодой лейтенант.

— Он три года был на фронте, чего ты хочешь? — объяснил майор Засохин. — Он там такого насмотрелся... Пуля — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка! Война убивать учит.

— Но там же были враги! — не сдавался Сергей Петрович.

— Враги. Но всё же люди. Да и эти жертвы преступлений, они ему тоже не друзья были. Он и сам себе не друг, иначе не дошел бы до такого.

В зале суда мужчина равнодушно выслушал приговор и, наверное, так же равнодушно принял потом смерть. Желания наводить об этом справки Сергей Петрович не испытывал.

Но у тогдашнего преступника был хотя бы понятный мотив — завладение чужой собственностью. Сейчас все было иначе.

Дымов закончил доклад, и Сергей Петрович сделал последнюю попытку отвести надвигающуюся беду:

— Нет, подожди, как-то хлипко получается... По каким признакам это можно считать серийей — по внешней немотивированности и ручке? Как я это буду объяснять на коллегии? Ты мне посолиднее аргументы приготовь!

— Пока это все. Но я уверен, что будут аргументы. Найдем, — уверенно сказал Дымов. — У меня интуиция.

— А-а! — отмахнулся Сергей Петрович. — Я тебе про аргументы, а ты... Если все так, как ты говоришь, получается, что псих орудует. Маньяк?

— Может, и псих, а может — идейный. Раскольников.

— В смысле, «тварь я дрожащая или право имею»? Ты мне здесь Достоевщину не разводи!

— Понимаешь, Сергей Петрович, если это маньяк, то он не просто псих, а псих с теорией в голове. И вычислить его можно, поняв его идею, — предположил Дымов.

— Ну какая идея при полной немотивированности? Он что, из любви к искусству убивает?

— Кто знает? Может, он как раз и считает убийство искусством.

— Тогда в методах он мало искусен. Видал я и поинтереснее, и похитрее, а тут что — камнем по голове? Тривиально... — возразил Сергей Петрович.

— Да согласен я со всеми твоими доводами, согласен! Сам их себе приводил. Но пойми, нет у нас сейчас другого варианта. Давай зацепимся хоть за это, а вдруг?.. Все равно больше ничего пока не придумали.

Сергей Петрович сдался:

— Ладно, уговорил. Тогда так — объединяем преступления. Сколько их?

— Шесть.

— Вот то-то и оно, что уже шесть... — поморщился Сергей Петрович. — Создаем специальную группу, ты принимаешь руководство. Вводи активно новенького. Как, по-твоему, вроде он с головой, этот Сергушин?

Дымов пожал плечами:

— Ну да, ну да... Все части тела у него на месте. А там посмотрим.

Сергей Петрович продолжал:

— Первое — отработываем ручки. Установите, где продавались. Вот если бы еще — кто покупал, но это едва ли... Хотя чем черт не шутит! Дальше. Надо еще раз пройтись по родственникам, выяснить насчет этих пишущих принадлежностей, да и свидетелей, может, заново опросить — вдруг кто что-нибудь еще вспомнит, особенно по свежим эпизодам. Думаю, Груздев займется.

— Согласен. Разрешите выполнять?

— Разрешаю, Иван Павлович. — Сергей Петрович встал из-за стола. — Доклад мне каждый день.

И добавил вслед уходящему Дымову:

— Да, и осторожно с информацией, чтобы никаких слухов. Не дай бог журналисты или еще какая утечка... Ну ты знаешь...

Дымов обернулся в дверях:

— А может, наоборот, как-то аккуратно оповестить общественность? Ведь если мы правы, он может продолжить совершать убийства. Пусть поостерегутся люди по ночам ходить...

Сергей Петрович взорвался:

— Ты предлагаешь комендантский час объявить? Никого еще такие предостережения не останавливали, это во-первых. Во-вторых, преступника вспугнем — он может затаиться. А в-третьих, ты масштабы скандала представляешь? Пришлют, как пить дать, комиссию с проверкой, вот тогда не только с меня, но и с тебя, со всех нас головы снимают! Всё, идите работать, Иван Павлович!

— Ну да, согласно ленинским заветам: за работу же, товарищи! — бурчал Дымов, закрывая за собой дверь кабинета начальника.

6.

Разработка единственной улики, на которую можно было возлагать хоть какие-то надежды, ничего не дала. Виталик Сергушин обошел канцелярские магазины, киоски «Союзпечати», отделы в универмагах, где могли торговать шариковыми ручками, но ничего конкретного установить не смог. Самые простые и недорогие ручки, найденные на месте преступления, продавались где угодно. Они закупались маленькими партиями и отличались друг от друга только цветом дешевой пластмассы — по странной прихоти производителя от тускло-серого до грязно-розового.

Ничего нового не дал и повторный опрос семей потерпевших и свидетелей. Обаятельный Саша Груздев просил показать шариковые ручки, имевшиеся в домах жертв, чем вызывал удивление, а то и раздражение у их близких. Бабушка Анны Тертерян смерила Сашу ненавидящим взглядом и высыпала перед ним все ручки из карандашницы на внушкином столе:

— Вот, смотрите, если вам больше делать нечего!

Похожие ручки в семьях находились, значит, они могли быть с собой у жертв на месте преступления, но Дымов стоял на своем:

— Могли быть с собой, но не в спортивных же штанах, как у Зайченко или Антонова! А девушек, которые на свидания с шариковыми ручками ходят, вы много видели? Ну да, все зыбко, но чую я, что это неспроста.

Следующий предрассветный звонок раздался в квартире Ивана Павловича четырнадцатого мая. Звонил Виталий Сергушин, в ту ночь дежурный по отделу:

— Иван Павлович, я знаю, что у вас выходной, но сами же требовали, чтобы вам немедленно сообщали о каждом происшествии. У нас труп.

— Еду.

Тело женщины примерно сорока пяти лет было обнаружено уборщицей в зале ожидания автовокзала. Когда Дымов подъехал, та как раз объясняла Сергушину:

— Я замести вышла перед первым автобусом. Он в пять тридцать идет. Аккурат часов пять и было. Этот автобус людей на работу возит на цементный завод, да и дачники им часто ездят. Май, знаете, сейчас все сажают — жить-то надо. Смотрю — она сидит. По виду вроде приличная, не бомжиха. А то они теперь повадились у нас ночевать, бомжи-то, так мы их гоняем. Но только за всеми не уследишь. Ну, думаю, на дачу собралась, ранняя пташка. Я ее будить не стала, думаю, пусть немного подремлет, еще время есть. Только когда возле нее заметать стала, у меня совок упал — и прямо ей по ногам. Я ей говорю: «Ноги подвинь!» — а она не отвечает и набок заваливаться начала. Ну, тут уж я испугалась, мамочки, как испугалась! К Ивановне побежала, в милицию давай звонить... Что ж это делается, товарищи? Страшно на улице выйти, если вот так, при всем честном народе, тебя жизни лишают!

— Стоп, гражданочка, стоп! — прервал причитания словоохотливой уборщицы Дымов. — Спокойно и внятно отвечаем на вопросы. Во-первых, Ивановна — это кто?

— Да вон же стоит, это ж дежурная по вокзалу, она вам то же расскажет. Ее этот ваш молодой, — уборщица кивнула головой в сторону Виталия, — попросил подождать. Она вам то же самое скажет, что и я...

— Что она скажет, это мы от нее узнаем, а к вам у меня еще вопросы есть. Какой такой «весь честной народ» вы имеете в виду? Кто еще был здесь? Вы видели каких-нибудь людей на месте преступления?

— Никого я не видела. Рано еще, а бомжей мы с вечера гоняем, я же вам объяснила. Никого и не было, кроме нее, — пожалала плечами уборщица.

— Ну да, ну да... А с чего вы взяли, что она мертва? Вы тело осматривали, перемещали его?

Уборщица всплеснула руками:

— Да вы что! Разве я стала бы к мертвяку притрагиваться? Я их ужас как боюсь, с детства у меня это! А что она мертвая, так это сразу видно. Смотрите, какое лицо у нее неживое — белее мела, аж синее!

— Вам эта женщина знакома? Вы ее когда-нибудь видели здесь или где-нибудь в другом месте?

— Знать не знаю, кто такая. На вокзале народу много бывает, разве всех упомнишь. Да и зачем мне? Мое дело — пол мести. Тут за день столько сору набросают, что метлой намахаешься. Теперь я одна работаю, и вокзал, и все перроны на мне, так что по сторонам озиаться некогда.

— А про это мой следующий вопрос, — остановил ее Иван Павлович.

Уборщица насторожилась:

— Какой еще вопрос? Я что, плохо убираю? Ну не убирала я с вечера, на утро оставила, так что с того? Кому оно ночью надо? А к первому автобусу я бы все замела, кабы не это...

— Да нет, я вас сейчас не про качество уборки спрашиваю. Хотя, честно говоря, грязно у вас тут! — оглянулся вокруг Дымов. — Вы мусор, который сейчас подметали, куда дели?

— Да я еще ничего и убрать-то не успела, только начала мести. В совке все, что намела.

— А совок где? Покажите!

— Да вон он валяется, я его от страха из рук выронила. Что там смотреть?

Виталий и Дымов обменялись понимающими взглядами, и Виталий направился к металлическому совку угрожающих размеров на длинной деревянной ручке, лежавшему посреди прохода между скамьями.

Дежурная по вокзалу подтвердила показания уборщицы. Она тоже никого не видела, не знала даже, как убитая женщина оказалась в зале.

— С вечера у нас пусто было, я и пошла к себе в комнату. А потом спать легла. Конечно, вроде бы не положено... Но если в зале никого, так что тут сидеть? Ночью автобусов нет, раньше были междугородние рейсы, так их отменили — сами знаете, не больно сейчас ездит народ. Я ушла после двенадцати, никого не было. Если бы поднялся какой шум, я бы услышала и вышла, но было тихо, — оправдывалась она.

Криминалисты тем временем закончили осмотр тела. Женщина была задушена шарфом из искусственного шелка, который и остался на ее шее. Других следов насилия на теле при первичном осмотре не обнаружилось,

по-видимому, на жертву напали неожиданно и быстро, так что она не смогла оказать сопротивления. Осмотрев место происшествия, Дымов дал разрешение забирать тело. Рядом с трупом были обнаружены дамская сумочка из кожзаменителя и небольшая матерчатая дорожная сумка, которые вместе с содержимым были приобщены к вещественным доказательствам. В сумочке нашли большой бумажный пакет с документами и паспортом на имя Попович Людмилы Анатольевны, тысяча девятьсот сорок седьмого года рождения, русской, проживающей по адресу: Колодезный переулок, дом шесть, квартира шестьдесят четыре, и состоящей в браке с гражданином Поповичем Михаилом Николаевичем. Виталий Сергушин немедленно выехал по этому адресу, а Дымов, погрузив материалы с места преступления в дежурную машину, направился в отдел.

Но спокойно разобраться в обстоятельствах дела ему не дали. Правда, Сергей Петрович, несмотря на всю свою озабоченность, довольствовался кратким докладом следователя и только бросил напоследок обычно: «Работайте, работайте!» Однако не успел Иван Павлович устроиться за своим столом, как позвонили по внутреннему телефону.

— Дочка? Да, я у себя, — удивленно ответил Иван Павлович и, положив трубку, хлопнул себя по лбу: — Ну да, ну да... Ленка! Сегодня же четырнадцатое... Вот олух царя небесного, не позвонил!

Но когда в кабинет тихонько постучались, Иван Павлович принял самый беззаботный вид и почти весело отозвался:

— Да-да, заходи!

В приоткрытую дверь заглянула Лена:

— Я могу?..

— Привет, привет... Все можешь. Что-то случилось? Чего ты сюда, на работу? Извини, позвонить забыл. Все нормально?

Лена принесла с собой в темный кабинет следователей запах духов и свежести, словно из окна в комнату вдруг заглянуло то светлое майское утро, о существовании которого Дымов уже почти забыл. Конечно, Ленкин приход был ни к чему, конечно, сейчас она ему мешала, но Иван Павлович не мог не улыбнуться. Он любил дочь, гордился ее умом, талантом, красотой, хотя и скрывал это за ироничным и немного колким тоном общения, который, впрочем, она охотно поддерживала.

Лена обвела взглядом рабочее место отца: папки с бумагами в шкафах и на полках, помятый электрический чайник и чашки на подоконнике, потертые стулья, — провела пальцем по листу фикуса.

— Привет, папа! Да, к тебе на работу невесело заходить. Но уж извини, волновалась. Ты не позвонил, дома тебя нет, я и переполошилась. — И деланно-капризно протянула: — А вы, Иван Павлович, оказывается, на службе-е-е...

— Работа как работа, кто на кого учился. Ну, знаешь ли, у меня служба такая... — И Иван Павлович, не всегда попадая в нужную тональность, пропел: — Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна...

— На второй взгляд она тоже не видна. Также и на третий, и на четвертый совершенно не видна, и на пятый абсолютно не видна... — значительно более музыкально продолжила Лена.

Дымов рассмеялся:

— За это я уже от начальства сегодня получил, да и еще получу. Теперь и ты туда же!

— Пап, я серьезно. — Лена примостилась на краешке стула напротив стола Дымова. — Ты просто необязательный человек. Раз обещал, то уж постарайся! В конце концов, у меня тоже есть планы, а у тебя есть внучка. Сейчас я ее, предположим, на гимнастику сама отвела, а что потом? Ты же ей обещал, она мне все уши прожужжала, что дед сегодня выходной и вы идете в луна-парк! Детей обманывать нехорошо, товарищ старший следователь! Как же они будут потом доверять милиции? А что вечером? Ей одной дома сидеть? Тебя сегодня, как я понимаю, не ждать?

— Предположим, в мое время восьмилетние дети вполне могли сами дома оставаться. Кроме того, я не гуляю — у нас опять умышленное убийство, — попытался оправдаться Иван Павлович.

Но Лена была настроена решительно:

— Умышленные убийства портят семейную жизнь. А времена нынче не те, теперь ребенка одного ни на улице, ни дома не оставишь. Может, вы что-то недорабатываете? Может, надо что-то в консерватории подправить?

Иван Павлович демонстративно хлопнул рукой по пухлой папке, громоздившейся на столе:

— Все, дебаты окончены! Давай конкретно, что надо? За сегодня я уже извинился, сегодня ничего не будет. Машка — девица умная, она лучше тебя все поймет.

— Что надо? А все то же, милый папа, — съехидничала Лена. — Я что, много от тебя прошу? Пару раз в месяц посидеть с ребенком можно?

— А то я не сижу! — вставил Дымов.

Но дочь явно не собиралась его слушать:

— Ты тоже меня пойми! Сколько раз ты меня уже подвел? Каждый раз обещаешь, и каждый раз у тебя экстренный вызов. Я ведь не постоянно, я ведь только на этот один спектакль прошу. Ты же знаешь, как он для меня важен. Ты бы лучше дочерью гордился! Это, между прочим, моя первая главная роль, которую на премию подавать собираются. Государственную премию, заметь! Ты же знаешь, что после спектакля я не могу уснуть до утра, чувствую себя потом хреново. Засыпаю под утро, хочешь верь, хочешь не верь. И потом, может же у меня быть личная жизнь? Я девушка незамужняя, умница и красавица... Ты же хочешь мне счастья? Я что, так много у тебя прошу? Ведь заранее договариваюсь, а ты никогда не можешь — ни в субботу, ни в воскресенье, хотя у тебя это выходные.

— Я еще и дежурю, — буркнул Иван Павлович.

— Но я же всегда прошу заранее! Ты дежурства перенести не можешь?

— Я всегда и переносу, но так получается... Ты с убийцами договаривайся, чтобы они в мои выходные спали.

Лена поморщилась:

— Тебя, по-моему, самого на трупы тянет, как... От того, что ты поймал еще одного убийцу, зла на земле меньше не станет.

— Но если мы не возьмем убийцу, станет больше жертв, — парировал Дымов.

— Ладно, ладно, я ценю твою борьбу со злом. Короче, вот мои числа на этот месяц. — Лена достала из сумочки отпечатанный листок и протянула его отцу. — Всего два раза не можешь забрать Машку? И это притом, что один раз ты уже прогулял!

— Могу, два раза могу, — согласился Дымов и надел очки. — Давай посмотрим...

— Я всегда верила, что не все потеряно, ты еще способен на человеческие чувства вроде любви к единственной дочери и внучке! — Лена показала пальцем: — Вот здесь подчеркнуто, это на этот месяц.

— А зачем тут предыдущие?

— Это квартальное расписание, два квартала текущего года. Заодно убедись, сколько раз ты меня подвел.

— Где? — недоуменно спросил Дымов.

Лена возмутилась:

— Это невыносимо! Ты даже не помнишь, когда тебя просят, когда ты ставишь меня в безвыходное положение. Вот, вот, вот и вот, смотри, я кружком обвела!

— Ты на меня компромат собираешь? — хмыкнул Иван Павлович. — Вырастил дочь, а она отца, как сейчас говорят, на счетчик поставила! Молодец, ничего не скажешь... И запомни, дщерь неразумная, безвыходных положений не бывает! Впрочем, ты с блеском демонстрируешь эту истину, не такая уж ты глупая девочка. Находишь же выход каждый раз?

— А чего мне это стоит? — Лена стремительно встала со стула. — Все, договорились? Возражения не принимаются!

Дверь кабинета распахнулась, и на пороге изумленно застыл Виталий.

— Ой, Иван Павлович, вы не один... Я из квартиры потерпевшей... — И смущенно добавил: — Здравствуйте...

— Что это вы, юноша? Виделись уже. Или это вы с дамой здороваетесь? — ухмыльнулся Дымов.

— Да нет... Или да... — пробормотал Виталик.

Странно выглядела в этом кабинете молодая красивая женщина, ничем не напоминавшая обычных посетителей. Кроме того, Виталий ее сразу узнал — она была единственной запомнившейся ему артисткой местного театра, несколько спектаклей которого он уже успел посмотреть.

— Здравствуйте, — улыбнулась Лена, ничуть не смущенная произведенным ею эффектом. — Я уже ухожу, не мешаю следственной работе.

— Отчего же, познакомься, мой коллега... Виталий... э-э-э... — протянул Дымов.

— Николаевич, — подсказал Виталик.

— Ну да, ну да, Николаевич. А это моя дочь, Елена... э-э-э... Ивановна. — Дымов явно забавлялся неловкостью своего коллеги.

— Можно просто Елена, Виталий Николаевич, — поддержала вконец растерявшегося молодого человека Лена и погрозила отцу пальцем.

— Очень рад. А я ваши спектакли видел. Они замечательные! — обрадовался помощи Виталий.

— Спасибо, приходите еще. Если нужно, могу организовать для вас контрамарку. — Она протянула молодому человеку руку, потом звонко чмокнула в щеку Дымова и выпорхнула из кабинета, бросив на ходу: — Папуля, уговор дороже денег! Пока!

— Иван Павлович, а вы не говорили, что у вас дочь — актриса, — упрекнул Дымова Виталий, когда дверь за Леной закрылась.

— А с какой стати я отчитываться должен? И какая у меня должна быть дочка? Нормальная дочка. — С уходом Лены в голосе Дымова появилась обычная брюзгливость.

Виталий горячо возразил:

— Нет, не просто нормальная — красивая! И талантливая! А вы, правда, хоть бы чаем ее напоили, а то, как я понимаю, только ругаетесь.

— А вот это не твоя забота. Ты оперативную работу контролируй и следственные мероприятия проводи, усиление следственной группы обеспечивай. Что-то много указаний я в последнее время от всех слышу.

Он помахал перед лицом Виталия листком:

— Еще один выговор получил... все цифры, даты, числа...

— Это вам Сергей Петрович сводку дал?

— Да нет. Это Ленка — даты спектаклей. Я после них с внучкой сижу, да не всегда выходит. Ладно, семейные дела побоку. Докладывай, что у тебя.

7.

Установить Виталию удалось только то, что убитая гражданка Попович действительно проживала в квартире по указанному адресу вместе с мужем, детей у семейной пары не было. Несмотря на еще не позднее утро, дома никого застать не удалось, зато Виталий поговорил с соседкой, одной из тех всевидящих и всезнающих бабушек, которые дни напролет сидят на скамейке возле дома и, словно агенты криминального сыска, отслеживают обстановку. Выяснилось, что гражданин Михаил Попович в этом доме родился и вырос, сюда же, еще при жизни матери, которая уже двадцать лет как умерла, начал приводить жен. Было их несколько, в последовательности бабушка путалась. В данном случае Виталий и не настаивал, его интересовала только последняя по счету, то есть Попович Людмила Анатольевна. Бабуля заверила, что вся их околородная общественность характеризует Людочку положительно, как женщину «правильную». Виталий попросил конкретизировать, что скрывается под словом «правильная», и получил объяснение, что Людочка, во-первых, с соседями уважительна и приветлива, во-вторых — хозяйственна, а самое главное, «прибрала этого охламона к рукам, он пить стал меньше, а то, почитай, каждый день на ногах не стоял». К негативной характеристике Михаила Поповича был добавлен его буйный нрав, ибо в состоянии алкогольного опьянения он был склонен к скандалам, а то и рукоприкладству, от чего страдали его жены и что, по-видимому, было главной причиной их недолгого пребывания на семейной жилплощади. Работает Попович на швейной фабрике мастером, там же в бухгалтерии работала и Людмила.

— Ну что, давай, коллега, дуй на фабрику! — распорядился Дымов. — Он же, наверное, на работе. Дай бог, чтобы на работе... Обычная процедура — где был, что делал, почему жены не хватился. Потом — в морг на опознание и подтверждение личности. Учитывая характеристику, нужно особенно тщательно проверить возможную причастность мужа к совершенному преступлению... Давай-ка лучше его сюда, хочется с ним лично побеседовать. А я пока здесь поработаю. Выполняй!

К вечеру следственная группа вполне заслуживала похвалы начальства. Были не только проведены важнейшие следственно-разыскные мероприятия, но и допрошен и задержан подозреваемый в убийстве Михаил Попович. Выяснилось, что накануне вечером у него произошла очередная ссора с женой — та требовала развода и размена квартиры. Попович признался, что был пьян, но жену не бил, скорее всего просто не успел, поскольку она побросала в сумку какие-то вещи и ушла из дому. Скандал вышел из-за того, что Людмила забрала все документы на квартиру и сказала, что нашла обмен и будет его оформлять.

— Это как же, товарищ следователь, получается? — горячился Попович. — Это моя квартира, наследственная, можно сказать. Я этой стерве, царство ей небесное, ничего не должен, пусть идет, откуда пришла!

— Ну, предположим, ей идти уже некуда. А вы, кажется, не очень огорчены ее смертью? — спросил Дымов.

— Это вы что имеете в виду? Что это я Людку... того? — забеспокоился Попович. — Так я ее не догнал! Попробовал было, но пьяный очень был, во дворе упал. Думал, куда она денется, побегаёт да и придет...

Вернувшись в квартиру, он заснул пьяным сном, а утром, еще не протрезвев полностью, пошел на работу. Однако подтвердить его мирный ночной сон было некому. Так что приняли решение задержать Поповича по подозрению в убийстве жены. Квартиру опечатали, обыск отложили до завтра.

Сергей Петрович был бы доволен темпами и результатами следствия, если бы не Дымов. Сегодняшнее убийство выглядело вполне мотивированным, а тем самым выпадало из предполагаемой серии, и Иван Павлович не знал, радоваться или огорчаться. Помаевшись сомнениями, он пошел к Сергею Петровичу, но разговор между ними быстро перешел на повышенные тона.

— Ну что тебя еще не устраивает, невыносимый ты человек? — негодовал Сергей Петрович.

— Да многое не устраивает! — упрямо бубнил Дымов. — Вот осмотр вещей, например... Смотри: немного одежды, пакет с документами на квартиру — про это и Попович говорил, ключи от дома, от дачи — он их тоже опознал. Понятно, что собралась на даче переночевать, подальше от супружника, у них она рядом, в Пантелеевке.

— Ну так сам говоришь, что понятно! Сидела на автовокзале, автобус ждала, тут ее Попович и нашел. Если убийца смог на ее шее шарф затянуть, значит, она его к себе близко подпустила, хотя бы рядом на скамейку сесть. Едва ли она позволила бы это незнакомому человеку в пустом зале вокзала. Все сходится! В Пантелеевку завтра тоже поехать нужно, пусть Лазаренко съездит.

— Ну да, ну да... — соглашался Дымов, но продолжал упираться: — А вот теперь смотри. В сумочке у нее такая большая косметичка, там всякие дамские прикрасы и ручка...

— Опять твоя ручка! — взорвался Сергей Петрович. — Да не работают эти ручки, не проходят они как улики серии, ничего ведь так и не установили! Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что зря тебя послужил. Ложный это ход, ложный! Да и как ты себе представляешь: твой маньяк вначале душит жертву, потом начинает рыться в ее вещах, находит косметичку, открывает ее, кладет туда ручку... Это ж сколько времени надо! В любой момент кто-нибудь войдет, это же все-таки вокзал, хоть и ночной, а ему спрятаться негде!

— Все так, да только это не единственная ручка. В мусоре, что Сергушин возле совка уборщицы нашел, тоже обломки пластмассы — очевидно, что ручка, только раздавленная. Кто-то мог случайно наступить, там и уборщица толкла, и оперативники, и судмедэксперты. Преступник мог не рыться в сумке, он другую ручку возле трупа положил. А что они похожи... Ты же знаешь, мы выяснили, таких ручек везде полно.

— Вот то-то и оно! Иван Павлович, ты знаешь, как я тебя ценю, но всему есть предел! Ты скоро сам маньяком ручек станешь, ручкинским фетишистом.

Но Дымов настаивал:

— Вот мы задержали человека по обвинению в тяжком преступлении, а вдруг это все-таки не он? Может, это просто случайное стечение обстоятельств, прямых улик ведь нет.

— А вот это и есть ваша обязанность, Иван Павлович, найти эти улики и доказать вину! Вот в этом направлении и работайте. До окончания срока задержания у вас не так уж много времени. Ты что, предлагаешь его освободить? На основании чего? У него мотив есть? Есть. Квартира — мотив хоть куда! Ты что, забыл, как у нас по следствию проходил внучок, который свою бабушку родную из-за квартиры придушил? Еще плакал, что любил ее. Ага, любил, а потом убил, в землю закопал, вот только надпись не написал... У Поповича возможность совершить преступление была? Была. У него алиби на момент совершения есть? Нет. Азбука! Мотив, возможность и отсутствие алиби! И все это против обломков твоей ручки! Ну ладно бы я Сергушину нашему объяснял, а то тебе! Кончен разговор. Завтра обыск квартиры, дача, детальный опрос соседей, сослуживцев. Подругами убитой нужно поинтересоваться, пусть Лазаренко займется, он умеет с женщинами разговаривать. У вас на завтра работы непочтатый край, а ты мне про ручки!..

Дымов возвращался домой расстроенный. Он знал это свое состояние и очень его не любил: когда чувствуешь, что обстоятельства навязывают тебе свою волю, а у тебя нет возможности им противиться; когда гложет неуверенность в своих действиях, а ты даже не можешь четко сформулировать, что же не так, что мешает принять вариант расследования, который сам идет тебе в руки. Образ полуспившегося Поповича никак не вязался с хладнокровным, точно рассчитанным убийством. Если бы он жену спьяну в драке убил, это было бы понятно, а тут требовалась



рука твердая, чтобы не дрогнула, затягивая удавку, тут нужна была трезвая голова и быстрота действий. Еще и эти остатки ручки... Петровича можно понять, ему маньяк ни к чему, ведь если Дымов прав, то вышли они на очень опасного и страшного преступника. На игрока, который не просто навязывает свои правила игры, но и филигранно рассчитывает преступления, подкидывая эти ручки-знаки и издеваясь над следствием. И сам по себе он не остановится.

В витрине киоска «Союзпечати», куда Дымов завернул в надежде купить сигареты, словно в насмешку был выставлен ряд пластмассовых ручек. Сигарет, конечно, не было.

— А ручки у вас всегда в продаже есть? И что, берут? — поинтересовался Дымов у продавщицы.

— Да чего не брать, берут. В очередь не выстраиваются, как за сигаретами, но покупают. Это, в отличие от всего другого, товар не дефицитный, нас хорошим товаром не балуют. Центральные газеты да всякая мелочь — этим и торгуем.

Отошедшего от киоска Дымова окликнула пожилая женщина с объемистой коленкоровой сумкой:

— Мужчина, а вам книжки не нужны? Может, детям купите или... — она запнулась и внимательно посмотрела на Ивана Павловича. — Или внукам?

Дымов остановился. Женщина поспешно начала объяснять, что у нее осталось от собственных внуков много детских книг, что книги эти в приличном состоянии, что она пошла с ними на книжный рынок, но ее оттуда прогнали...

— Так я подумала, может, их в магазин или вот в «Союзпечать» отдать. Может, купят? А они говорят, что на реализацию не берут. Я же не нажиться на них хочу, мне бы хоть немножко дали. Да и книжки правда хорошие, не выбрасывать же, пусть еще дети читают...

Было видно, что ей очень неловко все это рассказывать, что продавать она не умеет и что деньги ей действительно нужны.

И тут Дымов вспомнил, что так и не извинился перед Машкой за испорченный выходной.

Выбрав несколько книжек про животных — Машка любила именно про животных, презирая сказки как чтиво детское и недостойное ее солидного восьмилетнего возраста, — Иван Павлович направился домой.

Он твердо пообещал себе, что не только немедленно позвонит внучке, но и примет все меры к тому, чтобы впредь не подводить ни Машку, ни ее мать.

8.

Этой ночью Иван Павлович спал плохо. Снились какие-то сборы в дорогу, он боялся опоздать на поезд, но было очевидно, что катастрофически опаздывает. Сутилась Машка, собирала какие-то игрушки, никак не приходила Лена, которую ждали, но зато в дверь все время кто-то звонил, и испуганная внучка шептала: «Не открывай, дед, это она...» Иван

Павлович не знал, кто такой *он*, но почему-то боялся подойти, а в дверь звонили и звонили...

Это, конечно, оказался будильник. Иван Павлович хлопнул по нему рукой, прекратив надоедливые трели, и снова закрыл глаза. Лежал и думал о начале нового дня, о том, что радости от этого он не испытывает. Всему отделу сегодня предстояла разработка версии задержанного Поповича. Ночной кошмар вовсе не был подобен стройной таблице химических элементов, увиденной Менделеевым во сне, он вроде бы не имел отношения к последнему убийству, и все же Иван Павлович был теперь еще больше убежден, что версия с Поповичем ложная. Михаил Попович не внушал ни малейшей симпатии, но это еще не делало его виновным. Перспектива доказывать невиновность отвратительного человека, да еще вопреки намерениям начальства, будила внутри протест. Еще большую досаду вызывало то, что силы отдела и, самое главное, драгоценное время будут растрочены попусту, а ведь настоящий преступник где-то рядом, он готовится, он уже, может быть, ищет новую жертву.

Где-то ходит человек, который еще не знает, что в ближайшее время его могут убить. Где-то — преступник, уверенный в своей безнаказанности, вышел на охоту. А он, Дымов, ничего не может доказать, ни за что не может зацепиться, ничего не знает, кроме того, что этот преступник есть и что найти его необходимо, иначе зачем тогда всё?

Не надеясь ни на какие результаты, просто не желая оставаться в отделе, Иван Павлович сам вызвался поехать в Пантелеевку.

Дачный поселок был маленьким, неухоженным. Небольшие перелески вокруг да покрытый густой ряской пруд, в котором едва ли водилась другая живность, кроме лягушек, — вот и все местные достопримечательности. Деревянный домишко Поповича был так густо облеплен всякими пристройками и пристроечками, что его первоначальная планировка уже не угадывалась. Несколько вскопанных грядок среди буйно разросшейся майской травы, старые, покрытые мхом вишни и яблони, забор, слепленный из подручного материала — кусков сетки-рабицы, криво соединенных ржавой проволокой, и металлических спинок от кроватей с такими же проржавевшими шарами.

В дом без постановления на обыск, в котором начальство не усмотрело смысла, Дымов попасть не мог, но в окна позаглядывал.

За линиями занавесками просматривалась обычная дачная рухлядь, которую явно перевезли сюда за ненадобностью из городской квартиры. Колченогие стулья, покосившийся стол, щербленая посуда. Здесь не чувствовалось даже слабой попытки создать уют, ни заботливой женской, ни хозяйственной мужской руки здесь не было. Сбежать глубоким вечером на эту дачу можно было только в состоянии полного отчаяния. Почему Людмила Попович после ссоры с мужем, опасаясь возможных побоев, не поехала к подруге, к родственникам? По подругам и родственникам, если таковые были, работал сейчас в городе Толя Лазаренко, но Ивану Павловичу казалось, что он уже понял, каким человеком была убитая. Есть люди, для которых любое внешнее вмешательство в их семейные неурядицы невыносимо, и Дымов очень хорошо понимал их, сам был таким.

Чаще всего это мужчины, но погибшая, видимо, принадлежала к редкому типу женщин, которые никогда не жалуются на своих мужей ни подругам, ни соседкам, ни даже маме. Несчастливый брак Поповичей явно близился к концу, но не к такому же страшному!

Было непохоже, что покойная дорожила этой дачей, а вот претензии на квартиру... Да, Сергей Петрович имел основания для своих подозрений: это серьезный мотив.

Выйдя за калитку, Иван Павлович оглядел пустынную улицу. Соседский дом слева, с окнами, заколоченными старыми досками, был явно нежилим. Участок справа, напротив, выглядел скромно, но ухоженно. Свежеокрашенный невысокий забор из штакетника, подстриженные кусты собирающейся цвести сирени. Сам дом, расположенный в глубине, просматривался плохо, но был — видимо, недавно — тоже покрашен в неяркий зеленый цвет. Новенький навесной замок на калитке свидетельствовал об отсутствии хозяев. Понятно, день будний, дачников следует ожидать к выходным. На всякий случай Дымов прошел всю короткую улицу и обнаружил лишь одну хозяйку, копавшуюся в огороде. Она смогла рассказать только, что Попович бывает здесь не очень часто, да и то затем, чтобы выпить с друзьями, которых привозит с собой; что участком он не занимается, а его последняя жена несколько лет назад стала сюда ездить, вроде бы начала что-то делать, да потом забросила. Соседка характеризовала ее как женщину вежливую, но необщительную.

В автобусе Дымов занял место у окна и, скользнув взглядом по попутчикам — нескольким бабушкам-пенсионеркам, женщине с капризничаящим малышом, бледному мужчине, уткнувшемуся в номер «Нового мира», — прикрыл глаза, разморенный уже жарким весенним солнцем. Результаты посещения Пантелеевки оказались скудными и ничего существенного к материалам следствия не добавляли. Этого, впрочем, и следовало ожидать.

* * *

В отделе стояла тишина: Лазаренко (фабрика, родные и подруги) и Сергушин (обыск, поквартирный обход) были на выезде, Сергея Петровича вызвали на коллегию.

Саша Груздев, сегодняшний дежурный по району, корпел над бумагами.

— Наконец-то, Иван Павлович, а то я уже один тут затосковал! — обрадовался он появлению Дымова.

— Ну, развлечений я тебе гарантировать не могу, да и радоваться особо нечему, — не ответил на улыбку розовощекого Саши Дымов. — Ты обедал? Можешь сходить поесть, я тут пока поработаю.

— С удовольствием! — Саша стал собирать папки. — Иван Павлович, ну вот скажите мне, это нормально, что главная следовательская работа — бумаги писать? И если я на работе не успеваю, мне что — бумаги домой брать?

— Лишь патологоанатом не берет работу на дом... — пробурчал Дымов. — Это ты не у меня спрашивай, не я придумал. А бумаги домой —

должностное преступление, это же тайна следствия, ты мне это брось... С другой стороны, документы недооценивать нельзя. Толю Лазаренко, когда он несколько лет назад к нам пришел, Петрович отправил архивы разбирать, так он там такого начитался, что теперь по любому поводу примерами сыплет. И часто — очень по делу. Документы нужны не только для ведения следствия и передачи в суд. Чтобы новые преступления раскрывать, нужно старые знать, документы — это память. Иногда — жуткая память, потому что нет такого страшного и изуверского преступления, которое человек не смог бы совершить из корысти или ради идеи. С идеей — страшнее.

— Например?

— Да сколько угодно примеров — от идеи фикс, что жена изменяет, до любви к родине или стремления установить мировую справедливость. Идея — она, понимаешь, оправдывает. Мне когда-то один воррецидивист целую философию развивал: мол, если человека раз в жизни обворуют, ничего страшного в этом нет, погорчаешь, да и все, а я, мол, с этого живу. Так просто и логично. А если уж речь о светлом будущем пойдет, то и подавно!

— Это вы зря... Получается, что бытовуха и «архипелаг ГУЛАГ» — это одно и то же? — не согласился Саша.

— Конечно. Только масштабы разные. А убийство — оно убийство и есть. Все, иди обедать!

Вернувшийся с обеда Груздев застал Ивана Павловича стоящим на стуле. Дымов старательно пытался прикрепить кнопкой к стене над своим столом разграфленные листки.

— Что это вы, Иван Павлович, делаете? Текущую информацию Сергей Петрович передал? — любопытствовал Саша.

— Да это так... У Одина — бог такой скандинавский одноглазый, знаешь? — было два ворона. Хугин и Мунир, то есть знание и память. У меня тут одна информация для знания, а другая — для памяти... А, прах тебя побери, опять сломалась!.. — Дымов раздраженно отшвырнул кнопку и, кряхтя, слез со стула.

— А чего вы это на стенд не повесите, он же для этого и предназначен? Он деревянный, в него кнопки легко входят. И почему этот Один одноглазый, что за ущербный бог такой?.. А может, вам помочь?

— Слишком много вопросов, юноша! Во-первых, стенд общий, а информация эта нужна только мне, для личного, так сказать, пользования. Во-вторых, бог одноглазый, потому что другой свой глаз отдал за мудрость и всеведение, я бы и сам так с радостью сделал. Ну а в-третьих... можно, конечно, и помочь. — Дымов протянул Саше коробок с кнопками.

— Давайте я вам ваши таблички скотчем прикреплю. У меня есть, мне тут в одной конторе подарили, в офисе по-нынешнему, — предложил Саша.

— Не откажусь, — согласился Дымов. — Вот эту давай сюда, она для памяти, а ту — можно рядом, это другое, тут мудрость Одина нужна.

— А что это, если не секрет? — Саша ловко прикрепил листочки к стене, разгладил их рукой. — Вот, теперь хорошо держаться будут. Тут у вас даты какие-то... Это что, лунный посевной календарь? — пошутил он.

— Да какое там... — махнул рукой Дымов. — Это моя головная боль. Саша пригляделся к таблицам.

— Кажется, я понял. Здесь, — он указал пальцем на левый листок, — наши висяки, то есть ваша версия маньяка, да? Только зачем вы сюда последний случай включили, ведь это же не из серии?

— Это еще доказать надо, что не из серии. Или наоборот — что из серии. Это для знания, для ворона Хугина, — пояснил Дымов.

— А вторая — для этого... как его... Минина?

— Мунина, друг мой. Что за молодежь необразованная пошла! Напоминалка, это мне дочка принесла, это ее числа.

— Числа чего?

— Они там у себя в театре так даты спектаклей называют. Она отметила, когда я с внучкой дежурю.

— Как у вас все серьезно, — улыбнулся Саша.

— А ты думал! Доживешь до моих лет, будешь дедом, поймешь.

— Да мне вначале детей завести надо!

— Вот и работай в этом направлении. В личное время.

— Ага, — засмеялся Саша. — Много тут наработаешь! У нас с личным временем туго.

— Это точно, — согласился Дымов. — Я вон тоже сколько раз дочку подводил. Все мои экстренные вызовы она припомнила, видишь, кружками обвела... Стоп, а это что? Ах ты ж, черт...

И Саша с удивлением увидел, как уважаемый им Иван Павлович сперва застыл, уставившись в стену, потом со всей силы хлопнул себя ладонью по голове, а после и вообще произошло нечто невообразимое. Старший следователь изобразил некое подобие фуэте посередине кабинета!

— Что это было, Иван Павлович? — изумился Саша.

— Подожди-подожди, не мешай, не трогай меня сейчас! — замахал руками Дымов. — Саша, голубчик, уйди, дай подумать!

В кабинет ввалился Толя Лазаренко:

— Я целый день бегаю, как волк, а вы, значит, в конторе штаны протираете... — начал он, но, увидев кружащего по комнате Дымова, осекся. — Что тут у вас?

— А я откуда знаю, — пожал плечами Саша Груздев и усугубил недоумение Толи, добавив драматическим шепотом: — Хугин и Мунин прилетели...

9.

К вечеру ситуация выглядела так. Сергей Петрович получил очередную выволочку за не двигающееся с места расследование серии, но на этот раз у него был козырь — успешные следственные мероприятия по убийству Людмилы Попович. Дело имело все шансы быть раскрытым по горячим следам. Во всяком случае, налицо был задержанный, и подозрения по его поводу выглядели более чем основательно. Поэтому начальник отдела был раздражен менее, чем обычно, когда он возвращался с совещания в верхах.

Обыск в квартире подозреваемого дал: следы ночных алкогольных возлияний (опорожненная бутылка водки, из сервировки стола следовало отметить наличие лишь одной рюмки и одной тарелки с остатками пищи); промокшие домашние тапки, в которых явно бродили по лужам (последние в изобилии имелись на побитом асфальте двора и подворотни после ночного дождя); такие же мокрые туфли и куртку, причем туфли были измазаны в грязи и, судя по всему, вообще мылись и чистились нечасто.

Двухкомнатная квартира, состоящая из одной проходной и одной изолированной комнат, производила впечатление запущенной, как часто бывает там, где живет долго и основательно пьющий человек. Впрочем, отдельная комната была приятным исключением: видимо, изначально она служила супружеской спальней, а теперь, судя по обстановке и имеющимся в ней вещам, принадлежала убитой Попович. Похоже, лада в семье действительно не было, супруги жили отдельной друг от друга жизнью, что подкрепляло возможный мотив преступления. Виталий Сергушин, производивший обыск, считал убедительной уликой мокрую обувь и верхнюю одежду, которые свидетельствовали, что подозреваемый покидал квартиру ночью, а следовательно, имел возможность совершить тяжкое преступление.

— А почему две пары обуви? — засомневался Саша Груздев. — Попович показал, что выбежал за женой, но не догнал ее — вот тебе мокрые тапки и куртка: куртку на ходу накинул, а переобуться не успел. Туфли со шнурками?

— Со шнурками, — подтвердил Виталий.

— Видишь, их завязывать долго, тем более спяну, а он торопился! Значит, выбежал в тапках. А почему туфли мокрые? Так он в тапках или туфлях бегал?

Вмешался Сергей Петрович:

— Наличие двух пар обуви возможности совершения преступления никак не опровергает, а может, наоборот, служить доказательством! Попович выскочил в тапках, потом вернулся, переобулся и продолжил преследование. От их дома до вокзала двадцать минут ходу, но не мог же он туда в тапках бежать.

— Тогда он должен был знать, что жена именно на вокзал пошла, — вставил реплику молчавший до сих пор Дымов.

— А откуда нам известно, что она ему этого не сказала? Он же теперь не признается. Считаю результаты обыска квартиры перспективными с точки зрения обвинения, — подытожил Сергей Петрович. — Давай, Лазаренко, теперь ты.

— Об убитой у меня сведений мало. Близких подруг у нее, во всяком случае на работе, не имелось. Была ровна в отношениях с сослуживицами, но тесно ни с кем не сходилась. Бухгалтерия — это же бабье царство, там любимое дело косточки друг другу, родным и знакомым перемывать. Людмила Попович про свои семейные дела никогда не рассказывала и всячески уклонялась от этих разговоров, хотя мужа ее, понятно, все знали и жалели ее. Семья — мать в Рязани, больше никого. Людмила к ней время от времени ездила, но не часто. Зато у Михаила Поповича друзей было



предостаточно. Вернее, не друзей, а дружков, по большей части по распивочным заведениям. Он-то как раз не стеснялся свое грязное семейное белье при всех полоскать, гадости про жену говорил. А когда сильно поддатый бывал, грозился, что — цитирую: «такое ей сделает, что она света белого не взвидит». Да, вот еще факт: Попович поубивал всех котов жены.

— А каким образом он их умертвил? — спросил Сергей Петрович.

— Говорят, что давливал... Почти как Шариков.

— Что и требовалось доказать, — улыбнулся Сергей Петрович. — Много у них котов было?

— Попович говорил, что много. Убитая зимой прикармливала на даче бездомных котов. Знаете, летом детям на даче заводят котят, а потом, как сезон кончается, сами уезжают в город, а животных бросают. Она их кормила, а Попович кричал, что они всё загадили.

— Там и без котов всякой дряни хватает, — вставил Дымов.

— Представляете, она раз приехала с сумками еды, а там по двору коты дохлые валяются. Он их специально разбросал, чтобы жене насолить! Она в милицию заявляла, но там мер не приняли, отказали в возбуждении за отсутствием данных о совершении преступления. Удавленных котов за преступление не посчитали. Хотя статья двести тридцатая, пункт один, «Жестокое обращение с животными», уже есть. Да что там говорить!.. — разгорячился Толя. — Помните того отморозка, который назло бывшей жене пятилетнюю дочку в ванне утопил? Она об угрозах сколько раз в милицию сообщала, а ей говорили, что это семейные разборки! Он за дочкой в детский сад пьяный пришел, и воспитательница отдала ему ребенка, хотя мать просила никогда этого не делать, — домой तोпилась! Что уж тут о котках говорить...

— Слава богу, у этих Поповичей детей не было! Я все думаю: ну зачем она с этим уродом жила, что ее держало? Неужели квартира? Да гори она, эта квартира, если в нее возвращаться тошно! — поежился Саша Груздев.

— Может, и квартира. У нас же, как ты помнишь, квартирный вопрос испортил все население страны. А может, она его любила. Есть у нас такая национальная форма любви — жалеть и терпеть, очень этим наши бабы гордятся. Да еще народная мудрость подсказывает: если муж бьет, значит, любит. Или: трясет, как грушу, любит, как душу. А еще: хоть и дырявый тын, да всё за ним холодок... — размышлял Сергей Петрович.

— По части народной мудрости нам с вами, конечно, не тягаться, — с сарказмом в голосе прервал фольклористские изыскания начальника Дымов. — Скорее всего, он ее просто запугал. Я таких случаев сколько угодно знаю, когда из страха любые унижения терпят, тут мне и архивных примеров, как Лазаренко, не надо. У страха палитра обширная: от боязни остаться одной — кому, мол, я еще нужна — до страха стыда, если все узнают про семейные неурядицы. Ну и, понятно, боязнь побоев. Боялась она!

— И вот что интересно, — продолжил Толя. — Ведь полный отморозок, пьяница, наглый, воинственно невежественный, но слесарь отменный! Говорят, лучше него никто не может наладить станки, его любая техника слушается. Короче говоря, классический пролетарий.

— Что-то мне кажется, Лазаренко, вы не любите пролетариата, — ехидно процитировал классика Саша Груздев.

— Да, я не люблю пролетариата, — признал Толя. — По социальной статистике преступлений, от мелкого хулиганства до тяжких, кто у нас первый? Пролетариат! И бытовуха — вся не вся, но процентов на девяносто — они, рабочий класс!

— Ты палку не перегибай, не разводи нам тут классовой ненависти, — остановил Сергей Петрович. — Это не рабочий класс, это, выражаясь точно, люмпен-пролетарии, то есть те, кто работать не хочет. Все, хватит дискуссий! Иван Павлович, что показал осмотр дачи?

Сведения, собранные Дымовым, не опровергали сложившейся картины отношений и образа жизни в семье Поповичей, но и мало в чем ее дополняли. Сергей Петрович подытожил:

— Итак, сделаем анализ... — Слово «анализ» с ударением на последнем слоге в его устах означало принятие окончательного решения, это знали все. — Останавливаемся на этой версии. Все указывает на Поповича, но плохо, что доказательства косвенные. Нам бы свидетеля хорошего, и можно было бы дело закрывать. Считаю, что недоработали по соседям. Еще раз сделать поквартирный обход. Кто-то должен был слышать скандал и, возможно, видеть ночью Поповича. Может, кто с ночной смены возвращался или в магазин ночной выходил, или какая-нибудь старушка, страдающая бессонницей... Короче, надо найти. У кого еще остались неясности?

Сергей Петрович покосился на Дымова, ожидая подвоха именно с этой стороны, и не ошибся.

— Я тут вот... кх-кх... — прокашлялся Иван Павлович. — Новые данные по серии появились.

— Вы по делу Поповича или по серии? — уточнил Сергей Петрович.

— Это как сказать... Если по серии, то и по Поповичу. — Дымов встал и громко и решительно объявил: — Я настаиваю на непричастности Поповича к убийству жены. Предлагаю и это происшествие рассматривать в рамках производства дел по серии убийств. И серийный убийца — явно не Попович.

— Вот те на! — всплеснул руками Сергей Петрович. — Только мы вышли на раскрытие, так ты, Иван Павлович, и это дело с висяками хоронишь! Извини, голубчик, этого я тебе уже не позволю! Мы теперь каждый труп будем к серии присоединять? Давай, чего уж там! Вон Лазаренко только что дело закрыл как ненасильственную смерть. Может, и его сюда прицепим?

— Там доказано, что ненасильственная. Инсульт, упал и под скамейкой на улице полдня пролежал. Никто не подходил, думали, что пьяный. Экспертиза показала, что естественные причины... Если бы сразу скорую вызвали, может, и выжил бы, но кому охота связываться. При чем тут серия? — вступился Толя.

— Да послушайте же! Я сейчас представлю основания, дайте договорить! — вскипел Дымов.

— Говори, — Сергей Петрович обреченно махнул рукой, снял очки и с демонстративно скучающим видом стал протирать стекла.

Горячо жестикулируя и запинаясь, как случалось с ним часто в состоянии сильного волнения, Иван Павлович начал:

— Речь идет о совпадении дат, в театре их называют числами...

Сергей Петрович оторвался от натирания стекол очков:

— В театре? Уж говори лучше — в цирке! У нас тут настоящий цирк получается...

— А я говорю — в театре! — огрызнулся Дымов. — Потому что связано это с театром, а не с цирком. Было бы в цирке — говорил бы «в цирке». Так вот. Я сопоставил даты предполагаемой серии убийств и даты спектаклей в областном драматическом театре, и получилась замечательная картина — убийства *всегда* приходятся на дни спектаклей. В театре подтвердили, что в дни наших убийств в феврале, марте, апреле — всего шесть эпизодов — спектакли были. Мало того, это был один и тот же спектакль — «Дни Турбиных»! Премьера состоялась как раз восьмого февраля, это день убийства Звенигородцева. Тринадцатого мая, в день гибели Попович, тоже давали именно этот спектакль. Если убийства связаны с «Днями Турбиных», то и этот эпизод укладывается в серию. Считаю, что убийца каким-то образом связан с театром.

— Как актер? — уточнил Виталий.

— Пока не знаю... — признался Иван Павлович. — Может — как актер, может — как режиссер... Скорее всего — как зритель... Короче, на основании вышеизложенного считаю версию перспективной для дальнейшей разработки.

— Ого! Наш маньяк в прямом смысле слова из любви к искусству убивает! А почему именно этот спектакль? Он Булгакова ценит? — спросил Толя Лазаренко.

Сергей Петрович водрузил на нос очки:

— «Дни Турбиных» — это что, Булгаков? Кино такое было, хороший фильм. Раньше из всей русской литературы у нас Пушкин и Толстой «наше все» были, теперь новый расклад, теперь Булгаков и Платонов. Вот мне Толстой больше нравится, а этого Платонова я, честно, читать пробовал, но не понимаю. Сплошное косноязычие. Да и Булгаков ваш... Очень начитанный и культурно развитый убийца у вас получается, Иван Павлович. Обычно они попроще. Хотя если и правда маньяк, то может быть всякое. И что вы предлагаете? У вас есть план следственных мероприятий?

— Да. Нужно произвести опрос среди сотрудников театра. Творческих работников, технического персонала: рабочих сцены, электриков, сантехников и так далее. Особенно — кассиров, их опросить на предмет сведений о посетителях. Работа, понимаю, большая, понадобятся люди...

— Людей я тебе где возьму? — воскликнул Сергей Петрович. — Спроси, сколько у каждого дел в разработке! Да и Поповича никто не отменял, в этом направлении продолжаем активно копать. Давай пока сам, разрешаю. Не очень верю, но чем черт не шутит. Разрешаю.

— Сергей Петрович, а можно я тоже к Ивану Павловичу по театру подключусь? Ему одному не управиться, а я в этом театре много раз бывал — как зритель, конечно. Теперь могу помочь как следователь. И вообще, я театр люблю, — попросил Виталий.

— Значит, если бомжа из канализационного люка тащить, то нужно посылать того, кто фекалии любит? Ты мне эти штучки брось!.. Ладно,

разрешаю работать завтра с Дымовым, но, если какое происшествие, на труп поедешь ты, понял?

— Так точно! — весело козырнул Виталий. — Иван Павлович, я у вас расписание, которое ваша дочь принесла, возьму? А она в эти дни в театре бывает?

Толя Лазаренко хихикнул и подмигнул Виталию.

— И что? — нахмурился Дымов. — А расписание возьми, это материал по следствию. — Он протянул папку с документами радостно улыбающемуся Сергушину.

— Иван Павлович, задержитесь, — приказал Сергей Петрович и, когда дверь за коллегами закрылась, спросил: — А как ты на такую фантастическую версию вышел?

— Да понимаешь... Можно я закурю? Уже поздно, никто проверять противопожарную безопасность не придет. — Дымов помял в пальцах сигарету, задымил. — Это все из-за дочери.

— При чем тут она? — удивился Сергей Петрович. — Ты что, с ней дома служебные дела обсуждаешь?

— Ты, Петрович, меня не учи тайну следствия соблюдать! Просто вчера я с Ленкой своей чуть не поругался. Накричал на нее... Она меня и правда всего пару раз в месяц просит помочь, а я ее все время подвожу. С Машкой побывать обещаю, договариваемся, а договор срывается. Ленка мне прямо обвинительный акт принесла с указанием дат моих прогулов на работе дедом. Я сопоставил — и точно, в те дни я действительно не мог, потому что каждый раз — экстренный вызов на труп. Ну, ты понял. Вот так.

— Ой, смотри, Иван Павлович! — покачал головой Сергей Петрович. — Не нравится мне эта театральная история. Еще и дочка рядом... Ты бы дела семейные со служебными не мешал. Опасная, знаешь, штука...

10.

Лена долго не подходила к телефону, и Дымов уже начал волноваться, что она ушла куда-нибудь в гости, прихватив с собой Машку, а значит, повидаться им сегодня не удастся. Наконец дочь откликнулась:

— Да?

— Привет! Как дела, девочки? Полет нормальный?

— Нормальный, в штатном режиме. Что-то случилось? Что это ты звонишь на ночь глядя? — спросила Лена.

— Нюся, у тебя время на отца найдется? Хочу в гости заглянуть.

— Да я тебе всегда рада... А что это ты подлизываешься? Ничего не произошло? — забеспокоилась Лена.

«Нюся» было ее детским именем. Мать называла ее Ленюсей, а она превратила это в Нюсю, невзирая на то, что Нюсей обычно называют Анну, а не Елену.

Лена сучала по маме. Развод родителей был для нее неожиданностью, они тщательно скрывали от нее трещину в семейных отношениях, и, поскольку она давно жила отдельно, им это успешно удавалось. Лена привыкла считать, что ее родители самые лучшие, что их супружеская пара — образец на все времена, так что и свой неудавшийся брак, и свои

отношения с другими мужчинами оценивала в сравнении с родительским идеалом. Долгий откровенный разговор с мамой перед их с Дымовым разводом был мучителен: Лена по-женски понимала ее, обижалась на отца, но безоговорочно осудить его не могла. Как, впрочем, и оправдать, хотя в глубине души понимала: спокойная рассудительность мамы, ее категоричность и основательность не оставляли простора отцовской фантазии и эксцентричности. Когда-то в глупом брачном гороскопе Лена прочитала, что брак женщины Тельца, знака Земли, и мужчины Водолея, знака Воздуха, не может быть счастливым. Тогда она посмеялась над этим пророчеством и посчитала счастливую историю своих родителей лишним доказательством того, что «всё врут календари». И вот теперь неколебимая мать-Земля и подвижный отец-Воздух разлетались в разные стороны, и Лена не могла сказать, кто из них виноват в разрыве.

Ко всему прочему, она хорошо помнила свой собственный развод, непонятный окружающим. Ей не в чем было упрекнуть бывшего мужа, вроде бы любящего и заботливого, но она вдруг поняла, что задыхается от этой подчеркнутой заботы. «С жиру бесишься. Ты за ним как за каменной стеной, чего тебе еще надо?» — упрекали ее подруги. «А знаете, что там, за каменной стеной? Каменными стенами тюрьмы обносят», — парировала Лена. Конечно, деспотичная опека бывшего мужа и твердая настойчивость мамы были не одним и тем же, но Лена всегда оставалась в первую очередь дочерью своего отца, а потому единственной правде матери предпочитала допущение о существовании нескольких правд. В конце концов, сама она была Водолеем, поэтому осуждать родителей не стала и продолжала любить обоих.

У них с отцом было не принято изливать друг другу душу, однако каждый был уверен в согревающей родственной близости.

Поздний звонок отца встревожил Лену, но голос Дымова звучал ровно:

— Всё в порядке, дочь. Просто поболтать хочется. Тортик за мной.

Лена облегченно вздохнула:

— Ну давай. Я тогда разрешу Машке еще поиграть. Она мне не простит, если я ее до твоего прихода спать уложу. Ты ведь ее любимый дедушка.

В супермаркете Дымов понял, что с обещанием торта он погорячился. В пустых витринах были рядком разложены полиэтиленовые пакеты, заменяющие собой отсутствующие товары, на полках в хлебном отделе красовалось несколько зачерствевших бубликов, а в кондитерском обнаружили только полуслипшиеся конфеты-подушечки неопределенного цвета. Дымов грустно вздохнул, приготовившись оправдываться перед девчонками за несбывшиеся ожидания, но тут его окликнули:

— Иван Павлович, добрый вечер! Вам что-то нужно?

Когда-то Дымов вел дело по убийству сына директора магазина Анны Фетисовой. Он хорошо помнил ее и, увидев сейчас, удивился, как сильно сдала эта еще нестарая женщина за последнее время. Тогда, два года назад, ее сын праздновал свое восемнадцатилетие с друзьями в кафе «Молодежное» — домашний, правильный мальчик решил почувствовать

и, главное, показать себя взрослым. Кончилось это передозировкой некачественных «колес», он умер в туалете, и его труп быстренько вынесли за территорию заведения. Следствие было долгим, при содействии отдела по борьбе с наркотиками его удалось завершить успешно: барыга, продавший пареньку «колеса», сел. Но сына это, конечно, матери не вернуло.

— Добрый вечер. Да нет, я так. Вот думал... — замылся Дымов. — Хотя, если вы можете...

Машка была счастлива при виде большой жестяной коробки с польским печеньем.

— О! — подняла брови Лена. — Взятка?

— Нет, благодарность. Этой женщине от меня ничего не нужно. Ничем помочь я ей уже не смогу, да и никто не сможет.

Печенье оказалось так себе, но Машка радовалась коробке как будущему хранилищу своей коллекции оберток от жвачек и, вывалив на деда кучу школьных новостей, удовлетворенная ушла спать.

— Ну вот, а теперь спокойно посидим без этой трескотухи, — расслабившись, сказала Лена. — С уроками у нас, ты знаешь, не очень, но в школу ходить она любит. Вот и слава богу, не все должны быть отличниками. Кстати, хочешь, почитаю, что про тебя пишут?

Она ушла в соседнюю комнату и вернулась с тетрадным листком в линейку.

— «Мой любимый дедушка», — торжественно прочитала Лена. — «Моего дедушку зовут Иван. Он умный, добрый и высокий. Мама говорит, что если дедушка не будет ходить на работу, то в нашем городе будет много плохих людей. А сейчас они дедушку боятся и прячутся. Но он все равно их найдет. Я его люблю». — Она протянула Дымову листок. — Это в классе задание было — написать о родном человеке.

Иван Павлович с улыбкой перечитывал сочинение.

— Отдашь мне? Я в рамочку помещу.

— Бери. Там, правда, две ошибки есть: «равно» и «работа» через «о».

— Вот с ошибками и помещу.

— Ладно. Ты как себя чувствуешь? Я на тебя в прошлый раз налетела, ты уж не сердись... Вид у тебя неважный. Завал на службе?

— Ну да, ну да... В целом нормально. Как у тебя на твоей службе?

— Тоже нормально. Надеюсь, дальше будет даже хорошо, если на премию Ленинского комсомола* с «Турбинами» пройдем.

— Вот-вот, расскажи-ка мне об этих Турбинах! — оживился Иван Павлович. — Кто у вас этот спектакль ставил? И почему «Турбины»? Из Булгакова можно было и другое выбрать — «Мастера и Маргариту», например.

— Ну, пап, ты скажешь! Мы тебе что — Таганка? Это мы не потянем! — засмеялась Лена. — Нет, как по мне, талантов у нас хватило бы, да бюджета маловато. Это Сиверцев ставил, он как режиссер хотел Булгакова сделать, а как руководитель театра — на сценографии сэконобил. Там же

* Премия Ленинского комсомола — государственная премия за выдающиеся успехи в области науки, техники, производства и культуры. Присуждалась в 1967—1990 гг.

почти никакого нового реквизита не понадобилось, все из старых спектаклей взяли, новых выгородок только понаделали. Мне, например, даже платья специально не шили — собрали из разных комплектов в костюмерной. Но это я тебе по секрету говорю, для всех посторонних мотивировка другая — творческие поиски, философская и социальная глубина пьесы и так далее и тому подобное.

— Отсюда, Нюся, поподробнее, — попросил Дымов. — Про бюджет и я тебе рассказать могу — про то, как мы главный расходный материал, бумагу, у всех кланчим. А про содержательную глубину — это важно. Вот скажи мне, о чем ваш спектакль?

— Помнишь, как Толстой говорил? «Чтобы рассказать, о чем мои романы, нужно их еще раз написать». Ты же был на спектакле?

— Один раз, на премьере. И все же расскажи, пожалуйста, мне правда очень интересно. Я до конца не понимаю, в чем там дело. Живут себе люди, время страшное, они закрылись за кремовыми шторами, и слетаются к ним друзья, как птицы в непогоду, неприкаянные, а то и обмороженные. Весь мир валится, земля уплывает из-под ног, а они пытаются жить... Ну и что из этого?

— А я тебе скажу! — порозовела лицом Лена. — Это о том, что самые страшные времена не могут быть оправданием человеческой подлости! Извини, высокий стиль, но ты сам начал. Это о достоинстве и чести. Кто-то подличает и спасает свою шкуру, а кто-то продолжает быть человеком, остается верен себе и долгу. Не формальному долгу, а человеческому, как Алексей Турбин, который мальчишек-юнкеров спасает, разогнав их по домам, а сам гибнет. И еще, это для меня особенно важно, — о любви к своим близким. О семье, где все друг друга любят и уважают, а не высчитывают, кто кому что должен и сколько с этого будет иметь. Появляется такой никчемный Лариосик, он, безусловно, обуза, но его пригревают, как и обмороженного Мышлаевского. Дом, где тепло и откуда тебя никогда не выгонят, — что может быть важнее в страшные времена? Елена и есть этот дом, она свое женское дело выполняет — тепло и мир бережет. А мужчины кремовые шторы от вторжения извне оберегают и этим дают возможность женщине быть женщиной, потому что они — мужчины. Я, может, сбивчиво говорю, но я именно так все понимаю, именно так я это играю. Хаос, беспорядок — то, что снаружи, а космос, порядок — мой дом. Если одним словом: Булгаков писал о вечности, и мы очень старались это показать.

— Ох, не люблю я эти слова — человечность, гуманизм, духовность! Черт знает, что они могут означать, а чаще всего ничего и не означают! — Иван Павлович резко встал и подошел к окну.

— Подожди, пап, — попыталась успокоить его дочь. — Что значит — ничего? Это то, чем мы от зверей отличаемся.

Иван Павлович отодвинул занавеску и выглянул в темное окно.

— Мы от зверей в первую очередь отличаемся тем, что звери себе подобных, кроме самых экстремальных ситуаций, не убивают. Смотрю я вот через твои кремовые, пардон, белые в цветочек шторы, — и за окном не только Алексеи Турбины ходят. А Еленам в это время лучше там, снару-

жи, и вовсе не появляться. Я бы тебе про наше отличие от зверей такого мог рассказать... Да оно тебе ни к чему, тем более к ночи.

— Ну ладно, пап, ну не только же этим, — растерялась Лена. — Умеешь ты все аргументы перевернуть! Как тебе еще объяснить?

— В целом я понял, не переживай. Только интересно — зрители ваши именно так это воспринимают? Зачем они на спектакль ходят?

— Зачем люди в театр ходят — это отдельный разговор. И откуда я знаю, что у них творится в голове, когда они в зале сидят? Говорят, что приходят подглядывать... за собой, если узнают себя в персонажах. Театр — это искусство, а оно по определению многозначно. Наш Сиверцев в последнее время любит об открытости интерпретаций говорить. Умную американскую книжку прочитал про постмодернизм, новое направление современности. — Лена улыбнулась. — Мне одна зрительница сказала, что она несколько раз на спектакль ходила, чтобы посмотреть, как в окружении замечательных мужчин женщина может быть женщиной, а не Мурлин Мурло, и какое это счастье. Кстати, ты знаешь, что на эту пьесу и Сталин то ли шестнадцать, то ли тринадцать раз в двадцатых годах ходил? Значит, даже он что-то для себя в ней нашел!

Дымов вскинул кустистые брови:

— Сталин? Какая-то очередная байка? Он в эти годы как раз за власть боролся, не всех еще под себя подмял. Не было у него времени тринадцать раз одно и то же смотреть. Сейчас чего только про Сталина и сталинизм не пишут, иногда читать тошно.

— Правда-правда! — заверила Лена. — Мы это даже обсуждали. Сиверцев говорил, что Сталин мог видеть в пьесе классовую победу. Мол, если уж такие офицеры советскую власть принимают, то революция победила. Помнишь, там в финале Мышлаевский говорит, что большевикам служить пойдет, потому что «народ не с нами, народ против нас»? А некоторые считали, что Сталин тоже хотел на человеческие взаимоотношения посмотреть, он ведь тоже человеком был, хоть мало в это верится. Сиверцев считает, что он на спектакль как на сеанс психотерапии ходил... Церковь души спасает, а театр их лечит.

— Последняя версия сомнительна, — покачал головой Иван Павлович. — Какие человеческие отношения, если он белых офицеров баржами топил?! Я про Сталина много думал. Ему не человечность, как ты это называешь, а страх был нужен. Всеобъемлющий, тотальный страх, на этом его классовая победа и держалась. «Террор» — ведь на латинском это и есть «страх».

— Может, ты и прав. Но, с другой стороны, мне кажется, это слишком упрощенно. Сталин во всем виноват, Сталин всех запугал... Он что, за каждым бегал и запугивал? И миллионы доносов по ночам тоже он написал?

— Да нет, тут другое... Думаю, удался беспрецедентный эксперимент по выведению новых людей. То есть мы людьми остались, но что-то было модифицировано в человеческой природе, какие-то качества усилены, а какие-то — ослаблены. Люди как люди, только у них... страх, поселившийся внутри на уровне инстинкта. Вот когда гроза, резкий удар

грома — ты инстинктивно вздрагиваешь. Не потому, что этот гром представляет для тебя реальную опасность, просто твое естество так на это реагирует. При страхе темноты, страхе высоты получаешь вполне адекватный отклик организма. Вот так и страх перед властью: существует какая-то жуткая, неконтролируемая сила, непредсказуемая в своих действиях, перед которой ты беспомощен, как перед землетрясением, и с этим бессмысленно бороться, просто нужно принять и жить с этим как с данностью. Мы же не скорбим каждую минуту о том, что у нас нет крыльев, что у нас не три руки, хотя иногда этого хотелось бы. Мир устроен так, как устроен. Когда падаешь с девятого этажа, очень не любишь в этот момент закон всемирного тяготения, но это не значит, что закон плохой или с ним необходимо бороться. Просто надо быть осторожным. Этому инстинкту уже никакой конкретный Сталин не нужен, он срабатывает автоматически.

Иван Павлович потерял виски, словно у него болела голова, и продолжил:

— Однажды я говорил с отцом о деде, о твоём прадеде. Я его никогда не видел, но очень хорошо представлял. На фотографии он выглядел как осколок царского режима: высокий, с густыми усами, в костюме и жилете с цепочкой от карманных часов. У него была безукоризненно прямая осанка и такая, знаешь, немного надменная и в то же время скорбная улыбка, словно у графа в изгнании. Хотя, конечно, никаким графом он не был. Он был бухгалтером в маленьком провинциальном городе, где человек, окончивший курс классической гимназии, уже считался очень образованным. Его семья жила в крошечном доме, но у них была лошадь, которую запрягали в старую бричку, это называлось «держать своих коней». У деда были замашки аристократа. И серебряные ложки, дешёвые, наполовину съеденные, которые у нас до сих пор, — это, как ты знаешь, от него.

Так вот. Я говорил с отцом об этом. Деда в тридцать седьмом арестовали, и больше никто ничего о нем не слышал до самой реабилитации. Заметь, никто даже не узнал, в чем его обвинили, но отец, который тогда учился в Академии Генерального штаба РККА, вынужден был уйти оттуда как сын репрессированного, и жизнь его сложилась совсем по-другому. Представь себе, что значил красный командир в то время! Всего этого он лишился. Я спрашивал: «Как же вы все могли примириться с этим? Вы же знали, что дед не был врагом народа?» — «Знали, — отвечал отец. — Но его невиновность ничего не объясняла, не оправдывала и не спасала. Это было ощущение стихийного бедствия. Налетает ураган и сносит крышу дома у тебя, а не у твоего соседа. Не потому, что ты в чем-то провинился, а сосед — нет, просто в этот раз попало на тебя, а в следующий раз может попасть и на соседа».

Меня это тогда потрясло. А теперь я понимаю, что это у нас, наверное, на генетическом уровне. И сколько бы ни говорили сейчас о покаянии, о возвращении памяти, ничего не изменится, пока не уйдет страх. Может быть, нужно, чтобы сменилось поколение? Не знаю... И с религией сейчас носятся как с панацеей: «Зачем дорога, если она не

ведет к храму?» А что там, в храме? Тот же страх, только перед Богом. Что священник на исповеди спрашивает? «Имеешь ли постоянную память о Боге и страх Божий в сердце?» А ты говоришь! Нет, Сталин не зря на православного священника учился!

Иван Павлович остановился, чтобы перевести дыхание, и, сделав паузу, завершил:

— А фотография деда даже после того, как он был в пятьдесят шестом году посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления, так и хранилась в комодке, в старом конверте, а не в семейном альбоме и никогда не висела на стене среди других фотографий — бабушка там была, а деда не было! Почему, ты не думала?

Дымов замолчал. Притихшая Лена, которой редко приходилось видеть своего обычно немногословного отца таким возбужденным, погладила его руку:

— Пап, отдай мне фотографию деда! Пусть Машка ее на стенку повесит в дополнение к своей галерее. Да?

— Да, — вздохнул Дымов и похлопал дочь по руке. — Да.

Повисла пауза. Иван Павлович взглянул на ходики, уютно тикавшие над кухонным столом.

— Что-то мы заболтались... Ну что, Няся-Ленюся, по коням? Завтра на службу? Извини, я тебя заговорил. — И продолжил уже обычным ироничным тоном: — Спасибо тебе, дочь, за чай, за семейный вечер, за тепло очага и прочее и прочее и прочее.

— Может, останешься? Уже поздно. Я тебе на кухне постелю. Так давно мы с тобой не болтали! Я иногда скучаю по тебе — наверное, все-таки люблю отца... — И закончила торжественно репликой из «Короля Лира»: — Как должно дочери, не больше и не меньше!

— Да нет, я лучше домой. Не буду вам мешать, да и мне самому так удобнее. А тебе, Корделия, я не раз предлагал — переезжайте с Машкой ко мне, у меня же, в отличие от вас, не одна, а три комнаты — хоромы! Вместе, глядишь, веселее было бы.

— Ну не настолько же сильна дочерняя любовь. Ты, пап, переоцениваешь! — расхохоталась Лена. — И потом, каждому человеку своя территория нужна, личное пространство, — и тебе, и мне. Вдруг кто в гости придет, да? А вдруг ты жениться надумаешь?

— А вдруг ты наконец замужстроишься? Ты все еще собираешься с этим Рудольфом за кремовыми шторами семейное гнездо вить? — Иван Павлович показал на букет, стоявший на туалетном столике в углу. — На сцене он для тебя партнер отличный. Он же у вас в «Днях Турбинных» Шервинский?

Лена покачала головой:

— Да нет, пап, едва ли. Партнер он, может, и отличный, но, по-моему, Булгаков сильно ошибся, выдавая Елену замуж за Шервинского. Я эту ошибку повторять не намерена. А цветы, представь, от ценителей таланта.

И, уже провожая отца у дверей, спросила:

— У вас там, в конторе, новый сотрудник? В отличие от всех остальных, он, оказывается, любитель Мельпомены. Скажи ему, пусть за кон-

трамаркой приходит. Я и детям его на утренние спектакли контрамарки достану.

Дымов усмехнулся:

— Твоя хитрость шита белыми нитками, дочь! Нет у него детей, и жены нет, ты же это узнать хотела? Парень вроде неплохой, но пока судить рано.

— Спокойной ночи, папочка! — Лена чмокнула отца в щеку. — Придешь домой, позвони, чтобы я не волновалась. Спасибо, что заглянул!

В устах отца сдержанная положительная оценка молодого сотрудника Виталия означала самую высокую похвалу, и Лене это отчего-то было приятно.

11.

Дымов вяло ковырял синеватое картофельное пюре, наблюдая за тем, как Виталий с аппетитом уплетает макароны, одобренные коричневатой жидкостью с кусочками жилистого мяса. Блюдо значилось в меню ведомственной столовой как «бефстроганов с подливом», и Дымов, чувствительный к ошибкам не только в кулинарных рецептах, но и в словах, его всегда избегал. «Великая сила — молодость: все переварит!» — с оттенком зависти подумал он, а вслух сказал:

— Согласовываем действия. Я беру на себя директора, тебе — опрос технического персонала и кассирш. Проверяем все варианты. Если мы предполагаем связь с театром, то под подозрением могут быть все.

— Ну уж директор и артисты едва ли, — Виталий проглотил последний кусок «бефстроганова», выбрал вилкой остатки «подлива» и потянулся за стаканом с компотом.

— Я сказал — все! Особенно те, кто в день спектакля поздно возвращается домой, а значит, артисты — в первую очередь.

— И Елена Дымова?

— А почему нет? — Дымов строго взглянул на молодого коллегу. — Она чем лучше?

— Да нет, Иван Павлович, вы не подумайте, я не потому, что дочка. Просто она женщина, а у нас убийства разные, женщины обычно так не работают, они способ не меняют, — поторопился объяснить Виталий. — Кроме того, там же нужна физическая сила, а Дымова девушка хрупкая. Мне кажется все-таки, что преступник не внутри театра, он приходит извне. Делаю ставку на зрителя, а то прямо какой-то «призрак оперы» получается.

— Какой призрак? — не понял Дымов.

— Такой мюзикл есть, Уэббер написал. Ну тот, у которого «Иисус Христос — суперзвезда», знаете?

— Про Христа знаю, мне не понравилось. Про призрака не знаю. Но приятно иметь дело с образованным человеком, если только это настоящему делу поможет, — съязвил Дымов, а про себя опять подумал: «Молодость...»

Директор театра восторга по поводу визита работника прокуратуры не выказал, что Ивана Павловича ничуть не удивило. Он давно привык

к тому, что люди ведут себя настороженно с представителями власти, и научился располагать к себе собеседника. Каждый раз приходилось действовать по обстоятельствам. Сейчас было очевидно, что нервного Сиверцева следует успокоить.

— Ничего не произошло, Виктор Леонидович, просто нам нужны кое-какие сведения. К деятельности подведомственного вам учреждения это, по-видимому, прямого отношения не имеет, — умиротворяюще начал Иван Павлович. — Нас вот что интересует. Во-первых, числа. По какому принципу вы назначаете даты спектаклей?

— Числа? — удивился Сиверцев. — Ну, тут многое нужно учесть. Премьерный спектакль или нет, его успех у зрителей, занятость труппы, праздники это или еще какие-то знаменательные даты... да много всего. А у вас есть к нам претензии?

Дымов замахал руками:

— Да ни боже мой, что вы! Просто вот смотрите, у вас «Дни Турбинных» еще с февраля по два раза в месяц идут. Хороший спектакль?

— А вы ни разу не были? Не может быть, чтобы Елена такой успех от отца утаила! — не поверил Сиверцев. — Да, получился спектакль. Конечно, малобюджетный, но это только плюс. Публика нас, знаете, в основном не балует, сборы небольшие, а премьеры делать — деньги нужны. В этом спектакле главное — это актеры, психологический рисунок. Дымова, дочка ваша, в главной роли очень хороша! Подаем на премию Ленинского комсомола.

— То есть ради этого уже семь раз прокрутили?

— Ну зачем вы так — «прокрутили»? — обиделся Сиверцев. — Это вам не американский боевик, это каждый раз новая художественная ткань, новое настроение, новый образ! Оттачиваем спектакль. Да, с прицелом на премию, и ничего зазорного в этом нет. Кроме того, мы и на запросы публики ориентируемся. Булгаков сейчас востребован, к нам старшеклассников и студентов водят.

— А вот скажите, Виктор Леонидович, есть у вас такие завсегдаги, которые каждый спектакль смотрят? Такие, кто художественную ткань всех семи спектаклей оценить могут?

— Ну, мы учета не ведем... Есть, конечно, журналисты из областной газеты, но не думаю, чтобы они все семь раз приходили. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. А с серьезной театральной критикой дела не очень, в этой профессии сейчас кризис.

— Кризис сейчас много где, — согласно закивал головой Иван Павлович. — А спектакль я, конечно же, видел, правда, только премьеру. Мне очень понравилось, хоть я и не критик. Кстати, вот вы про занятость труппы сказали... А что у вас со штатным составом, были ли изменения в последнее время?

— Нет, артисты у нас не менялись, если вы про них спрашиваете. С техническим персоналом, правда, беда — большая текучка кадров. Подумайте сами, кто будет держаться за нашу зарплату? Да ее еще и задерживают, мы же государственное учреждение. Левых приработков никаких, люди больше в ЖЭКе заработают. Вы же понимаете, никто вам



кран бесплатно не починит, так что там какая-никакая, а копейка, не то что у нас... Одного электрика, впрочем, я сам недавно выгнал — пил беспробудно. Я понимаю, это как бы издержки профессии, но все же есть предел! Он так софит наладил, что тот прямо посреди спектакля заискрился, как китайский фейерверк. А спектакль для школьников, дневной, так потом скандал был с пожарной инспекцией — учительница пожаловалась. Она, конечно, по-своему права, но и у нас это не от хорошей жизни!

— Конечно, все понятно. Могу я вас попросить, чтобы отдел кадров подготовил список ваших сотрудников?

Сиверцев насторожился:

— А что все-таки происходит? Я, как руководитель, имею право знать!

Иван Павлович усилил успокаивающие интонации в голосе:

— Я же говорю, ничего особенного, просто небольшая проверка в связи с одним делом. Не по поводу театра, это другое. Мы всего лишь просим вас дать официальную информацию, все в рамках закона, ничего необычного. Спасибо вам за помощь.

— Это, кажется, наш долг? — Сиверцев нервно усмехнулся. — Если у вас больше нет вопросов, могу я вернуться к своим непосредственным обязанностям? У нас вечером спектакль, а сейчас репетиция. Новая постановка, молодежная, экспериментального типа. Не хотите посмотреть?

Дымов пожал протянутую руку:

— Спасибо, не могу — дела, знаете ли. А как ваши сотрудники после спектаклей домой добираются? Ведь поздно бывает, а кому-то на другой конец города ехать. Наверное, у вас служебный транспорт есть?

— Есть. — Сиверцев распахнул перед следователем дверь кабинета. — Есть автобус театральный, пазик, старенький, но пока на ходу. Мы его даже для выездов в район на шефские концерты используем. На нем обычно всех после спектакля и развозим, и Елена вместе со всеми ездит. А у меня машина, я всегда сам несколько человек подвожу. Мы о своих людях заботимся. Всего доброго!

Виталию со сбором информации повезло больше. Он сумел расположить к себе кассиршу, словоохотливую пенсионерку, гордившуюся тем, что она уже десять лет незаменима на своем рабочем месте, и бабушек-билетеров.

— Вы бы, Иван Павлович, слышали, как они говорят: «Мы, молодой человек, не билетеры, наша профессия называется “капельдинер”!» — передразнил Виталий высокомерный тон своих собеседниц. — Умора!

Молодой следователь был возбужден и вывалил на Дымова целый ворох сведений.

— Иван Павлович, кажется, мы на верном пути! Я вам сейчас расскажу... Я думаю, что...

— Нет такого следственного действия — думать! Ты не тараторь, а докладывай по порядку о проведенном сборе информации, — охладил его Дымов.

Вот что выяснил Виталий. Старушки знали всех завсегдатаев театра, но особенно важно было то, что они в один голос твердили о посетителе,

которого хорошо запомнили именно в связи с «Днями Турбиных». Он не только приходил на каждый спектакль, но и приносил цветы.

— Кому? — восторженно спросил Дымов.

— А вы угадывайте с трех раз! Там же одна женская роль. Елене Дымовой, представьте! Бабушки прямо глаза от восторга закатывали: мол, это такая редкость, сейчас нечасто цветы дарят и все больше родственники, а тут не родственник. «Должно быть, тайный поклонник Леночки, это так романтично!..» Она вам что, не рассказывала?

— Я в личные дела дочери не лезу. Что нужно, сама скажет, — буркнул Дымов. — А приметы есть?

Виталий торжествовал:

— А то как же! Подробнейшим образом всё описали, хоть сейчас фоторобот составляй. Докладываем начальству, а, Иван Павлович?

Начальство в лице Сергея Петровича одобрило разработку версии, получившей с легкой руки Виталия Сергушина название «Театрал». С фотороботом пришлось повозиться, пока обе бабушки-капельдинерши его одобрили. Они отнеслись к делу с максимальной ответственностью, долго спорили о том, чья физиономическая память лучше, вспоминали мельчайшие подробности и наконец согласились: «Да, вот это он, положительно он!»

Перед Дымовым вырисовывался не только внешний, но и поведенческий портрет «театрала». Мужчина сорока — сорока пяти лет, высокий, подтянутый, коротко стриженный, волосы темно-русые с проседью; глаза близко посажены, нос прямой, подбородок округлый; кожа лица слегка рябовата, словно в мелких оспинах; одет аккуратно и неброско. «Сейчас в театр в смокингах не ходят, но по всему видно, что приличный мужчина», — комментировали капельдинерши.

Приходил в театр один, всегда сидел до конца спектакля, передавал букет, но сам к сцене не подходил. Букеты были разные, не очень роскошные, но, со слов свидетельниц, «тоже приличные». Из характерных особенностей капельдинерши обратили внимание на чуть скованные движения и заторможенную речь: «Голос довольно низкий, но не бас. И запинаясь. Не заикается, а просто очень медленно и со значением произносит слова, от этого получается эффект запинки».

Конечно, для следствия подарком был бы какой-нибудь огненно-рыжий одноногий подозреваемый со шрамом во все лицо, но такие попадают редко, поэтому приходилось радоваться и этим полученным приметам. Негусто, но все-таки какая-то зацепка, утешал себя Иван Павлович. Лена подтвердила, что цветы на спектаклях получала, но дарителя никогда не видела, и никаких записок в букетах не было. На вопрос Ивана Павловича, не удивляют ли ее эти постоянные подношения, обиделась:

— Вообще-то, дорогой родитель, это моя профессия, если ты не забыл. А Елена в «Турбиных» — пока моя самая главная и лучшая роль. Зрители бывают иногда благодарными, я тебе уже говорила!

И все же многое оставалось для Дымова непонятным. Если версия верна, то перед ними случай явно маниакального характера. Ключ можно найти, только поняв логику преступника. Но если это маньяк, то обычная логика не работает. Почему театр? Почему именно этот спектакль?

Что провоцирует преступника на убийства? Как он находит жертвы и почему клюет именно на этих людей, а не на других? И еще много вопросов, на которые ответа у следователя пока не было.

После разговора с дочерью Дымов перечитал Булгакова, но ясности это не добавило. Правда, для себя он придумал версию, почему Сталин ходил на этот спектакль столько раз. Будущий Вождь и Учитель в детстве хотел быть офицером, но здоровье и физические данные не позволили...

Приходилось двигаться ощупью. Дымов не разделял энтузиазма Виталия Сергушина, который уже предвкушал победу с задержанием убийцы на месте преступления.

Тем не менее план мероприятий был составлен, утвержден и согласован с оперативным отделом. Оперативница под видом стажерки в кассе театра контролирует всех покупателей билетов, и в случае опознания ею подозреваемого за ним устанавливается негласное наблюдение. В день спектакля оперативная группа размещается в зале, продолжает наблюдать и, если на то будут основания, проводит операцию по задержанию.

Для Дымова начались самые томительные дни неопределенности, когда повлиять на события невозможно и управляет ими чужая, возможно, преступная воля. А если ход следствия ложный, и, пока они готовятся к встрече с предполагаемым преступником, настоящий убийца уже вышел на свою страшную охоту? Беспокоился Иван Павлович и за дочь, которая пусть косвенно, но оказалась замешана в этой истории. Пришлось серьезно поговорить с ней и взять обещание быть осторожной и в одиночку по вечерам на улице не показываться. Дымов ненавидел это состояние собственного бессилия, оно повергало его в депрессию. Он стал еще менее разговорчивым, еще больше брюзжал и срывался на сослуживцев, устроил скандал Толе Лазаренко за ошибки в протоколе:

— Что значит «после первичного осмотра на месте происшествия труп отправился в областной морг»? Своими ногами он туда отправился? Кстати, о ногах. Это как — «ноги вытянуты вдоль тела»? Они что, могут быть отдельно от тела, да еще и поперек?

— А это по-разному бывает. Бывает, что и расчлененка... — оправдывался Толя под дружный хохот Виталия и Саши Груздева.

Но вообще-то всем в отделе было не до смеха. Оставалось ждать дня спектакля и молить Бога, чтобы до этого времени не появились новые трупы по серийному делу.

12.

В течение двух недель наблюдение в театральной кассе результатов не дало. Билеты раскупались вяло, но кассирша утверждала, что отчаиваться не следует: наибольшее количество билетов продается непосредственно в день спектакля. План «Театрал» был по предложению Дымова скорректирован — в группу добавились еще несколько оперативников. Один должен был, якобы в качестве стажера, занять место рядом с шофером в театральном автобусе, чтобы проследить за сотрудниками театра, которых доставляли домой после спектакля; кроме того, следственная

группа в частном автомобиле должна была вести подозреваемого до дома для выяснения места проживания и дальнейшего установления личности.

Попытку Дымова настоять на своем участии в операции Сергей Петрович решительно пресек:

— Я тебе, Иван Павлович, должен объяснять разницу между опером и старшим следователем прокуратуры? Наше дело в конторе сидеть, бумаги писать и головой думать, если получается. Наши опера — ребята грамотные, сами справятся. Можешь в отделе остаться, а сам на место не лезь — лучше не сделаешь. Не создавай ненужной массовости.

Дымов и сам прекрасно понимал, что лишние люди в таком тонком деле только мешают. Спугнуть преступника легко, а если он заляжет на дно, то неизвестно, сколько придется потом ждать. Если он вообще не исчезнет. Но, как говорится, нет ничего хуже ожидания. Сопровождаемый сочувственными взглядами дежурного по городу, Дымов мерил шагами тесный кабинет следственного отдела, когда пришло сообщение, что спектакль начался, в зале человек, чьи приметы совпадают с описанием подозреваемого, наблюдение за ним установлено.

Пока в театре шел спектакль, Дымов пересчитал на стекле все капли мелкого, словно не майского дождя. За окном визжал тормозами трамвай, делая крутой поворот на соседнюю улицу, и каждый звук болезненно, как ножом, резал слух следователя. Время от времени звонил телефон. Дымов нервно вздрагивал. Дорожно-транспортное происшествие и пьяная драка. «Только не труп, только не труп!..» — мысленно умолял Иван Павлович. Он, наверное, даже помолился бы, если бы знал, как это делается.

«Да и рано пока быть трупу, спектакль еще идет», — уговаривал он себя.

Наконец на связь вышла оперативная группа в машине, сообщила, что следует за разрабатываемым: вышел вместе с другими людьми из театра, не спеша пошел по улице, наблюдение ведется. Потом поступило сообщение от «стажера» при водителе автобуса: все сотрудники театра доставлены по домам.

— Все? — переспросил Дымов.

— Все, — подтвердил дежурный.

Иван Павлович облегченно вздохнул: Ленка дома, слава богу.

И еще через полчаса вот оно — главное:

— Задержан при попытке нападения, — прохрипела рация.

* * *

Согласно докладу оперативников, картина вырисовывалась следующая. Задержанный — Белошапкин Геннадий Васильевич, тысяча девятьсот пятидесятого года рождения, в восемнадцать часов сорок минут приобрел в кассе билет на спектакль, сразу же вошел в зал, занял кресло в десятом ряду партера. Во время спектакля свое место не покидал, через служащую передал на сцену букет, который был вручен артистке Дымовой. Вышел из театра вместе со всей публикой, после чего направился по улице Ленина, а затем свернул на Плехановскую.

— Вам сейчас детали передвижения нужны? Или я потом все в протоколе подробно опишу? — спросил усталый оперативник.

— Детали можно потом, — согласился Иван Павлович.

Оперативник, представившийся оперуполномоченным Петуховым, был из новеньких, Дымов его не знал, но точный доклад ему понравился.

— Сейчас главное — он заходил куда-то, искал кого-то или что-то, с кем-то разговаривал?

— Никуда он не заходил, просто бродил по улицам, круги наматывал. А вот когда попробовал заговорить, мы его и задержали.

— Ну не за разговор же? — поднял густые брови Дымов.

— Конечно, нет! — возмутился оперативник.

На улице Орджоникидзе наблюдаемый пошел на отдалении за одинокой женщиной и, когда та остановилась возле скамейки у входа во двор и стала искать что-то в своей сумке, подошел к ней и вступил в беседу.

Гражданка вначале отвечала ему, а потом резко отстранилась. Наблюдаемый протянул в ее сторону руку, гражданка оттолкнула его.

— Тут мы дальше ждать не стали. Гражданка Никанорова Софья Андреевна, проживающая на улице Орджоникидзе, дом шестьдесят семь, квартира двадцать три, показала, что возвращалась домой и остановилась, чтобы достать ключи. Подошедшего к ней человека не знает и никогда раньше не видела. Он спросил, не помочь ли ей чем-нибудь, а получив отказ, стал приближаться, бормоча что-то бессвязное и непонятное. Она испугалась и оттолкнула его. Тут мы его и задержали. Что-то не так? — осторожно спросил оперативник, закончив рассказ.

— Все так, молодцы, — подбодрил Дымов. — Что при обыске изъяли?

— Ерунду всякую. Кошелек, денег немного. Автобусные билеты, ключи... Ничего особенного, кроме...

— Ручки? — не сдержался Иван Павлович.

— Почему ручки? Ручка тоже была, но я не про это. У него знаете что в кармане пиджака лежало? Шило! Аккуратненько завернутое в носовой платок.

— Шило? Ну да, ну да... Ручка и шило... Отлично! — обрадовался Дымов. — Слушай, дорогой оперуполномоченный Петухов, как тебя зовут?

— Николай, — улыбнулся тот. И стало видно, что он очень старался произвести хорошее впечатление на первом, по-видимому, в его работе важном задержании.

— Протокол задержания, обыска — все, что надо, завтра же мне на стол! Убедительно прошу, Николай, все подробно. Очень надо, понимаешь, очень! — Иван Павлович протянул руку для пожатия.

«Только не труп, только не труп...» — билось в мозгу Дымова, когда дежурная машина везла его домой.

Трупа этой ночью не было.

(Окончание следует.)

Валерий ЛОБАНОВ

«ЧТО КРИЧИТ ЛЕСНАЯ ПТИЦА...»

* * *

В дни реабилитации...

М. Кудимова

Видится вечер с танцами,
светлого мая привет —
то, что прольется стансами
через двенадцать лет.

Высветит память заново
за урожай борьбу
с шефами из Иванова
(девочки без табу!).

Столько спектаклей сыграно!
Бились за колбасу.
Тяжкий портрет Косыгина
я на шесте несу.

Эти журналы польские,
космос, Хрущев, прогресс,
песенки комсомольские,
запанибратская ГЭС.

Скурвилось время, скорчилось,
как повороты рек.
Эта эпоха кончилась.
Новый лютует век.

...Выйду на тихой станции.
Совесь моя чиста
в дни реабилитации
Сталина и Христа.



* * *

Ю. К.

птицы просят хлеба
раскрывают рты
где земля
где небо
перепутал ты

вывезет кривая
дерева-коза
вечер
закрывают
ландыши глаза

горькая калина
молния
висок
ты сегодня — глина
завтра ты — песок

Про счастье

Над страной советской
то зима, то весна...
Плещет памяти детской
голубая волна.

Дни звенят, как мониста,
для нас, непосед.
Все вокруг — коммунисты:
мама, дядя, сосед.

Зеленеет береза,
лето жжет комильфо.
А мой дядя Сережа —
начальник райфо*.

Вот он, снятый на фото,
опаленный бедой,
в бескозырке Балтфлота
и — такой молодой!

* Райфо — районный финансовый отдел.

Дядя брови не хмурит.
 У него — патефон.
 Он не пьет и не курит,
 он начальник райфо.

По веленью начальства
 и в морозы и в зной
 дядя ездит нечасто
 в город наш областной.

Где-то в море эсминцы...
 Свежей стрижки пробор...
 Он привозит гостинцы —
 продуктовый набор.

Над моим воспитаньем
 размышляют в Кремле.
 ...Только плохо с питаньем
 почему-то в селе.

Вот мой дом на Советской.
 Вот я летом, босой,
 с колбасою «Одесской»,
 с «Краковской» колбасой!

* * *

В сердце музыка хранится,
 нет там больше ничего...
 Перевернута страница
 злого лета моего.

Небо тучами коптится,
 лес, наполненный клещом.
 Что кричит лесная птица —
 не разгадано еще.

Хорошо пройтись с Лушей.
 Хорошо закат горит.
 Хорошенько птицу слушай,
 птица правду говорит.

* * *

Дрались и порой матерились,
на зиму кололи дрова.
Но всё же чему-то учились,
в тетрадках писали слова.

То летний, то зимний Никола —
как их различить и понять?
Начальная сельская школа,
и не на что было пенять.

Нам зубы врачи вырывали,
не жалко нам было зубов.
Пусть яблоки мы воровали,
но верили в свет и любовь.

Отбриться, забыть, отскоблиться
от детства уже не дано.
Ему и на старости — длиться.
Должно повториться оно!

И жребий наш был не случайный —
райком, райбольница, райторг...
О, ужас тот первоначальный!
О, первоначальный восторг!

Мальчишки из третьего класса
курили и грызли фасоль.
А там, где написано «Асса»,
написано было «Ассоль».



Полина КУЗНЕЦОВА

КАК ГОВОРИТ НИКИТКА

Повесть*

Полина Кузнецова — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, семинара детской литературы А. П. Торопцева. Но я уверен, что ее проза будет интересна не только детям, но и взрослым, и даже, может быть, более интересна взрослым.

Все мы помним свое детство, но постижение мира детей — это трудная задача для писателя. Детский язык, детское образное мышление сильно отличаются от взрослого. С годами мы теряем и этот язык, и, главное, это детское, особое видение мира.

Под детский язык, под детский взгляд на мир нельзя «подстроиться». Они либо остаются в тебе на всю жизнь, либо исчезают с годами, вытесняемые нашими взрослыми проблемами, которых у всех хватает.

«Никитка говорит, у всего живого в мире есть своя звезда. И чем ты добрее, тем ярче она светит. Самая большая звезда у деда. А у Вали самая маленькая.»

А когда человек умирает, звезда гаснет? Свечку нужно задуть, чтобы дом не сгорел. А кто задует звезды?»

Читая прозу Полины Кузнецовой, ни разу не почувствуешь взрослой фальши в передаче детского мировидения. Поэтому ее проза освежающе действует на читателя, перенося его в детство.

Я думаю, что однажды Полина Кузнецова напишет и «взрослую» прозу. Но детская чистота в восприятии мира, вот этот безгрешный взгляд на жизнь, на людей останутся в ней навсегда.

Павел Басинский

Посвящается Алисе, которая еще не скоро прочитает эту повесть, и папе, который уже не прочитает никогда

Куда уходят мамы?

Чем пахнут звезды? Валя знает, как пахнут пирожки, бензин, дедов свитер, обед в садике, пыльный ковер на стене, чупа-чупс. Всё. А как же звезды?

* Журнальный вариант.



Никитка говорит, звезды далеко. Они огромные, больше солнца. А солнце-то с пятак, даже Валя больше него.

С Валиной кушетки в окно видно небо, серое, без звезд.

— «Одеяло убежало, улетела простыня...»

— Никитка.

— А?

— Никит, я больше не буду умываться.

— Это почему еще?

— Я тоже хочу, чтоб пироги за утюгами бегали.

Вале приснился их плот, а вокруг зайцы бегали. А кто тогда зайцам снится? Он открыл глаза, сжал в руке красного динозавра. Дед подарил. Никитка говорит, динозавры вымерли давно. Тогда еще людей не было. И деда не было? А что же тогда снилось динозаврам?

Батареи плохо греют. Вале баба носки связала, а Никитка ему сверху еще свои надел. Сам босиком.

— Валька, молоко кончилось. Чаю, может?

Они сидели вдвоем под одеялом. Никитка пил пустой чай, а Вале мед со стенок банки ложкой подсобрал. Смотрели на карту звездного неба.

— А это что?

— Это? Кит. А это, смотри, заяц.

— Не похож. Это совок.

— Сам ты совок. Ну смотри, вот так лапы, это голова.

Как Никита видит в ковшах медведей, а в совке зайца?

— Никитка, а мама тут где?

— Мама выше звезд. Мама с боженькой в раю.

Бог не может быть везде и сразу, поэтому он придумал мам.

Валиной маме их сверху хорошо видно. У нее есть бинокль.

Дед новости смотрел, там сказали, что дети в пожаре умерли. Дети теперь будут на небушке, а кто за ними там смотреть будет?

«Уиу-уиу-уиу...» — скорая. По потолку скользнула синяя тень. К ним во двор приезжала скорая. Тогда дяде Паше плохо стало. Его теперь в коляске, как маленького, возят. Никитка сказал, пальцем не показывать. А чем тогда? Кулаком?

Когда в саду на завтрак дают омлет с горошком, к ним в дом приходит врач. Валя идет вниз, а она наверх, они меняются ступеньками. На третьем этаже живет слепая девочка. Никитка говорит, слепотой не заразишься. А Валя все равно рядом не дышит.

У нее пуховик в звездах. Зачем? Она же не видит.

Никитка говорит, у всего живого в мире есть своя звезда. И чем ты добрее, тем ярче она светит. Самая большая звезда у деда. А у Вали самая маленькая?

А когда человек умирает, звезда гаснет? Свечку нужно задуть, чтобы дом не сгорел. А кто задует звезды?

Если Валина мама на небушке, там, над звездами, то это она их зажигает. Для чего еще мамы уходят на небеса?

С чего начинается зима

Пена стекла в ванну, по трубам выползла наружу и затопила всю улицу. Зима.

Под водой всегда лето. Валя точно знает. Никитка говорит, лед защищает рыб от холода. Но он чего-то не понимает, как же тогда появляются замороженная рыба и рыбные палочки?

— Знаешь, Валька, если протрубит Гьяллархорн, то нам будет на чем идти по замерзшей реке. Наш плот не из ногтей, конечно, но он лучше.

Никита часто говорит страшные слова. Валя их не понимает. Дед подарил им книжку про викингов. А Валя хочет стать пиратом.

Никитка говорит, у викингов ноябрь — мертвый месяц. Все умирает, и солнце, может быть, никогда не взойдет. А какой тогда январь?

Никитка плот нарисовал, с палаткой. Говорит, парус бы поставили, но он держаться не будет.

— Мы сделаем все по Тому Соьеру.

А если они не станут пиратами, то Валя пойдет мороженое продавать. Летом мороженое. А зимой он, как тетя Рима, пенсионером будет.

Папа смотрел новости. Там говорили, что из нью-йоркского зоопарка сбежали пингины. Как в мультике. А с утра Валя про пингинов смотрел передачу и...

— Тять.

— Ау?

— Тять, ты знаешь, чего пингины такие жирненькие?

— Нет.

— У них под кожей куски масла. Ну, чтоб не замерзли.

И там рассказывали про то, как не замерзнуть животным зимой.

— А может, это для того, чтобы их жарить было удобнее? — спросил папа. Папа очень умный. Умнее всяких там телевизоров.

— Так, Валька, после лета что?

— Весна.

— А если подумать?

— Никитка, я устал. Не знаю.

— Осень. А после осени что? — Валя пожал плечами. — Ну сейчас то у нас что?

— Дубак.

А вообще, хорошо работать дворником. Осенью можно убирать листья, зимой — снег, весной — грязь. А летом — купаться и продавать мороженое.

— «Согласно легенде, царь Янус научил людей, как строить корабли, пахать землю и выращивать фрукты и овощи. — Никитка читал вслух книжку без картинок, как взрослый. — Пожалуй, за эти заслуги Сатурн и наградил его даром знать прошлое и предвидеть будущее. А потом Януса провозгласили покровителем всех начал. Его именем называли первый месяц года — ян...»?

— Яндекс?





Маша сказала, что самый вкусный — это белый снег. И они его на прогулке ели. Теперь весь сад заболел карантинном.

Они пили горячий чай с вареньем, баба передала. Она на все банки наклейки прилепила, чтобы знать, где какое варенье. Валя читать не умеет, да и не надо. И так же видно, какая где ягода плавает.

За окном не падал снег. И небо глаза голубило. Валя знает, почему птицы зимой не поют. Если рот открывать, простудишься.

Почему год новый, а Дед Мороз старый?

В воздухе пыль звездами повисла. Подслушивает.

Валя лежал под елкой. И фонарики по веткам бегали. Синий, красный, зеленый, синий. Желтый устал, в этом году не работает.

Никитка говорит, их елка с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот Валя вверх растет, а елочка неправильно, вниз.

— А как написать «дед»?

— Ну первая какая буква? Дед. Дед.

— Де.

— Да нет такой буквы! Валька, не качайся на стуле. Д-д. Дэ, как домик. Вот так.

Никитка говорит, если Валя баловаться будет, Дед Мороз увидит и не принесет подарок. Но он что-то путает, это боженька все видит, а Дед Мороз только письма читает.

По телевизору сказали, что лунная пыль на вкус как порошок. А кто ее пробовал? На Луне, кроме барона Мюнхгаузена, никого и не было.

Валя попробовал картошку со сковородки. Обожгло, зажмурился. Папа рыбу готовит.

— Вот, Валух, сейчас почистим, а потом с лимончиком да с укропчиком запечем.

Взял ножик, звяк, блеск, всю мишуру с рыбы ободрал.

Тетя Рима им соку дала, яблочного, в зеленой банке. Вале семечко попало, Никитка говорит, к счастью. Папа сок не пьет. Свое в рюмочку наливает, хлеб нюхает. А Никитка смотрит, хмурится, ему-то стакан битый достался.

— Давай стихотворение учить. «Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез».

— А зачем брат доводит до слез?

— «Он говорит, что Дед Мороз — совсем не Дед Мороз. Он говорит...»

— Никитка.

— А?

— А почему он не Дед Мороз?

— Ну это стихотворение такое. Написали так. Вот ты, Валька, придешь на елку, и что ты Деду Морозу расскажешь?

— Про космонавтов.

За окном ночь, на окне узоры. Свет Дед Мороз спрятал, чтобы его не заметили.

К ним дед с бабой на Новый год придут. Баба пирожки принесет, а дед подарки. Это же он дед.

А у космонавтов есть Новый год?

Деревья окунули в сахар. Теперь их только весной оближет великан.

Валя завернул в фольгу игрушки из «киндер-сюрприза». Под елку положит. А то вдруг Дед Мороз не принесет ему подарок, тогда папа с Никиткой поймут, что Валя был плохим мальчиком. И папе с Никиткой заодно завернул игрушки.

Папа режет хлеб на бутерброды тонко-тонко. Если посмотреть сквозь кусочек черного, то можно увидеть все-все. Папа кладет на хлеб яичко, лук и сверху селедку. Он ставит табуретку к дивану, на нее тарелку с бутербродом, и они вместе смотрят про животных. Вода течет туда, куда бегут бегемоты. А от чего они бегут?

Они живут в Африке. Вдоль по улице гуляют, фиги, финики срывают. У них даже зимой лето, и летом лето. А зимы не бывает, значит, и Нового года не бывает. И подарков не бывает.

Нет, в Африке бы Валя жить не хотел. У них вместо Деда Мороза Бармалей.

Завтра будет Новый год. Или послезавтра. Ночью. И Валя не будет спать. А что, если год будет, а нового ничего не будет?

Зимой луна не упадет, ее облака поймают. И Валя тоже не упадет, они с Никиткой пока на полу под елкой спят.

Однажды утка станет сойкой

Ночью она тонула в своем сне. Тонула так глубоко, что просыпалась.
— Умид, утку, — с кровати раздался жалобный голос, почти детский.

Она вынесла утку, смыла. Помыла поддон. В большом зеркале Умид казалась такой маленькой. Она поправила волосы.

— Мида.

— Ой. — Она вздрогнула. — Алеша, ты меня поугубил.

В дверях стоял маленький мальчик, переминался с ноги на ногу.

— Ты пи-пи хочешь?

— У-у. — Он замотал головой.

— Злой сон?

— Да. Скажешь сказку?

— Алеша, я должна с бабулей сидеть. Вдруг она опять в туалет захочет? А плохо станет?

— Ну мы быстро. Буля крикнет.

Она подняла его на руки. Мальчик прижался к ней, руками расчесывал ей волосы.

— У тебя красивые волосы.

— У тебя тоже. — Она поправила ему одеяло.

— У меня как у девчонки.

— В твоем волосе весь сила. Чем длиннее он будет, тем ты сильнее.

— Поэтому ты такая сильная, да?



Тень кошки прыгнула на тень шкафа. Умид гладила мальчика по голове и шептала:

— Наловил Хаким уже очень много рыбы, как вдруг в сеть попала золотая рыба. Хаким обрадовался, взял в руки золотую рыбу и влюбился ею...

— А потом бабка стала владычицей морской?

— Нет, это другая сказка.

Солнце еще поздно встает, а Умид рано. Она готовит завтрак, кормит детей и бабулю. Кира уже сама одевается, только гладить не умеет. А Алешу с бабулей нужно одевать. Хорошо, что в доме есть лифт. Она выкатывает бабулю на коляске, дети пешком.

— А обратно я поеду.

— Алеша, ты уже большой.

— Буля еще большее.

— Бабуле ходить тяжело, у нее ножки болят.

Они провожали Киру до школы, а потом гуляли в парке. Бабуля, укрытая пледом, спала на солнышке. Алеша с Умид кормили птиц. Она смотрела, как улетали птицы. И сойка махнула ей голубым крылом, позвала лететь вместе с ней. Умид закрыла глаза.

— Ты чего? — Алеша приложил ладошку к ее лицу.

— Я лечу, Алеша.

Она не гладила только носки, им она искала пары. Каждый раз один носок пропадает. Умид заглянула в стиральную машину, прокрутила барабан. Ничего нет. Куда еще один желтый носок делся?

— Когда я был старым, я плавал в красном море.

— Когда ты будешь старым?

— Нет, ты не слушаешь. Когда я был старым. Давно. И ты там была. Ты в красном море стирала рубашки, и они стали тоже красными. Помнишь?

— Нет. — Она встряхнула пододеяльник, повесила сушиться.

— А я помню. В прошлый раз я был... ну таким, с бородой.

— Стариком?

— Нет, это работа такая, где все с бородами. Как там его?.. А когда обед?

— Чтобы хорошо пообедать, нужно хорошо проголодаться.

— Чтобы хорошо пообедать, нужно все съесть.

Она чистила лук и не плакала.

— Алеша, ешь.

— Рисики с вилки падают. Покорми!

— Это плов, его руками есть нужно.

Она взяла пальцами с тарелки плов и положила в рот. Потом подцепила мясо. Алеша поджал губы. Посмотрел на плов, на Умид, снова на плов. Взял рукой горсть риса с морковкой и чесноком, отправил в рот, облизал ладошку. Кира тоже положила вилку, начала есть руками.

— А ты знала, что у динозавров были огромные уши, но об этом никто не знает, потому что в ухе нет кости? — сказала Кира.

— Не знала. Это правда?



— Конечно. Только мне никто не верит. А ты знаешь, что у акул вообще нет костей?

— Как это?

— А вот так. — Кира облизнула палец. — У них хрящи. Они в горле не застрянут, и ими не подавишься, как я той рыбиной. Почему мы не едим акулу?

— Мне нельзя такое есть, это харам.

— Это не харам, это рыба.

— Вот это она и есть. Харам — это что мне нельзя.

— Акулу нельзя есть? — Кира покачала головой. — А акуле тебя можно есть?

— Еще как можно! Но мы от моря далеко, акулы нас не достать.

Она выносила утку, убирала кошкин лоток, мыла Алешин горшок. Алешина мама говорит, что ему еще рано пересаживаться на большой туалет. А еще она сказала, что теперь Кира будет заниматься по вечерам музыкой. На скрипке играть. Ее нужно будет водить в музыкальную школу и забирать оттуда. А бабуле вечером нужно ставить капельницу.

— Умид, а тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— Нашей сестре тоже восемнадцать, но она не работает.

— Вашей сестре работать не нужно, у нее хороший родители.

— А у тебя? — Кира забралась под одеяло.

— И у меня хороший. Только папа болеет.

Она тонула в своем сне, как в черной воде. И ей приснился папа. Папа сидел на ступенях у их дома, ел пахлаву.

— Почему ты так любишь пахлаву, папа?

— Это самая сладкая еда на земле.

— А откуда ты это знаешь, папа?

— Я был на базаре и слышал там, как люди хвалили пахлаву за то, что она такая сладкая.

Она проснулась от тихого плача: «Умид! Воды!» Бабуля тоже проснулась или не спала совсем.

— Может, вы хотите чаю?

Бабуля покачала головой. Она уже не тонет во снах, и пахлава ей уже не сладкая.

Страх всегда смотрит в ответ

Если долго смотреть на ковер, можно увидеть колдуна. Он прячется в узор вместе со львом и летучей мышью.

— Раз, два, три, четыре...

А на двери в чулан есть лицо. Лоб, нос и подбородок. Валя даже обвел их карандашом.

— Пять, шесть, семь, восемь...

Эти рисунки мальчику нравились. А вот желтое пятно — нет.

— Девять, десять!

Щелк.



Дверь захлопнулась. Это ничего. Валя уже большой, ему не страшно. Он смотрел на чайное пятно на потолке, откуда ему в чулане взяться?

Мальчик сидел в уголке на швейной машинке. Папа его всегда долго ищет. Это потому, что Валя хорошо прячется или папа плохо ищет? Вот Никита брата быстро находит. Но это же Никитка.

Валя подходил к двери, прикладывал ухо, нос. Из комнаты доходил тихий холод. Сколько он уже тут сидит?

Он сидел на полу с книжкой «Кот в сапогах», читать не может, а картинки смотреть — пожалуйста.

Проснулся. «Тятя?» Не открывает. Валя прислонился к двери. Тихо. Может, вышел в подъезд искать?

Мальчик сел на бабину швейную машинку, к лыжной палке привязал наволочку и поплыл. Куда? На остров Пасхи. Никитка все говорит: «Вот спустимся по Клязьме. Эх, Валька! На остров Пасхи поплывем! Я плот сделаю. Тут хитрость одна, к деревяшкам снизу надо бутылки пластмассовые привязать. Понимаешь? Так что собирать с тобой их будем. Лучше двухлитровые. Вернее. Эх, Валька!»

Мальчик доел печенье. «Тятя!» Тишина. Лег на спину, а на потолке пятно. Валя смотрит на него, а оно в ответ смотрит. И страшно так. Валя отвернулся на бочок, уснул.

На шкаф они с Никиткой наклеили этикетки от кока-колы и «Бура-тино». Валя еще пластилин по стене размазал. Фиолетовый.

А в шкафу, в круглой коробке из-под печенья, лежат лекарства. Там и коробочка. Белая, с желтым горохом-аскорбинками. Кислые. Валя морщится, а все равно грызет. Пластырь достал, приклеил на руку. И еще один. И еще.

Позвал. Тишина.

В животе заурчало. Валя забрался на верхнюю полку, а за матрасом банка абрикосового варенья. Никитка открыл одну и спрятал, чтоб папа не узнал. Валя сначала окунул палец в банку, а потом и всю руку. Сладко.

А у папы тут сумка рыболовная лежит. Там крючки, лески, их трогать нельзя. Папа поплавки Вале в ванну кидал и мормышки. Это Валя сейчас знает, что мормышки — не мармелад, а когда-то жевал их.

В углу сидит паук. Наплел паутины с Валин кулак и ждет. Мальчик папу ждет, а паук муху. Валя умный, знает, что муха не прилетит зимой.

Дзыньк. Света нет. Валя встал на швейный корабль, потянулся к выключателю. Вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Не работает. Мальчик не боится темноты. Ничего не видно. Никитка говорит, что в космосе ничего не видно и не слышно. Значит, Валя сейчас в космосе?

Нет. Он видит. Видит пятно. А пятно видит его.

Валя сел в угол к пауку. Вдвоем не страшно. Мальчик обнял колени. Вытер нос рукавом. Ничего. Ему почти пять, он плакать не будет.

Щелк. Дверь со скрипом открылась. Валя зажмурился. Светло.

— Валька, вот ты где! А я тебя везде ищу. Опять с батеи в прятки играли? И сколько ты тут сидишь? Ну? — Мальчик замотал головой. — Ну ты чего? Валька?



Забрался на кушетку. Под одеялом хорошо. Никитка сидел за столом. Уроки делал.

— Никитка.

— А?

Покачал головой. Отвернулся к стене. А потом снова:

— Никит.

— Чего?

— Я еще там?

— Где?

— Там. И на меня смотрит пятно.

— Ты чего? Валька, а?

Валя не ответил. Заснул. А когда откроет глаза, он будет опять в чулане, да?

Кто прячется в уголке глаза?

Кто прячется в уголке глаза? Кто-то страшный, его не видно. Вот у тарелки углов нет, в ней каше не спрятаться. А в каше прячутся комки. Их Валя не любит.

— Ты же сам просил!

Манку, не комочки. В саду вот кашу пить можно, и ничего не попадается.

А Никитка ест жареные пельмени. Не белые, коричневые. Где такие взял?

— И я хочу.

— Кашу жуй, гастритный.

Врач сказал, у Вали от гастрита живот болит. Сейчас у мальчика болит голова, а не живот. Значит, сейчас уже не гастрит. Значит, можно жареные пельмени.

— Она холодная. — Валя сморщился, отодвинул тарелку.

А как гастрит к нему забрался? Никитка говорит, что ночью с потолка падают пауки прямо в рот. Гастрит тоже упал?

Тогда Валя будет спать лицом в подушку. Засопел. Дышать трудно. Надо ртом спать в подушку, а носом набок.

— Валька! Ты кипяток!

Как это? Он же мальчик. Ходит в 23-й детский сад. Живет с папой и Никиткой. Еще есть два паука, один в кладовке, второй за плитой на кухне. А если он теперь кипяток? Он уже не станет пиратом?

Никита звонит с домашнего телефона, никто не отвечает.

— Батя не берет. Что от жара-то? Анальгин или аспирин? Подожди, Валька, я к тете Риме сгоняю.

Валя повернулся на бок. Слева что-то темное пробежало. Валя повернулся. Ничего. Это темное у него в уголке глаза прячется. Мальчик потер глаза. Лег.

А между матрасом и спинкой кровати — конфета. В золотом фантике. Про запас. Папа ругается. Говорит, тараканы. А какой пират без клада?

— Фу!



— Ничего не «фу». Тетя Рима сказала тебя уксусом растереть. Тетя Рима и чай с малиновым вареньем пить сказала. А первый — уксус.

— Никитка.

— А?

— Никит.

— Чего?

— А считаешь?

— Давай. «Остров сокровищ»?

— Нет. — Он теперь кипяток, а не пират. — Другое.

Никитка читал если не про пиратов, то про разбойников.

— «С одной стороны ту страну омывал океан».

— Тихий?

— Индийский. «С другой они граничили с королевством муравьев, каждый величиной с осла».

— А какого они цвета?

— Ну, фиолетовые.

Валя кивнул и закрыл глаза.

— «А с третьей стороны было королевство людей с песьими мордами».

— Такими? — Валя сложил ладошки.

— Какими? Нет, Валька, не плоскими, а песьими, собачьими.

Когда темно, уже не видно в краю глаза что-то темное, но Валя знает, оно там.

А папа так и не пришел. Хорошо, что они с братом вместе болеют. Одному страшно.

— Никитка.

— А?

— А что это? — Валя показал пальцем на глаз.

— Глаз.

— Нет. Внутри, в углу. Там кто-то живет.

— Правда?

Валя кивнул.

— Так это сон. Ждет, когда ты заснешь. Что на завтрак будем? Яйца сварим или хлеб с вареньем?

Валя знает, что в уголке сидит не сон. Сны были всегда. А этот, страшный, упал вместе с гастритом.

— Нет. Давай манку.

В начале было слово

Юра хотел собаку, но мама сказала, что будет сестренка.

Утром в сад просыпаться не хочется, зато в выходные Юра просыпается, когда еще темно.

— Юра. — Мама пальцами бежала по его плечу. — Поднимайся, малыш. Ой, это что за потягушки?

— Ммм...

Почему они живут в спальном районе, но никогда не высыпаются?

— Что это мы недовольные такие?

— Ммм... Ба-ку. Ав-ав.

— Мы не можем купить собаку, малыш.

— Ма-ма! У?

— Юр, я тебе уже говорила, у нашего папы аллергия на собак.

Юра нахмурился, отвернулся к стенке.

— У?

— Почему, почему? Потому что так Бог придумал.

А вот Алик говорит, что нет Бога. И у его папы нет на собак аллергии.

— Ммм!

Мама массировала Юре уши перед зеркалом. Потом кривлялась. «У», «а», «о», «и».

— Давай, малыш, язычок моет потолок. Теперь язычок моет пол. А теперь стенки.

Смешная мама.

— Э-э-э.

У перехода под облупленной стенкой сидела бабушка в телогрейке. Летом. Тело грей-ка! И под платком волосы прятала. Рядом стояла тарелочка с иконой, люди в нее деньги кидали. Дзыньк! Дзыньк! У бабушки на коленях лежал серый котенок. Пищал.

— Ой, Юра, смотри, какая прелесть!

Мама права, хорошая бабушка.

Они шли мимо школы к детскому саду. А где-то там, за домами, режут электрички. На работу опаздывают.

Мама сказала, что школьников так называют, потому что они в школу ходят. А если Юра ходит в садик, значит, он всадник.

Юра влюбился в Машу, когда она только пришла в садик и села с ним за один стол. Она ему все дала: и игрушки, и мармелад, все-все... Он дал ей из пистолета пострелять. Когда Юра утром идет в садик, всегда цветы ей рвет. С осокой. Маша ее больше всего любит. Скоро они поженятся и будут у его бабушки жить, на Гагарина. А когда Маша болеет, он влюбляется в Ксюшу.

Юру всегда забирают из сада последним. После него только за Валеи приходят, но Валя не в счет, у него семья порченная.

— Кого ты, Юра, рисуешь? — Людмила Васильевна отхлебнула из чашки кофе, а Юра — кефир.

— Ммм.

Он нарисовал семь солнц. У него хорошо их рисовать получается. Хотя папе больше нравится, когда Юра рисует рыбку.

Они с папой и мамой были в церкви. Там у дяди была борода длинная. Он Юре свечку дал и круглый детский хлебушек. Он сказал, что в начале было слово. И слово было у Бога. А у Юры нет слов. И собаки нет.

Когда Юра вырастет, он станет Богом. Людмила Васильевна говорит, что Бог един. Один. Но Юра все равно станет. И у папы не будет аллергии. И Юре купят собаку. И мама не будет плакать.



А Валя рисовал пиратов. Он рассказывал, как они с братом станут пиратами и уплывут на остров... как же там? Рождества. Глупый, что ли? Пиратов давно нет, ими нельзя стать. А Бог есть всегда. Ведь есть, правда?

За забором у соседа во дворе две огромные собаки живут. И домик маленький, будка. А у Юры большой дом, двухэтажный. И ни одной собаки. Карлсон говорил, что лучше восемь пирогов и одна свечка, а Юре не нужны ни пироги, ни свечки. Ни сестра.

У мамы живот тестом вздулся, туда ребенок забрался.

Он смотрел в окно. Небо было в красных растяжках, как мамин живот. Дождь идет. Если небо послушать, там тоже можно услышать сердечко?

А сколько нужно дождя, чтобы накапало целое море?

Сегодня тетенька назвала Юру... мама сказала, что это плохое слово, а плохие слова говорить нельзя. Потом мама заплакала.

Мама сидела на лавочке, а Юра лепил куличики. Вчера был дождь, и сегодня песок хорошо липнет. Это будет пирожок с мясом, а этот с картошкой... А вот для пирожка с капустой нужны листья.

Юра побежал к кустам, и мама закричала:

— Юра, не уходи далеко. Юра, ты слышишь? Я кому говорю!

Он сел на корточки у дуба. Наверное, желуди собирает. Не видно. Мама смотрела на него. А Юрина спина смотрела на маму. И дуб смотрел на маму.

— Юра.

Он не ответил. Только с корточек встал на колени.

Мама устала. Хотя... Мама была уставшей вчера, и позавчера, и давно. И мама боится, что Юрина сестренка тоже говорить не будет. Будет сестренка с за-дер-жкой-ре-чи.

— Юра!

Мама встала и подошла к нему.

— Встань с коленок, пожалуйста. Надо же было в самую грязь сесть. Теперь стирай не перестирай, да? Что там у тебя?

Юра прижимал к себе это. И это тоже теперь смотрело на маму. Конечно, ведь мама у Юры красивая. И это повело носом и начало шевелиться у Юры в руках.

— Быстро отпусти! Фу! Фу!

И это была собака.

— Ба-ка.

Мама схватила Юру за локоть и трянула, но Юра не отпустил. И маленький черный щенок заерзал, запищал.

— Юра, Юра, пусти! Он плешивый какой-нибудь! Пусти, кому говорят!

— Ма-ма, нет! Ми-и-и-ла-я, ма-ма, оставь ми-не ба-ку. Пожа-жа-ста. Мама!

И мама заплакала. И они взяли собаку.

Мамино заклинание

И каждая наглая летучая мышь, кыш!

Так говорит Никитка, а ему кто сказал? Брат говорит, что в России нет мышей-вампиров, а на чердаке? Валя не боится летучих мышей, он уже большой, а они на второй этаж не спускаются.

Скрипнуло. Папа вернулся. Мальчик зажмурился, перестал дышать. Бульк, бульк, бульк. Что-то наливает. Тихо. Никитка запретил говорить, что папа пьет. Почему? Все пьют. Даже растения воду пьют, даже их старый кактус. А папа что, хуже кактуса?

Завтра они поедут к бабушке. У нее лучший завтрак, овсянка в плоской тарелке и какао. А еще у бабушки в доме есть лифт. А летучие мыши? Они живут над лифтом? Никитка говорит, лифт поднимает трос на катушке. А Валя трос не видел. И Никитка не видел. Значит, что?

Не спится. Хлоп, хлоп, хлоп. Что? Мыши? А за стеной у тети Римы поют. Без слов. Валя такую песню у боженки слышал. Они с Никитой свечку поставили. За маму. А Валя голубям потом хлеба кинул.

Папа говорит, что на крыше живут голуби, они крыльями и хлопают. А Никитка говорит, что с их этажа никаких голубей не слышно. А про летучих мышей брат не сказал.

Тихо. Валя закрыл глаза.

А если так говорила мама? И каждая наглая летучая мышь, кыш!

Как спугнуть тигров

Ночью тигры не придут. «Хр-р-р, хр-р-р-р». Они боятся папиного храпа.

А монстра из-под кровати сегодня вымыл Никитка. Почему тогда Вале не спится?

— Никита, — тихо позвал мальчик.

Брат не ответил.

Когда под домом проезжает машина, по потолку проплывает окно. Трясется лысая рябина. На первом этаже живет лысая собака, она тоже трясется. Задрезбужало синее окно — проехала скорая. В их дом тоже приезжала скорая помощь. В соседний подъезд.

«Хр-р-р, хр-р-р-р».

Валя закрыл глаза. Надо скорее заснуть. Утром в сад. На завтрак обещали запеканку. А после садика они с Никиткой пойдут достраивать плот. Никита уже связал все бутылки, а к ним сверху привяжет доски. Говорит, воздух в пластике держать лучше будет. А как воздух может держать? С воздуха все падает. Бабушка бы сказала, что у него руки дырявые. У воздуха-то.

«Хр-р-р, хр-р-р-р».

Главное в плоту — это флаг. Никитка сказал, они возьмут папину черную футболку и нарисуют череп с костями, как у пиратов. Дед подарил им книгу. Там есть карта пиратских флагов. И у всех кости. Валя на своем хочет нарисовать кости динозавра, но у Никиты пока не спрашивал.





«Хр-р-р, хр-р-р-р».

А если на них выпрыгнет тигр? Никита сказал, они в крышках гвоздем сделают дырки, в бутылки нальют воды — вот и пистолеты. Должно помочь, тигры же — большие кошки.

«Хр-р-р, хр-р-р-р».

Хотя лучше взять с собой папу. Его храп даже Валю пугает, а ведь он уже большой. Но Никита не хочет. Никитка ничего не боится, ни храпа, ни тигров. Говорит: «С тобой, Валька, мне ничего не страшно».

«Хр-р-р, хр-р-р-р».

Хорошо ему, у него Валька есть. А у Вали Вальки нет.

Зачем воскрес Христос?

С завтра куличи превратятся в кексы.

Он открыл глаза и больше не мог заснуть. Никитка спал на соседней кровати, а его одеяло на полу. Поссорились, что ли?

Валя на цыпочках подошел к куличу. В нем свечка красная, а по тарелке вокруг яички хороводом легли. Они варили их в луковой шелухе с чаем, чтобы наливные были, красные. Папа на яичках белым нарисовал крестики. А они с Никиткой в наклейки яйца одели, на ложке опускали в кипящую воду, и яйца купались, одежка к ним прилипала.

Он с краешка кулича скovyрнул глазурь. Вкусная. Еще. С изюмом пазлик. И еще. Никитка говорит, глазурь на вкус как сахарный сахар. Но она на вкус как Пасха.

Папа обещал с ними в церковь сходить. Чтобы служить. А кому служить?

— Тять, а крест теперь пустой?

— А?

Яичница с шипучим маслом сползла со сковородки на тарелку. И папа посыпал сверху солью и посыпал укропом желтки. Если их ткнуть, то желтое стечет по тарелке. Нужно черным хлебушком подсобрать, вкусно.

— Христос же воскрес, ушел с креста. Он теперь в боженке пустой.

— В церкви. Никит, ну стынет же, иди! Это Христос давно воскрес, Валях. А крест, ну, это как памятник.

Валя знает: Христос ушел на остров Пасхи и там всегда воскресенье. И не надо в садик ходить. И никуда не надо.

— Валька, Христос воскрес, — Никита подставил небитое красное яйцо к Вале.

— Зачем? — Валя пожал плечами и потянулся за яйцом в зеленой наклейке.

— Не, брат, надо говорить «воистину воскрес». Ну-ка, Никит, Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Они стукнули яйца попками друг о друга. У Никитки разбилось, у папы нет.

— Теперь с тобой, Валюх, давай. Ну, — папа взял еще одно яйцо с тарелки, — Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — Валя с силой ударил яичко о яичко.

Он смотрел на яйцо, а яйцо смотрело на него. Вот если Валя разобьет яйцо, внутри будет только желток и белок. Можно есть так, а можно с солью, а можно и на бутерброд с маслом или майонезом. Но если цыпленок сам разобьет яйцо, скорлупу клюнет, то он будет жить. Разве это важно, с какой стороны бить?

Баба с дедом пришли. И баба принесла пирожки с капустой и свои куличи. Сверху пудрой посыпала, никакой глазури.

И они пили чай с куличом и конфетами. Валя сразу по две, завтра конфет уже не будет. И смотрели по телевизору сначала на батюшку, а потом дед включил старый фильм. Вале такие не нравятся, они на солнце выцвели.

— Никит, ну-ка метнись, позови тетю Риму. Пусть к нам приходит вечером, бабушка как раз мяса запечет с картошкой. В капустку лучку порубаем, с маслицем хорошо, с клюквой. Вам компоту нальем, ее винцом угостим. Или вон водочки...

Никитка губу поджал, нахмурился. Ему это слово не нравится. А Вале не нравится слово «овсянка», оно звучит невкусно.

Валя лежал на полу, рисовал яички в корзине и кулич. А еще самосвал, с ним красивее. Они вчера ходили в церковь освещать кулич с яйцами и пасочкой. Стояли в толпе, Валя к папиной ноге прижался, чтоб его с собой чужие не унесли. Мимо рядов проходил батюшка, а за ним другой батюшка, но без шапки. Второй батюшка со всех деньги собирал и еду. Никитка говорит, бесплатно ничего не бывает.

И первый батюшка с кисточки водой еду смачивал. Чтоб не сухомятку ели. И Валю облил щедро. А зачем? Они же с утра умывались.

Баба взяла гитару, и тетя Рима ей тихохонько подпевала, дед с папой курили на кухне, и дым паутинкой летел в комнату. А Валя с Никиткой лежали на полу. Если это и есть Пасха, то Валя хочет к ней в гости на остров.

У страха глаза велики

Шепчет: дикая рысь, брысь! Услышит, у них слух хороший.

Они фильм смотрели, там рысь из-под кровати выпрыгнула, дядю съела. Вале рысь не страшна. Под кроватью места нет.

Тетя Рима кошек кормит. Они не бегут, подплывают, трутся о ноги. Одна черная, вторая пятнистая — рысь. Откуда взялась?

Никитка говорит, рыси живут на Камчатке. А еще, что его на Камчатку пересадила учительница. Это что же, он с рысью учится?

Кошечки худые, маленькие. Ну ничего. Будут хорошо есть, котами станут. Одна по бордюру пошла. Мягко перебирала лапами. Взлетела на подоконник. Сквозь решетку прыгнула на форточку. Бедная кошка, думает, что в цирке, а она во дворе.

Сегодня садика нет. Вы-ход-ной. И у кошек выходной. И у папы.



Кошка поймала воробья. Она его так и эдак, когтями и зубами. Игралась. Мучила. Потом прижала к себе воробышка лапкой мягкой, когти спрятала. Вылизывает.

— Тетя Рим, а ты чего боишься?

— Мне, милоч, уже поздно бояться.

— А ты, Никит?

— Я? Ничего... Нет. Ничего.

Никитка с тетей Римой смелые, взрослые.

А Валя расти не хочет, он высоты боится.

Жизнь кактуса

На подоконнике жил кактус. От большой головы к гномам-приросткам тянулась шалью паутина. Только паука не видно. Про кактус все время забывают, что надо бы полить, что он на балконе, что он есть. А он все живет и живет. Как так? Просто хочется.

Однажды они убегут на остров Пасхи

Однажды они бросят все и убегут на остров Пасхи. Но не сегодня. Завтра Никитке в школу идти.

— Пошли проверим плот?

Тетя Рима под окном посадила пионы. Никитка говорит, что растения дают кислород, которым мы дышим. Может, тогда это они нас растят? Недавно ребята нашли в лесу мертвую белку. Никита говорит, что ее потом земля съест. Перегной. Растения выращивают нас, чтобы съесть?

А маму они не съедят. Маму спрятали в гроб, чтобы она не стала перегноем.

Конфета. Валя так расстроился, что уронил ее вчера. Тетя Рима угостила. «Золотые купола». Никитка за руку дернул: «Больной, что ли, с земли есть?», а дома — правило трех секунд.

Валя подошел к конфете ближе. Вокруг нее — мелкие камешки, все серые, а еще зеленый, но это стекло. По конфете ползали муравьи. Тащи-ли к ней что-то.

— Ого. — Никита сел рядом. — Твоя конфета, глядишь, у них храмом станет.

— Храмом?

— Ага! Будут молиться шоколадному богу на шоколадный урожай.

Зачем молиться конфете?

Мимо лопухов и сорняков, мимо клевера и подорожника, вдоль местами сохшей травы протекала ромашковая река.

— Никитка, а сколько еще бутылок нужно?

— А я вот думаю, делать нам в два слоя воздушную подушку или в один... Знаешь, мы выйдем в Индийский океан. Нам учительница сказала, что во всем мире Тихий океан называют буйным, океаном Смерти. Батя мне голову оторвет, если я с тобой туда сунусь. Но нам, главное,

обойти Пакистан. Там, Валька, железная могила — кладбище кораблей. Некоторые почти нетронутые. А какие-то — скелеты, точно говорю. И работают там дети. А мы, Валька, кто?

— Братья?

— Дети. Наш плот тоже разберут на запчасти. Может, нас заставят разбирать. Но я бы им! Ух! Не, Валька, только не через кладбище. Уж лучше в Атлантическом замерзнуть, да?

Валя пожал плечами. Лучше надеть теплую куртку и не замерзать.

Позавчера ураган был, такой сильный, что они даже гулять не пошли. Деревья упали, корни видны, страшные. Еще столб упал и провода порвались. Никитка говорит: новые вешать будут. Когда снимают старые провода, куда их девают? У них есть свое место? Свое кладбище. Они, видать, громко плачут. Все еще ловят детский смех, взрослые споры. Куда уходят провода, когда стареют?

Плот на месте. Никитка школу прогулял, когда узнал, что ураган будет. Говорит, надо было с якоря снять, спрятать.

На парковке всегда есть забытые тележки. Одна тележка — десять рублей, две — двадцать, три — тридцать, а четыре?.. Никитка считает красные машины, Валя синие. В прошлый раз он считал желтые, а их всегда мало, проиграл.

Семьдесят рублей — это семь тележек. Восьмая не отдала монетку, жадина. Никитка купил им мороженое. Себе шоколадное, а Вале новое, с шипучкой. У него мороженое липкой жижей до локтя стекает, а Никита умный, он быстро ест.

Учительница говорит, Никитка слишком умный, его сразу в шестой класс переведут. А как это — слишком?

Баба сказала, что они с дедом их к себе жить возьмут. Баба сама будет Валю и в сад водить, и из сада. И в школу его отдаст. Подготовительную. Он подготовится и тоже сразу в шестой класс пойдет.

Баба обещает забирать Валю пораньше. Вот Тоню и Аню с Тёмой забирают еще в обед. К супу горбушки дают, все хватают, а Валя не ест их. Как они хлеб из одних горбушек делают? Он мякиш в суп бросает, вылавливает дрыгалки, и Людмила Васильевна ругает. Ешь, говорит, все.

Егор сказал, что хочет стать врачом. И Даша с Вовой хотят. А Валя хочет убежать на остров Пасхи. Он кто? Пасхарь?

Папа забирает Валю последним. Уже после ужина, после прогулки. Когда Валя да Людмила Васильевна. Когда она уже рассказала про своих внуков, когда ворона вернулась в гнездо, когда все червяки свернулись колечками, только тогда приходит папа. А баба нет. Баба обещала.

Баба на ночь целует. От нее всегда пахнет горячим молоком. Она дышит тяжело, вся любовь уходит в макушку. А папа снова ушел.

— «Вот все, что дошло до нас о путешествиях Синдбада-морехода».

— А остальное устало?

— Что? Да нет, Валька. Это те истории, которые в книжке написали.

— А в другой книжке?

— Нет другой.



Никита закрыл «Синдбада», комната стала скучной. Сказал, что возьмет в библиотеке «Ходжу»... Как там? «Ходжу на середине». А кому нужна середина, если все интересное в конце?

Валя посмотрел в окно, на луне приземлилась муха. Никитка говорит, человек там приземлился давно. Тогда еще папы не было. А из мух Валина первая.

Он поймает муху в спичечный коробок и возьмет с собой на остров Пасхи. Но не завтра. Никитке в школу еще десять дней ходить.

Когда папа был маленьким

Папа говорит: «Когда я был маленьким». А когда это? Сколько Валя знает папу, он всегда был большим.

— А это кто?

На черно-белой фотографии мальчик. Недовольный. Щурится. Видать, солнце печет.

— Валюх, это ж я. Я тут примерно как Никитка.

— А Никитка где?

— Ну не было тогда еще Никитки, я же маленький был.

Нет. Никитка был всегда. Это папа чего-то не понимает.

— Это я?

— Э, брат, это мамулька твоя. Царствие ей небесное. — Папа перекрестился, Валя следом. — Ты, брат, правой крестись. Вот так. Да.

Валя еле поспевал за папой в магазин, зато обратно они уже никуда не торопились. Бутылки в пакете, как Федорина посуда, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля.

— Тять, мяука! — Валя показал пальцем на облако.

— Кто? Брат, ты уже здоровенный, говори по-человечески — кошка. И пальцем не тычь, неприлично. Эх, не те уже облака, Валька.

Обгорелые облака плыли в сторону леса. Глупые облака. Валя раз тоже обгорел. Потом тетя Рима его сметаной всего вымазала, чтоб не жглось. Но Валя маленький, а облака большие. На них сметаны не напасешься.

— А куда делись те?

— Хочешь, бутылку глазом открою? — Валя кивнул. — Оп! Те облака уплыли. Я когда мелкий-то был, июньские облака были лучшими. Всегда кучевые. И как ни глянь, там и черепаха, и слон, и бульдозер, и все на свете. А сейчас?

Никитка говорит, на небесах теперь живет мама. Та мама, которая так похожа на Валю. Может, маме не нравятся на небесах бульдозеры? Они шумят, а мамочка там отдыхает.

— Тять.

— Ай?

— А на небушке есть телефон?

— Не, брат, еще не провели провод.

Когда Валя вырастет, он обязательно проведет на небеса провод. У них в кладовке как раз есть старый, обрезанный. А еще есть садовый шланг. Шланг даже лучше. Он толще.

А вон там облачные горы. Выше магазина, выше фонарного столба. Никитка говорил, что самая высокая гора...

— Тять, а какая там гора самая высокая?

— Эверест.

— Нет. Никитка смешное слово сказал.

— Смешное? Смешное... Точно! Как там ее? Так, — папа выпил из бутылки и зажмурился, — Джо-мо-лунг-ма!

Никитка говорит, что самая высокая гора Джо-мо-лунг-ма. Хотя Никитка как-то по-другому говорил. Если бы они не бежали на остров Пасхи, обязательно бы полезли в горы.

А куда хотел бежать папа, когда был маленьким?

Дом напротив весь в трещинах. Их замазывают белой краской, но появляются новые. Валя боится подходить к дому. Он немного набок. Падает. Пизанская башня падает восемь веков, Никитка говорит, она устала. Восемь, а папе целых тридцать девять лет. Как же сильно он успел устать!

Валя забрался с головой под одеяло. Тяжело дышать. Высунул в щель нос.

Когда папа был маленьким... А когда это было? И почему папа вырос, а Валя до сих пор нет?

Азбука Морзе от дождя.

Когда кончается дождь, небо молчит

Точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка...

Эля. Эля. Ку-ку.

Она смотрела на молнию как на старую подругу. Сестры даже во сне жмутся под одеялом, а она не такая. Не как девчонка.

— Слышал про шаровую молнию?

— А то! Дед ее видел в деревне. Говорит, шар, как белое яблоко, и по воздуху летит.

— А ты бы убежал, если бы увидел ее?

— А куда бежать-то? Она ж быстрее нас.

Эля улыбнулась. Никита один понимал.

— Смотри, — она протянула ему бутылку от лимонада, — тебя отправляют на необитаемый остров. Можно взять только одну книгу. Какую?

— «Остров сокровищ» я знаю наизусть, и «Робинзона Крузо». Мы с Валькой каждый день читаем. Может, книгу юного сурка? Бабушка подарила. Там и про шалаш, и про костры, и про шапку из листьев. А ты?

— Мы в воскресенье читали про Ноя, он один построил ковчег на всех животных. Может, там еще что написано?

Они собрали пластмассовые бутылки по пакетам и пошли вниз, к Клязьме.

— А если...

— Ты под ноги смотри!

Они вымыли бутылки, к каждой подобрали пробку. Сели. Связывают.

— Сегодня опять дождь.

— С грозой?

Эля кивнула.

— Валька боится. Плачет. Маленький.

— Папа говорит, дождь с нами разговаривает. Вернее, дождем говорит бабушка. Вчера ночью три раза меня позвала: Эля, Эля. — Она пристукивала по бутылке пальцем.

— Морзе?

— Ага. Папа научил. Говорит, летом поедем на маяк. Он будет мне с лодки сигналить, а я ему с базы.

Тучи съели все звезды. А небо не черное. Серо-желтое. От фонарей? Или звезды изнутри облачного брюха светят?

Никита в тетради точек наставил с палками. Посмотрел в словарь, получилось: «Рхчмшпссаажсс...»

— Ничего не понимаю. — Никита светил фонариком на книжку. — Слышишь? Раз. Раз, раз, раз. Это что? «Б»? Бесмыслица.

— Никитка! — Валя провел пальцем по книжке.

— Что?

— Это так мама говорит? С облаков.

— Нет, Валька, наша мама такого не скажет.

— А сейчас не разберешь. Ливень. Небо кричит. — Эля повертела игрушечный компас в руке. — Ночью слушать надо.

Точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка. Точка, тире, точка, точка. Точка, тире, точка, тире.

Не услышат мальчики свою маму, сегодня с Элей разговаривает бабушка.

После смерти я стану восьминогом

Теть-Римин халат устал, на нем попугаи запутались в выбившихся нитках. В подмышке дырка: птица спорхнула на окно, выпуталась. Теперь у слепой девочки есть зеленый попугай.

Ей злая фея в детстве выколола глазки, чтобы она не нашла клубничное варенье. Так тетя Рима сказала. А еще она сказала, что добрых фей не бывает.

Халат висит на гвозде в ванной, по плечам скучает.

Теть-Риминого мужа такая же фея укусила. Но не за глазки. Как там ее звать?.. Краб? Кальмар?

Никитка говорит, индусы верят, что родятся еще раз. И еще. А еще у них точки на лбу и много-много перца. Может, теть-Римин муж индус?

Валя нарисовал точку на лбу. Зеленкой.

В следующей жизни он станет осьминогом. Он будет жить в океане, в красных кораллах.

А папа с Никиткой? Кем они будут? Или Валя родится в чужой семье чужих осьминогов? Тогда лучше не рождаться совсем.

Никитке нравится слепая девочка. Он с ней рядом дышать не боится.

Ми-ро-сла-ва.

Выговорил.

У нее книжки не нашенские, в точках. Она читает на лавочке. Не читает, пальцами книгу гладит. Никитка в прятки играть не стал, читал рядом с ней «Путешествие...». Как же там? «Путешествие на... “Тик-Так”»! Там тоже на плоту плыли. Вокруг света. Никитка сейчас все узнает, и потом им не страшно будет до Пасхи идти.

— Валька, поди сюда. Это брат мой.

Ми-ро-сла-ва улыбнулась.

До лица дотронулась. Вздрогнул. Убежал.

— Она меня заразить хотела!

— Дурак ты.

— Я? — расплакался. — Уйду от тебя.

Домой.

Закрылся в кладовке.

Никитка не ищет. Почему?

Валя раньше по лужам бегал. А Никитка сказал, что там живут раки и хватают людей за пятки. Кого поймают — утащат под воду. Рак! Вот тетя-Риминого мужа рак за пятку утащил.

По полу пробежала белая многоножка. Валя ногу поджал, потом вторую, на пылесос забрался. Ее под шкаф покышать надо: «кыш, кыш»! Убежала.

Один попугай с тетя-Риминого халата сбежал наклейкой к ним на дверь. Теперь Валя в Бразилии.

— Никитка!

Вот уйдет. Уйдет один. И Никитка плакать будет, и папа с тетей Римой, и попугаи, и все-все. И Никитка забудет о своей слепой девочке. Будет говорить, как же он теперь без Вальки-то?..

Сам дурак.

На пол упала побелка, потолок покорябал кто-то когтистый. Надо зеленкой намазать, заживет быстрее. Посмотрел на бледно-зеленый палец. Царапину не видно. До свадьбы зажило.

А куда от них уйти? На улице лужи. В лужах раки. Они утащат к себе, и Валя станет не осьминогом, а раком. Или не станет, он же не индус.

Открыл дверь.

— Никитка?..

Не ищет.

Одуванчиковое молоко

На улице есть всё. Под горкой можно сидеть и как в машине, и как в доме, и как в ракете. Черноплодная рябина, которую есть можно, и волчья ягода, которую есть нельзя. А как проверить? Посчитались. Проигравший пробует. Одуванчик сорви — потечет белое молоко. Горькое. И чистотелом любую боляку замазать можно. Только не по одежде, а то мама ругаться будет. Ссохшиеся листья нужно хорошо растереть — и по пробочкам, как в чашки. Водой залил — чай. Но воду тоже на улице надо искать, а то домой попить придешь, загонят еще. А если пошел дождь... Особенно грибной. И можно бегать и кружиться, потом быстро, как гриб, вырастешь. Но в семь обязательно чья-то баба крикнет: «Домой! Домо-о-ой!» А зачем домой? На улице все есть.

Лето без летнушек

Солнце светило, а что еще ему оставалось?

— Давай, не бойся.

Они пробирались по толстой воде. Ноги скользили. Там грязь и тряси́на, потом ногти будут грязными. На ногах ногти. А на руках рукти? Вода била в подмышки. Никитке только в пупок заливалась. А если он пупком рыбу поймает? На том берегу люди были, чужие, рыбачили. Вся рыба у них.

Никита нырнул, и вода проглотила его.

— Никитка? — Валя сделал шаг к берегу.

Вынырнул.

— Смотри! А? Золото. — Он протянул брату золотую пробку от бутылки.

Снова нырнул. А Валя отошел по коленки, поскользнулся. Здесь тоже сокровища есть. Этот камень похож на тарелку, а этот — на блин.

Никитка еще глубже зашел. Страшно. Валю ветер на берег сдул. Лопатку не взяли. Это ничего. Вот, в бутылку можно воду налить. Раскопать руками бассейн. И залить его.

Он поднялся к траве за бутылкой. Тут и палочки от мороженого, и шелуха от семечек, и абрикосовые косточки. Получше речных находок. Надо, как землянику, искать. Никитка говорит, что она вся под листками прячется. Опустил руку в траву, расчесал — ракушки. Валя посмотрел: миллион, не меньше.

— Никитка! Ни-ки-та!

— А? Что случилось?

— Пошли, покажу, где ракушки растут.

Валя знает, ракушки растут из земли, а слизняки потом приходят и забирают себе раковину. Не могут же они с ней родиться. А на острове Пасхи растут черепашьи панцири.

Летом у реки ветер сладкий

Дед сказал, что возьмет их с собой в Углич на рыбалку. Никитка говорит, что там есть паром и ватрушки с черникой.

Валя сам сделал удочку, привязал к палке шнурок с папиного ботинка. Папа сейчас в других ходит, на липучке, а шнурок мальчик осенью вернет.

Ночью Вале снилась мама. Та мама, которую он не помнит. Она смеялась, и Валя смеялся с ней вместе. Мама обняла Валу.

Тетя Рима говорит: дурной сон. Если мертвый с лицом снится, смотреть нельзя, а не то с собой заберет. Валя смотрел, а мама не забрала.

Если пройти вдоль дома, увидишь на асфальте котов, цветы, дом, сердечки, птиц, котов, дом, птиц, котов, рыб, звезды, котов. А Валя нарисовал маму. Высокую, с длинными руками, ими обнимать удобнее. И лег у мамы под сердцем. Сердце тут со вчера нарисовано. А мама выросла вокруг него.

Никитка рогатку сделал, они камнями по реке стреляли. А Клязьма — это имя? Значит, реке больно?

Они лежали на траве, и она щекотала Вале спину. А еще...

— Никитка, а как называются коленки сзади?

— Не знаю.

— Ну Никита!

— Ну... — Он закрыл глаза. — Заколенники.

А еще трава щекотала заколенники.

Валя смотрел на голубое небо. Ясное. Выспалось.

— Валух, а если б ты мог стать кем угодно, кем бы стал?

— А как это, кем угодно?

— Все, когда вырастают, кем-то становятся.

— А сейчас я никто-то?

— Ты Валька. Куда лучше? — Никитка сорвал травинку. — Петух или курица?

— Петух!

Никита собрал пальцами зернышки кверху: курица.

Они шли босиком по тропинке вверх, где живет город. Собирали землянику. Валя сразу ел, а Никитка нанизывал на соломинку — делал «свинки». Валя наступил на косточку нектарина:

— Ой, Никитка! Эта косточка меня лизнула.

Весной у мальчиков появились веснушки. Никитка говорит, лето скоро кончится, а летнушки так и не появились.

Чайкино озеро

После смерти душа матроса становится чайкой.

— И я стану чайкой? — спросила Эля.

— Нет. Будешь хорошей девочкой и отправишься в рай, — отвечал ей папа.





— Но ты же матрос, значит, ты станешь чайкой?

— Да. И вернусь к океану.

— Но если ты чайка, то и я чайка. Я же твоя дочка.

— Верно. Эх, дадут мне отпуск, и поедem к океану. На маяк...

Отец еще долго рассказывал про отпуск и морфлот, но она не слушала. Эля думала о том, что станет чайкой.

Она представляла, как станет птицей, мечтательно раскидывала руки и порхала по квартире. С дивана на кресло, с кресла на кушетку.

А на улице залезет на дерево как можно выше, зацепится за ветку ногами, голова вниз, и смеется громко-громко. Дескать, она вверх тор-машками парит.

Но больше всего она любила ездить на велосипеде до озера. Мама, конечно, ничего не знала.

— Я к Никите в гости.

— А дяде Вадиму не мешаете? А малышу? Он спит, поди, после обеда.

На дороге в длину дома лег ее мелковий маяк. У третьего подъезда в волнах плавали рыбы, бегали крабы, у первого — парили чайки.

— Не дрейфь, ничего не случится.

— Ну я не знаю.

— Накажут разок. И что? Боишься день во двор не выйти или мультики не посмотреть?

— Какие мультики? У меня Валька.

— Бери с собой. На багажнике поедет.

— Ему спать надо, Эля. Маленький. Не понимаешь, что ли?

— Это ты не понимаешь. Ничего.

Она подняла с земли старый синий велосипед, педалью болячку задела на лодыжке.

Дождь смыл Элин маяк. Новый она не рисовала.

— Никитка!

— А?

— Никит, а Эля где?

— Не знаю.

Мальчики сидели на кушетке. Читали. Если бы у пиратов был маяк, пиратская гавань, то их бы всех уже давно переловили. Эля со своим маяком ничего не понимает.

— Так! — В комнату зашел папа, икнул. — По домам. — Он махнул рукой, присмотрелся. — Э... Нет тут? Элины? — Никита покачал головой. — Лиза! — крикнул папа. — Нет тут твоей.

— Валь, — шепнул Никита. — Посидишь с батей?

А небо сегодня голубое. Выспалось. Вчера на нем лица не было, плакало. В лесу распевали птицы. Где-то барабанил дятел, трещали старые со-сны. Никита взял у Паши велосипед. Эле только не скажет, что своего нет.

На большом мосту над большой водой стояла маленькая Эля, а вокруг нее кружили чайки. И она подбрасывала в воздух хлеб, кричала, как птицы. Обернулась. Улыбнулась. И вдруг выросла.

— Эля! — Никита бросил велосипед, побежал к ней.

— Тише. Не пугай.

Она кинула чайкам оставшийся хлеб и села на траву.

— Эль, тебя мама ищет. К нам приходила.

— Да ну? А что твой папа?

— А что он? Батя еле говорит.

— А ты?

— А я, — он посмотрел на траву, — за тобой поехал.

На следующий день Эля не вышла гулять, не пришла в гости, не спу-
скалась к реке строить плот. И на следующий. И у Чайкиного разлива ее
не было. Может, она стала птицей?

— Четыре ребенка, как она теперь с ними одна?

В подъезде тетя Рима и тетя Таня шептались у цветов на подокон-
нике.

— Неожиданно. Надо бы... Помочь. Катериныны вещи собрать бы.

— Я тоже об этом подумала. Младшенькой их Катюшины старые
вещи как раз будут. Да и моей Маши вещи сгодятся.

Паша уехал к бабушке. С велосипедом. Никита побежал. В горле
пересохло. Резало. В глазах помутнело. Но это не слезы. Нет.

Чайки летали низко-низко. И ни одна из них не кричала. Эля сидела,
обняв колени. В черном платье. Со строгой косой.

Он подошел и тихонько сел рядом. Она смотрела на воду. На про-
плывавший мимо бычок.

— Эль?

Она не повернулась.

— Он обещал свозить меня на океан. Сказал, что ему дадут отпуск
и мы поедem. Обещал, что мне там понравится.

— Эля...

— Мы похоронили его. Только.

— Я не... — Он вздохнул.

— Не знал? Я тоже не знала. Ничего не знала. А теперь его нет. —
Она стянула с себя туфлю и кинула в озеро. — И океана нет. — Она ки-
нула вторую туфлю. — Молчишь?

Она смотрела на Никиту, плакала. Они сидели рядом. Молча. Он
хотел сказать, что ему жаль. Что у него тоже умерла мама. Когда-то. Что
у Эли все будет хорошо. Потом.

Эля поднялась, взяла велосипед, надавила на педаль. Уехала. А Ни-
кита стоял и думал: неужели ей не больно на педали босиком нажи-
мать?

Они с Валею приходили на Чайкин разлив на следующий день, и
через день, и всю неделю, но Эли там не было.

Потом Никита узнал, что она переехала в деревню. Но все равно
каждый день приходил к разливу. Чайки больше не кружили над мостом.
И разлив перестал быть Чайкиным.



Засоленное лето

Лето пахло солью. Баба закатывала банки с овощами. Перцы, огурцы, помидоры.

— Завтра схожу куплю абрикосов, клубнички, яблочков, варенье варить будем.

— Баб, а съедим его когда?

— Зимой, Валюш. Снег выпадет, а нам с тобой как хорошо с вареньем будет!

— Лучше сейчас съедим, я варенье со снегом не хочу.

Жужжало.

— Муха села на варенье, вот и все стихотворенье!

Валя зачерпнул ложкой муху, положил на стол. Она хотела танцевать по семечкам. Но лапки прилипли. Намертво.

— Ба, смотри какая!

— Валюш, я очки потеряла, не разгляжу.

— На тебе лупу, так муха даже боятельнее.

А Валя бы спрятал в банку улыбку. Зимой они нужнее.

Они сели пить чай. Валя опустил палец в кружку. Ай! Горячий.

У бабы в углу иконы стоят на салфетке. Они смотрят всегда, следят. И грустно так смотрят, и страшно.

Боженька, наверное, сильно маму любит, раз к себе забрал.

— А боженька всех любит?

— Всех.

Баба кипятила молоко в железной кружке, говорит, из микроволновки еда вредная.

— И комаров?

— И комаров.

— Они же злые.

— Бог любит все живое.

Валя ложкой разогнал по краям кашу.

— И убийц?

Промолчала.

— И маму? — Бабушка кивнула. — А как это, он и хорошую маму любит, и убийц?

Не сказала. Налила Вале молоко, ложкой подцепила пенку.

Сны приносит фея. Сыплет на веки песок. Глаза закрываются. Она достает из своего мешочка сон и дарит его человеку. А куда деваются старые сны?

Бабушка легла рядом, ее духи щекотали кожу, а слова пахли лимоном.

— Баба!

— Ау?

— Ба, а ты кем станешь, когда вырастешь?

— Валюш, дак я уже выросла.

— Ты выросла бабой? — Кивнула. — А я не хочу бабой расти. Я хочу... ты знаешь чего?

— Чего ж? — Обожгла рукой ему щеку.

— Ба, у тебя температура?

— Нет. Просто сильно тебя люблю.

Он провел рукой по ее щеке, слеза покатилась. Баба всегда плачет.

— Я буду собирать старые сны, и они не станут кошмарами.

Папа тоже плачет. Ночью.

Вот Никитка где-то читал, что слезы горькие, а они оказались соленые. Даже сладким летом.

Спальный город

Ночью даже собаки не лают. Прячутся. Спят. Скоро можно будет котов по люкам считать, греться будут. Из панельного дома теплым светом смотрят редкие окна. И почти не ездят машины. Ти-ши-на.

На сколько умирают люди

Кто-то хоронит людей, не зная, что те — семечки. Приснилось. Валя повернулся на бок. Она лежала на диване лицом вниз. А на ней халат, сбоку заплатка. Он крикнул: «Баба!» Никто не услышал? Или звук выключили?

Валя смотрел на почерневшее тертое яблоко. Изюм размяк. Набух. Он теперь виноград? А Никитка не ел. Смотрел в окно, наверное, увидел птицу. Брат говорит, изюм никогда не станет виноградом. Баба изюм?

— Деда, а вы где с бабой познакомились?

— А в кустах!

Валя тоже искал себе в кустах девочку. Чтобы добрая была. Чтобы плетенки с орехом пекла и чтобы кашу давала в плоской тарелке, так вкуснее. А потом Никита сказал, что дед работал в ресторане «Сирень». Значит, в кустах нет невест? А Тёма с Аней целовались в садике в шиповнике.

— А сердце остановилось — это как?

— Вот ты шел, шел и остановился. Вот и сердце билось, стучало, а потом остановилось.

А что сердце стучало? Выйти хотело?

Папа опустил пакетик «Майского чая» в кипяток. Вверх по воде поднялись черные волоски. Закружились. И осели. И Валя кружится. Если бегать по комнате в одну сторону, а потом в другую, если попрыгать на месте, а потом покружиться и лечь на пол, то в голове запрыгает кенгуру. Никитка говорит, его зовут пульс, но разве это австралийское имя?

— А умерла — это как?

— Значит, нет ее больше. Уснула и не проснулась.

А если Валя не проснется, он пропустит садик? И шкафчик его отдадут? И кровать?

— А на сколько баба умерла?

— Ты чего, брат? Умерла — это навсегда.

Не закрывать глаза. Мальчик сжался под одеялом, уставился в стенку. А глаза все равно закрываются. Это фея приходит, сыплет песок на веки. Не засыпать. Хлопнула дверь. Папа ушел. Куда? Валя закрыл глаз. Только один, никто не узнает. Не засыпа...

Сначала нужно поджечь фитилек, а потом низ свечки. Какая-то бабушка старые свечки потушила, убрала. Зачем? Красиво было.

Все пришли в черном. Тетя Рима черное надевает, чтобы казаться худее. А Вале зачем быть худее?

Дед рассердился. Чего, говорит, малых приволок? А папа — нет, говорит, проститься надо.

— Как живая, правда?

Какая же она живая? Никитка говорит, когда мама умерла, ее душа улетела на небеса. Вот и тут нет больше бабушки. Только домик. Но Вале снизу не видно.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего...

Страшное батюшка говорит. Непонятное. Плачут все.

Цветы нужно положить. Красные. А баба белые любила.

— Давай, брат, подсажу.

Папа поднял Валу на руки. Белая. И не бабушкино это лицо. А на голове ленточка с образами.

— Поцеловать надо.

Аня с Тёмой первый раз в кустах целовались. А Валя что? Вот так? Он наклонился. Прижался губами ко лбу. Замер. Холодно.

И она приходит

Ночью бабуле стало плохо. Умид стояла у ее кровати на коленях и что-то шептала. Колдовство, наверное.

Больше бабуля не могла двигаться.

— Мида!

— Не отвлекай ее, она с бабулей сидит.

Мама сидела за ноутбуком, а лицо в сметане и огурцы на щеках. В салат превращается.

— Мама, я кушать хочу.

— Сейчас, Алеша, я закончу печатать, и поедим.

— Мам, я кушать хочу.

— Алеш, я только-только сказала, что занята. Русским человеческим языком.

— Мам.

— Иди сам возьми в холодильнике что-нибудь. Дай поработать.

Он варил в кастрюле сосиски. Кастрюля варила. А он на табуретке стоял. Смотрел. Сосиски набухали, и кожа лопалась, пускала малюсенькие пузырьки. На стену над плитой села бабочка, не капустница и даже не павлиний глаз. Голубая. Он потянулся за ней, почти достал кончиком пальца. Соскользнул. Упал на пол, зацепив рукой кастрюлю. Но не за-

плакал. Правый рукав затрепал, огонь пополз по рукаву вверх до самого лица и волос. Тогда он заплакал и закричал: «Мама!» И прибежала Умид. И улетела бабочка.

Мида завернула его в одеяло, как сосиску в тесто. Огонь потух. Наверное, поэтому сосиски в тесте не подгорают, огонь одеяла боится.

В больнице с него ножницами срезали футболку. А потом с ляжки кожу срезали, чтоб на руку и грудь приклеить. На клей «момент», наверное. Он лучше карандаша клеит. А потом его замотали повязками.

— Мам, а где Мида? Я теперь мумия. Где Мида?

— Умид дома с бабулей сидит.

Мама ругалась с врачами и повторяла: «Я хорошая мать». Алеша не знал, какая она мать. Мама она хорошая, а вот мать...

На шее повязки не было, и он сдирал оттуда болячки. Врач сказал, что так нельзя, но интересно же, какую большую он может сковырнуть болячку.

Из больницы его забрал папа на машине. Большая, красная, она блестела на солнце, как чупа-чупс.

Мама переключала радио, ей не нравятся русские песни, она говорила, что лучшая музыка — это блюз. На новости попала.

— Оставь.

Папа любит новости. И она оставила.

— Мида, я дома!

Он, не снимая ботинок, пробежал в гостиную.

— Стой, паразит! Куда по ковру?

— Мида! Буля!

Дверь бабулиной комнаты открылась, оттуда вышла чужая тетя. Алеша отошел назад.

— А кто это у нас тут?

— Никто. — Он нахмурился.

— Пойдем-ка ботиночки снимем и помоем ручки.

— У. — Он отвернулся к стене.

— Алеша, пойдем ручки мыть. — Мама погладила его по голове. —

Раиса Агафоновна, только не мочите повязку.

— Ну конечно, конечно, не переживайте, мы все сделаем, как взрослые мальчишки, правда?

— У. — Он сжал в кулачках мамину юбку.

— Алеша, ну помнешь ведь.

Мама с папой уехали. А Раиса Агафоновна сварила невкусный суп с большими лепестками лука. Алеша сморщился и отодвинул тарелку, но Раиса Агафоновна подседа ближе, начала кормить его с ложки. Он зажимал губы, и суп тек по подбородку. Болячку щиплет. Открыл рот.

Вечером пришла Кира, поставила в углу скрипку. Одна пришла.

— Кир, а где Мида?

— Нигде. — Она всхлинула.

— Кира, мой руки, садись, ужинать будешь.

Она пошла в ванную, пар из воды выпустила.



— Кир, а где Мида?

— Нигде.

Она вылила банку жидкого мыла в раковину, смотрела на пузыри. Но пузыри мелкие были, не раздувались.

— А это как?

Кира закрыла воду.

— Ее мама уволила.

В занавесках запуталось солнце. Один луч пополз по полу все дальше и вбок. И кошка за ним. Но лапы — не занавески, как ни старалась, поймать не смогла.

Когда баба растворилась

Баба растворилась, как таблетка в воде. А горькота во рту осталась.

Часы не бегут, шаркают, цыкают. Цык. Цык. Цык. Не уснуть. Цык. Цык.

Ушел. Папа не вернулся ночью, не вернулся утром. И потом. А Валя лежит, слушает. Вот сейчас зазвенит бутылками. Сморгнется. Сейчас.

Свис-с-с...

Ветер свистит. Так бывает, когда толстый ветер между домов пролететь хочет, он живот втягивает и свис-с-стит. Так Никитка говорит.

Валя прятался в шкафу, на него сверху смотрели рукава бабиных кофт. Строго так. Не балуйся, Валюшка, не шали. И бабина черная шуба щекотала щеки. Пахла вкусно, холодной конфетой.

Дед вещи привез, чтобы папа во дворе раздал, а папа в шкафу развесил.

Папа всегда отрывает кончик сигареты. Дым из нее выходит, но никогда не возвращается. А что, если теперь папа — дым?

На подоконнике спички с сигаретами ждут, пока папа посмотрит новости. Они, должно быть, обиделись, что папы давно нет. Валя достал сигарету, развернул ее, посыпалось...

Они ходили по рынку и просили верхние листки капусты на корм для кролика. Никитка потом капусту эту тушил. Это что, получается, они врал или это Валя кролик?

Никитка говорит, денег нет.

Они прошли мимо тонущих в аквариуме рыб, и каждая подмигнула Вале. Вышли к мясному отделу. И свиная голова не подмигнула. Замерла. Замертво. Там тетя Наташа топором рубит. Не дерево. Кричит, что лучше взять язык вместо колбасы. Это она просто колбасу не пробовала.

Мальчик увидел на дереве птицу. Птица показалась ему знакомой. Он крикнул по-птичь. Птица улетела, и Валя смотрел ей вслед. А как это, лететь?

Валя увидел у магазина такую же спину в кожаной куртке: «Тять?» Нет. Не он. Но мог бы.

Никитка кашляет страшно.

Кх-кх-крхм-кх!

По потолку индейцами пляшут тени деревьев. Когда-то они были людьми, потом их заколдовали. Теперь они протягивают руки, пытаются ухватиться за мебель, вытащить Валю из-под одеяла.

Кх-крхм-крхх-кхм!

Это Никитке в горло монстр упал. Теперь скребется и рычит.

Цык. Цык. Цык. Цык...

Часы медленно шаркают, еле-еле, дают папе время вернуться.

Цык. Цык. Цык...

Свис-с-с...

Крхм-кх-кх!

В мире папу больше не слышно.

Злая мама

Папин телефон умер. А папа?

По дороге из сада домой рассыпаны хлебные крошки. Кто-то голубей подкармливает. Валю с Никиткой подкармливает только тетя Рима.

— Дед ваш скоро из Углича приедет, заберет вас. Валюш, давай еще фасольки, а?

И Валя съел еще жареной фасоли с луком.

Тетя Рима открыла бутылку «Буратины» и налила в стаканы. Стаканы «Буратину» не любят, шипят. Ломает шоколадку «Россия — щедрая душа» и достает засохшие «Васильки». Она всегда смотрит в магазине на халву в шоколаде, но не покупает.

У Никитки горло болит, он лимонад не пьет, ему тетя Рима налила кипятошный чай с лимоном. Отправила нос с горлом солью полоскать. «Гр-р-р-р-р».

— Тетя Рима, а можно мультики?

— Можно, только не долго, скоро новости.

Он лежал на старой танкетке и смотрел «Дисней». Валя не знает этот мультик, но он его любимый.

Тетя Рима дома ходит без парика, чтоб голова дышала, и в старом свитере «ее деда». Свитер есть, а деда нет. И не дед он. Вот у Вальки дед — это дед, он папа их папы. А тетя-Римин дед — дед игрушечный. Он ей муж.

Валя лежал, не смотрел новости и ждал, когда потолок упадет. В доме пахло шалфеем от злых духов и старым ватником, его носили, когда Вали не было. Свет остался лишь с краешка окна. Схватился за шкаф и ползет вниз, исчезать не хочет. Но скоро свет тонет в темноте. И Валя в темноте.

Синий телевизор говорит взрослые слова, запах шалфея паутиной растянулся по всей комнате из своего угла. Валя закрыл глаза...

— Вста... кх-кх... вай. — Никитка потянул Валю за руку.

— Да оставайтесь у меня на ночь. Тебя на танкетку, Вале на сундуке постелим.

— Мне еще уроки на завтра делать. Учебники все там.

— Ну как знаете.

Они оделись и вышли. Валя завернул домой, а Никита пошел по лестнице вниз.

— Ты куда?

— Пошли, Валух, кх-кх-кхэ, плот испробуем.

Последняя полоска света испарилась здесь, и темнота налипла на всё. Ну ничего, Никитка сможет включить свет.

* * *

Их плота на месте не было. Плот сбежал на остров Пасхи, а они нет.

— Мы не поплывем никуда, Валька.

Шутит.

— Поднимайся, давай, давай.

Нет.

— Валька, кх-кх, давай!

— Нет!

Никита схватил его за локоть.

— Давай, мне в школу завтра. Мне еще контрольную. И тебя в сад. Мне кашу еще варить. — У Никиты глаза промокли. — Мне еще твои колготы стирать!

Валя смотрел на брата. И тихо кругом так. Звуки умерли.

Вывался.

Поскользнулся.

Упал.

Покатился со склона к Клязьме.

— Валька!

Свалился в воду. Одежда его облепила.

Вынырнул. Никитка его мамой-львицей за шкуру вытащил.

Заплакал. Откашлялся. Холодно.

— Никитка...

— Живой? — Никита обнял ладонями его щеки.

— Живой. Прости, Никитка.

* * *

Тетя Рима на ночь всегда молится, чтоб если она утром вдруг не проснулась, то боженька ее душу себе забрал. А еще она смотрит на страшных тетенок в телевизоре. Они поют и танцуют, а еще много ругаются. Зачем-то.

Они шли домой. Мокрые. Валя дрожал от щек до ляжек. Пальцы на ногах не дрожали, только в ботинках хлюпало.

— Никит, а давай дома в морской бой, как в тот раз?

Не ответил. Никитка закрыл глаза и упал.

Валя сел рядом. Не стал ложиться, мокро.

— Никитка! — Не отвечает. — Никит... — Валя тормозил брата, ничего. — Никитка!

Какая-то тетенька подбежала. Похлопала Никитку по щекам. По телефону позвонила. Валя тоже Никиту похлопал. На всякий случай.

— Никита, это не смешно, не пугай меня. — Вытер рукавом слезы. — Вставай, пойдем домой.

Приехала скорая. И дяденьки с тетенькой в синих куртках выскочили из машины. Подняли Никитку, спрятали в машине, как секретик. Под фантик и стеклышко положат.

— Пойдем, я провожу тебя домой. Ты где живешь?

Он посмотрел на тетеньку в синем, а потом в землю.

— С Никиткой. — Валя сжал кулачки, губа задрожала.

Они стояли под оранжевым фонарем, и дождь спреил Вале на голову.

— Давай подсажу, с нами поедешь.

И он едет на скорой помощи. Орет сирена. В правом ухе барабанит.

— Ты знаешь свой адрес? Как маму, папу зовут? Ты знаешь их телефон?

— Папа... папа Вадим... — Вспомнил, снял курточку. — Это номер деда! Это деда написал, чтоб я не потерялся.

Валя попросил тетю Риму и за него молиться, а то он сам волшебных слов не знает. И тетя Рима обещала за него молиться. А за Никитку Валя не просил.

Проезжали мимо домов, и они окрашивались синим и красным. Красный цвет страшный. Валька желтый любит. Как дыплята, как лимон и солнышко. А еще желтый — это Никитин любимый цвет.

* * *

Бабочки — это всего лишь бабочки, пока кто-нибудь не умрет.

Она сидела в верхнем углу около лампочки. Хотела выйти? Валя посмотрел на нее, замерла — наверное, спит. Или не спит...

У тети Римы руки все в голубых линиях. Кровь голубая. Как у королевы. Она налила ему чай в кружку, в ней пять чайных колечек. Папа тоже так пьет, а Никитка всегда моет чашку. Мыл. Тетя Рима поставила на стол розетку с вареньем и банку меда. И ложку дала деревянную, чтоб вкуснее было.

— Тетя Рим, я с тобой спать буду.

— Что ты! Я храплю жутко, еще испугаешься. Ложись вона туда, на кушеточку, я постелила.

Валя лежал у старого ковра. Пыль щекотала нос. На кухне тетя Рима смотрела телевизор. В комнате темно, а иконы в углу светились. Это они от окна или сами?

Дзынь. Дзы-ы-ы-ы-ынь!

Кто звонит? Валя зажмурился, накрылся одеялом.

— Пусть спит себе. Чего ж ночью его таскать тудемы-сюдемы?

— Кто там? — Валя выглянул из-под одеяла.

— Живехонек. Я ж допрашивалась, допрашивалась, а он только и знай свое, что упал Никитка, что в больницу увезли. Да. Да. Что ты! Менингит? Ай... Давно уже заметила, что дохает. Промывай, говорю, полощи. А он... Да. Ночку, две, сколько нужно спочует. Конечно. Сохрани, Господь, его душу.



Страшное тетя Рима говорит, как тогда говорили про бабу.

— Тетя Рима, а менингит — это как?

— Спи!

Она зажгла свечку, к иконе поставила. В уголок, чтоб никто не уволок.

— Это дед звонил?

— Спи, кому говорят!

Если лечь на руку, она становится чужой. И можно гладить себя по голове, по щекам. Сказать, что все хорошо. А как отлежать голос, чтобы поверить?

Она наливала чай в блюдечки, и свет лампы лимоном в них плавал. Тетя Рима всегда покупает большие баранки и наливает в розетку сливовое варенье. Дала ложку омского варенья с шишками. Не хочется.

Они мыли посуду. Тетя Рима мыла, а Валя вытирал.

— Звонил дед из больницы. Сказал, что с Никитой нашим все хорошо будет. Глядишь, в сознание придет да через недельку-другую его уже и отпустят.

Она протянула Вале кастрюлю. Мальчик прижимал к себе тарелку, смотрел в окно. С клена сорвался лист, хотел улететь, но прилип к окну. Вот и лист не сбежал на остров Пасхи.

— Никитка говорил, мама тоже просто кашляла. — Валя крепче сжал тарелку в полотенце.

— А? Валюш, ты чего? — Она забрала у него из рук посуду.

— Лечиться на недельку. Только кашель. А она не вернулась. И бабы нет больше. Горячая была. Сердце болело.

— Ну что ты, милоч, а? Ну-ка, не распускай мне тут сопли.

Валя знает, что мама по Никите соскучилась, к себе забрать хочет. Злая мама.

— Тётъ Рим. А если Никитка умрет?

Валя посмотрел на тетю Риму. И вдруг она стала маленькой, а он на глазах вырос.

— Да ну что ты. — Она протянула к мальчику трясущуюся руку. — Ну что ты, Валя...

— А если Никитка?..

Заплакал. Тетя Рима вытерла ему рукавом щеки и нос. Ее объятия Валю целиком проглотили. И косточки не оставили.

* * *

Над Никиткиной кроватью в потолке большая дырка. Чтоб душа смогла выйти.

— О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба твоего Никиту, болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения и подай исцеление от болезни...

Дед не закончил. Заплакал.

* * *

— Никитка, не уходи к маме на небушко. Пожалуйста.

* * *

Он открыл глаза.

Не может вдохнуть.

Пик. Пик. Пик.

— Он нас слышит. Реакция? Тринадцать баллов...

Вдохнул.

— Я?

— Привет! Привет, дружище.

— Состояние стабильное...

— Я здесь?

— Да, приятель, ты здесь. — Чья-то сухая рука упала на его щеку.

— Я здесь? — Вдох, вдох, вдох, вдох, выдох. — Я здесь? — За-

плакал.

— Да, дружище. Я тебя вижу. Ты с нами.

Никита увидел деда. Дед был весь неровный и размытый за слезами.

— Деда? Это ты? Ты... ты... ты меня знаешь?

— Я тебя знаю, ты Котов Никита Вадимович. Верно? — Дед поцеловал его в лоб.

— Де-да, я здесь. — Он хотел его обнять.

И дед поцеловал его руки.

— Да, приятель. Да. Да.

В носу трубки застряли.

— Так, следи за светом фонарика. Ты меня слышишь? — Никита кивнул. — Ты меня видишь? Хорошо.

— Я у-умер. Я умер.

— Нет, нет, дружок. Ты только на минуту уснул. И теперь ты снова здесь.

Никита не мог вдохнуть через нос и через рот, и слюни потекли по подбородку.

— В-ва-ля.

— Он тут, он в коридоре. Ты хочешь, чтобы я его позвал? Да? Можно нам позвать меньшого?

— Мо... мо... можно? — начал захлебываться.

— Следите только, чтобы он не выдернул провода.

Дед поцеловал Никиту в кулачок и исчез.

— Я здесь, — шепчет. — Я здесь. — Он широко раскрыл глаза, боялся моргнуть.

— Никитка. — Заплывший, краснощекий Валя подошел к кровати. — Можно обнять? — Никита кивнул.

Валя долго обнимал Никиту, замер, боялся что-нибудь сломать.

— Валька, я здесь!

— И я здесь! И я! Никитка, Никит, мы не одни, мы вдвоем.

Константин КОМАРОВ

МАШИНА ТИШИНЫ

* * *

Ничего не желя,
ни о чем не желя,
происходит живая
жизнь, перечить не смея

смерти — злой и короткой,
что черствеет здесь пищей,
под картонной коробкой
замирающей птицей.

Так без лишних мучений
уйди, как вояка,
поручни по(р)учений
обхвативши двояко,

пыль небес приминая,
открывая стигматы,
все кругом принимая,
чтоб не кончить стих матом,

чтоб пришли в ностальгии
по тоске стать собою
за тобою другие.

И придут за тобою.

* * *

Вырублен снег и пустеет, как прочерк
считанных, наспех не считанных слов.
Сколько же весит божественный почерк,
проза прозрачная лиственных снов?

Можно убиться, но не убоиться,
 лишнего груза сердчишко лишить,
 пауз пазы поболят — разболятся,
 нужно опять тишину пережить.

Материален, но метареален
 свет оружейный зимы кружевной,
 и в обитанья его ареале
 знаки сквозят сквозняком надо мной.

И деликатная, как дилетантка,
 поприщ попроще взыскует душа,
 беженкой к боженке рвется, болванка,
 дабы земного избежь дележа.

Этой обидной победы немало,
 чтобы поверил в себя идиот,
 и, вынимая себя из вниманья,
 стих не на убыль — на гибель идет...

* * *

Рассыпался ночи трухлявый скелет,
 в окне — непроявленный снимок.
 Как волос седой, прорастает рассвет —
 небесное необъяснимо.

И кто здесь подавлен, а кто удивлен,
 а кто беспробудно доволен,
 поймешь, только колу смешав с вискарем,
 отчаянный утренний воин.

Ты — озеро, круглое, словно зеро,
 твое настроенье настырно,
 и если заводишь в гортани зевок,
 то это зевок не постыдный.

Ведь утренний твой стоицизм даровит,
 и можешь ты каждому литру
 стальной и стабильной тоски дериват
 прочесть на мотивы молитвы.



* * *

Распускает конечности вечность,
в этой вечности мне выживать
и последнюю нежность, конечно,
в ненаглядных глазах выжигать.

И, обшарив обширную пустошь
и признав в ней родную сестру,
приведя себя в чистое чувство,
я себя из пространства сотру.

И, отправив слова по спирали
в свой паркур, я возьму перекур,
чтоб из инея не выпирали
буквы их на ином берегу.

Отключу проходное сознание,
в тихий порох сотру потроха
и создам золотое создание
в смертной форме чужого стиха.

* * *

Черна и далека,
как губы от питья,
морока молока,
молока бытия.

День до сих пор носат
и мечет черепки.
Скучны, как порносайт,
ночные черенки.

Но танец, как птенец,
рождается во рту.
Я не могу, Отец,
пойти на немоту.

Балладный блуд, как пес,
степенный стих, как гусь.
Но я собой оброс
и бриться не берусь.

Слов льется водоем,
и верю я, что прав,
икону в оком
инкорпорировав.

* * *

Мы выходим такими другими
из дверей, что зовутся судьбой.
Ничего не бывает с другими,
все случается только с тобой.

Нами правят посменно три силы:
немота — тишина — болтовня,
но себя потащить из трясины
и уйти за излучину дня

можешь только ты сам, перешитый
новой вечностью пережитой.
Будет все, что вдвоем пережили
вы с зеркальной большой пустотой.

Бездн бездомных своих устроитель,
только ты их герой и король
и ладоней людских устранитель,
распознавший финальный контроль.

И бездушный уже, безвоздушный,
в мавзолее замозоливший страх,
ты затылком ныряешь в подушку —
в местечковый мистичный астрал,

в теплый мякотный космос навозный,
в изначальный ночной дальнобой —
навсегда от печали нервной,
что уже не случится с тобой.

* * *

Стихопишущей узнаю траекторию руки я,
раз симметрией смотренья в это виденье введен.
Пусть за мной придут другие, но за мной придут другие,
ибо я недаром даром сам в себя произведен.

И — со знаками знакомый, — речь обузивши о зубы,
запускаю прямо в душу я машину тишины,
пути пустоты срезаю, сбрасываю все обузы —
не расклеены афиши, но слова раскалены.

Вижу кадры коридора в свете тлеющем окурка,
лишней лжи и разной прочей хаотичной хтони средь.
До скелета доски лета сжег и — сам собой окутан —
бабочкою в оболочке в зимнюю впадаю смерть.

Марина АРЖАНИКОВА

РЫБИЙ КЛЕЙ

Р а с с к а з

* * *

Вадим Михайлович лежал грустный. Грусть была странной, как будто навалилась незнакомая грузная тетка, давит и дышит в шею чем-то горячим и сладким.

Вадим Михайлович хотел в детство, чтобы одеяло подоткнули, подушку поправили...

Но тетка была точно не из детства, она и вставать не собиралась, лежала себе, давила.

— Вот беда-то! — вскидывала бабушка руки, и они, взметнувшись, оседали на талии. Руки в боки. Бабушка широкая, и ладони у нее шершавые, большие.

«Вот беда-то...» — думал Вадик.

А вот беда, да. Случилась. Вадим Михайлович — разлюбил.

Разлюбил жену свою Ольгу Викторовну, потому что она растолстела, разлилась и уже не та, которая была раньше. А главное, ушло вот это место-местечко волшебное, когда вполоборота, и шейка, и часть подбородка...

«А-а-а...» — заныло у Вадима Михайловича где-то в горле, застучало, как пульс.

Он вдруг вспомнил запах марли. Горячей марли. Это отпаривались деду брюки, пиджак, пахнувший полынью, и доставались медали — осторожно, в тишине.

Что-то неуловимое, мягкое, как заячья лапка, которую таскали пациенты, чтобы пугать девчонок, дотронулось, погладило по руке, царапнуло на мгновение.

* * *

О, та дверь ему снилась. Обтянутая дерматином, но уже покромсанная ножичком (соседские мальчишки), отчего висели клочья. Вадик отдирал их, если оказывался по ту сторону. Дверь скрипела, хрипела и

даже мяукала, потом резко рывкала, впуская своих, чужих, незнакомых, и детвора, крутившаяся рядом, бежала первой сообщить о пришедших.

Бабушка открывала дверь ключом, поворачивая его «на три с половиной оборота», и Вадик успевал отодрать еще кусок, и дерматиновый треск приятно щекотал слух.

— Не рви! — ругалась бабушка. — Что за руки! Дед вылитый...

Она шевелила крутыми боками. Под платьем они ходили ходуном.

«Дед вылитый» — это она говорила по любому поводу, даже без причины.

Вадик привык.

Ноги у бабушки были в синих венах, большие и надутые, выглядели тяжело из-под платья, а черные туфли — огромные, пыльные, с царапинами на каблуках.

«Три с половиной оборота», — запомнил Вадик. Звук поворота ключа в скважине тоже ему нравился; мама делала это виртуозно, быстро, а бабушка — с толком, медленно, как будто отсчитывала.

Когда деда выносили, дверь подперли табуреткой, и люди ходили туда-сюда, примерялись, давали советы, как удобней. Про Вадика забыли, и он тогда оторвал от двери самый большой клочок дерматина. Долго рвал, слушал звук, пока мама не завела к соседской бабке на время. Этот клочок он запрятал надежно в свой мальчишеский тайник, но впоследствии забыл о нем.

Ленку любили. Ленку мыли в тазу, намыливали пахучим мылом, а бабушка трогала и щекотала жесткими пальцами Ленкины бочка. Ленка противно хихикала, когда брали на руки, обмакивали полотенцем, и поглядывала на Вадика мокрыми глазенками как победительница. Ее и укладывали дольше, сидели с ней, расправляя складочки, а днем постоянно одергивали платье, отряхивали, как будто оно всегда было в крошках, и совали конфету.

А Вадика бабушка чмокала в макушку и конфету, или даже половину, совала реже.

Вадик вырывался, чесал голову.

«Да, разлюбил, — думал Вадим Михайлович, обмякший, слабый, — разлюбил, разлюбил...» И вспоминал почему-то эти полконфеты, и повторял, повторял это «разлюбил», пока слово не утрачивало смысл и не улетало.

Тогда он смотрел на провода в окошке, на небо, птиц, как будто искал улетевшее слово, и опять думал.

— Руки в боки, боки в руки! — дурачился Вадик.

— Спи! — Бабушка закрывала дверь, исчезала в проеме, крупная, с большими руками.

Вадик засыпал.

Незаметно небо затянулось, стало похоже на старую застиранную простыню, какие дают в пионерлагере, и казалось, поднимись ветер, с треском раскроются прорехи и хлынет вода.

Дом встретил неприветливо, обиженно. Неприятная грузная тетка не спеша прошла мимо. У Вадика в руках был ключ, большой и длинный, как от амбара. Ключ касался груди, холодил под рубашкой, отчего было щекотно и приятно, и, когда Вадик воткнул его, нащупав сердцевину, и прокрутил хорошенько так, с нажимом, словно давая понять: это я, Вадик, пришел, — стало хорошо на душе и даже весело.

— Раз... Два... Три!

Лара совсем не изменилась. Худая, с круглыми впалыми глазами. «Оборванка», — говорила бабушка.

— Кто это? — спросил он про тетку.

— Соседка, — ответила Лара, прячась в старомодный платок.

Тетка еще пару раз прошла мимо и, Вадика показала, даже посмеивалась и одним глазом косила на него. Платье ее необъятных размеров, натянуто, как на футбольный мяч, и коротко, выше колен, а ноги похожи на окорока. Он почувствовал ее дыхание. Сладкое и горячее, как будто она съела сто шоколадных конфет. Сто шуршащих фантиков, вот бы Ленка обрадовалась!

— Ларка, это я.

— Ты откуда к нам?

— Оттуда... — сказал Вадим и посмотрел куда-то в потолок, расстрескавшийся, похожий на карту и в паутине.

Дом в самом деле просто врос в землю, окна стали совсем маленькие, выглядывали снизу, комнатки как будто сжались и стеснялись своего неприглядного вида, и Вадик сразу прошел в свою, где окно у батареи и табуретка всегда на одном месте, словно прикованная.

Это вид из окна на тупик. Да, дальше ничего не было — тупик, закуток, куда приходили целоваться и курить, а бабушка гоняла пожаловавших старым можжевелевым веником и им же, ругаясь, выметала окурки.

Он вспомнил ноги. Много ног. Они останавливались, вставляли на цыпочки, пританцовывали. Тушили окурки, подпинавали его ближе к окну или вбок, к стене, растирали в пыль, до мокрого пятна, а карий мальчишечий глаз рассматривал туфлю, вялый носок, щиколотку, косточку на ней, чулок, спустившуюся петлю, даже пытался выше, но стекло мешало, нос расплющивался, и не было видно. Только один раз он видел женские ноги в красивых, бордово-розовой кожи туфлях, в аккуратных блескучих чулках и начало юбки. Тогда Вадик замер от такой красоты. Женщина бросила недокуренную сигарету с золотым ободком, с фиолетовой помадой на конце, и тогда Вадик обежал дом и, сидя на корточках, смотрел,

как голубоватый дымок изящной виньеткой поднимался вверх и исчезал, как и красивая незнакомка.

- Лара, ты не изменилась!
 - Ну, ты...
 - Не, я серьезно.
 - Х-х-х... — какие-то странные звуки.
 - Замужем?
 - Нет ефе... — прошамкала Лара. Зубов у нее явно не хватало.
- Они помолчали, рассматривая друг друга.
- Кажется, дождь?
 - Дофть, — согласилась Лара.

Лара, с жидкими крысиными косичками, кривоzubая, в старомодном выцветшем платке, смешно ставя ноги, удаляясь в зеленоватый, пахнущий сыростью проем — туда, куда, кажется, не возвращаются: поперек времени, против часовой стрелки, которая на часах, висевших у бабушки, была отломана. И настроение у Вадика пропало, стало кисло-пусто, как будто в невесомости и некуда прислониться.

Но тут же все изменилось! Как сладко запахло дерматинром! Заячья лапка так ладно уместилась на ладони, и холодные стены раскрылись в своем естественном свете, с царапинами и надписями.

— Вадя, ты держи бабушку за руку, — говорит мама. — Мама, держите его, близко не подводите.

Вадим Михайлович заволновался, даже потрогал лицо, щеки. Оно влажное и прохладное, лицо сорокалетнего разлюбившего мальчика.

— Вадик, держись за бабушку, на деда не смотри.

Бабушкина рука теплая. Вадим Михайлович волнуется. «Раз, два, три!» — зачем-то считает он.

— Я Вадик! — говорит он вслух. Смеется и ждет ответа.

— Вадик, Вадик, — сжимает бабушка его ладошку.

Мама мелькнула хвостом крепдешинового платья:

— Уже прощание, уведите его в комнату.

Вадик идет в комнату, его даже запирают, и он смотрит в окно. Там много ног, мужских, в пыльных нечищенных башмаках. Мужчины переступают с ноги на ногу, сплевывают, кидают окурки, но не уходят, закуривают еще, комкают пачку, бросают под ноги. Эта отдельная жизнь курящих кажется загадочной и интересной. Каждая трещина, бок ботинка, полустертая, с прилипшим листом подошва хранят пусть и не очень загадочную, но тайну, и Вадик чувствует себя приобщенным к этой тайне.

Прохладный ключ болтается на веревке и холодит грудь, потому что бабушка запрещает оставлять его под половиком.

Но что это? Старый комод! Сколько же ему? Трехэтажный, с металлическими ручками-ракушками, с накинутой вязаной салфеткой. На нем Ленкины резинки и банты. «Неряха», — думает Вадик.



На комодѣ пыль. Фантик от конфеты. Вадик выпрямляет, расправляет его — так делали Лара и Ленка, складывая фантики в коробочку. Все менялись ими...

Кривозубая гребенка, это бабушкина. Он даже видит два седых, переплетшихся между собой волоска. Она двумя руками вставляла гребенку в волосы, потом надевала очки и моргала. А вот дедова медаль с отвалившейся застежкой. У него их много было, но надевать не надевал; когда бабушка доставала коробку с шифоньера — коротко приказывал:

— На место!

И бабушка возвращала их на место, вставая на цыпочки, даже без стула, потому что была высокая, одного роста с дедом.

— Тебе в окоп нельзя. Фриц заметит, — шутил дед.

Бабушка поправляла очки, ей не нравилось. Дѣлала руками какие-то ненужные движения, оправляла платье...

А вот еще заколка — цветочек с облѣзшими лепестками. Теплая волна прошла по Вадиковой груди. Он пробует — заколка не сломалась. Так щелкала она, когда Оля, в простыне, собирала наверх тяжелые каштановые волосы и закрепляла их в бутон на затылке. Как он хорошо помнит этот день!

* * *

Она подтягивалась — так у девчонок называется поддержать чулки или штаны. Они так смешно это делают, иногда машинально, не стесняясь. Ну, тогда ему уже девятнадцать было, а ей восемнадцать. Она подтянулась, показав ножки в чулочках, такие ловкие, стройные; она даже подпрыгнула, как будто сама себя вверх подбросила. Юбка джинсовая, самошитая. Простенькие туфельки.

Тогда Вадик обежал дом, запыхавшись, завернул в тупик, а там, разом остепенившись, медленно достал сигарету — и ей: «Курите?» Она взяла.

Она была прекрасна — Оля. Маленькие розовые губки смешно приняли сигарету, и мгновение она висела на нижней губе, пока Вадик шарился в кармане в поисках спичек. На розовой шейке цепочка с какой-то смешной висюлькой, Оля левой рукой теребила ее и переступала с ноги на ногу. Вадик поймал себя на мысли, что видит ее слишком высоко, что снизу интересней.

— Оля! — представилась она.

Ее губы были наравне с его.

У нее были тонкие пальчики, одним она изящно стучала по сигарете. Пепел падал красиво, рассыпался жемчугом на грязном асфальте, Вадик видел его траекторию.

Она кокетничала, но молча, как умела: плечиками, глазками, кончиками потертых туфель. У нее это получалось.

— Вадик! — протянул он руку. — Вадик.

Оленька уже в белом, не в джинсе, она как невеста, не хватает только фаты, фарфорово-белое личико обрамляют тяжелые темно-каштановые кудри. Тонкая талия, робкие плечи и разворот головы, шейка нежная, тонкая, трогательная, с голубой жилочкой.

«Как жаль, что дед не дожил, он бы одобрил. Я женюсь на ней», — думает Вадик.

Оля прелестна, легка, как бабочка, перелетающая с цветка на цветок, и однокурсницы уже завидуют им, смотрят на Оленькины ножки в легких туфельках, сумку через плечо, где в зачетке только «автоматы», оглядываются педагоги, и счастливый Вадик идет чуть впереди, заглядывая ей в лицо, как бы оберегая, очерчивая пространство только для них двоих.

Ольга Викторовна, сорокалетняя располневшая Оля, спала, отодвинувшись от Вадима Михайловича, больше того — недобро стащила большое одеяло на себя, так как чувствовала холодность, даже равнодушие мужа.

Последнее время ее давила тоска. Тоска эта была похожа на какого-то мужика, деда даже, хилого, но крепкого и жилистого; он как будто оплел ее, свил, и каждая косточка, каждый член ее был обвит этим стариком с жарким нечистым дыханием. Дед давил на ее тело, и она лениво поддавалась ему — долго не вставала, не варила кофе и с мужем не завтракала.

Ольга не нравилась себе располневшая, крутилась возле зеркала, еще не до конца смирившаяся, втягивала живот, поджимала губки, как все женщины перед своим отражением. Равнодушие, длинное, неопределенного цвета, растянулось как веревка, и даже то, что муж пришел поздно, уже не так злило и беспокоило; да и за ней есть грешок, знала Ольга Викторовна, но быстренько эту мысль от себя отгоняла. «Но волосы, волосы хороши!» — в который раз констатировала она, поправляя прическу, но тоже лениво.

Да, располнела по типу «яблоко» (это когда равномерно — в журнале прочтала), ну и что? Она копия мамы. Мама тоже располнела и тоже по такому же типу. Правда, папа ушел рано, наверное, ему не нравились яблоки. «Груши» куда страшнее, — вяло успокаивала себя Ольга Викторовна. — Или треугольник... Нет-нет, только не как Ерофеева в институте — мощный торс и тоненькие ножки, нет-нет!» — и уже почти нравилась себе в зеркале.

Кстати, надо звонить маме, просить ее побыть с Илюшкой.

«Встать — не встать?» — рассматривает Ольга руки, пальцы. — Надо в контору зайти, в Старый город. Но лень».

— Мам, придешь? — набирает номер и спрашивает тихо, наматывая черный шнур на палец. — Илюха один.

* * *

— Мама, Вадика откройте, он там один.
 Бабушка вся в черном, заплаканная.
 Вадика выводят и сажают в машину.



Сколько людей, все с их улицы, завода, из профкома!

И много цветов, и венков, и его, Вадика, глядят по голове. «Весь в деда», — гордится Вадик. На смешных подушках дедовы медали. Вадик смотрит на деда, но дед молчит, строгий, на нем костюм из шифоньера.

Дед работал в профкоме, но Вадик не понимал, что это. Зато часто нырял к деду в «сапожку», так бабушка называла комнату-закуток без окон в теплом подвальчике. Дед там прятался, когда бабушка много ворчала, и делал туфли. Всем. Он был сапожник.

Вадик смотрел на деда в смешном фартуке, с гвоздями в зубах. Трогал теплые колодки, водил пальцем по прохладной коже. Таскал вар и жевал, поделившись с мальчишками во дворе.

— Учись! — говорил дед, не выпуская гвоздей изо рта. — Пригодится когда в жизни.

И Вадик сидел на маленькой сапожной липке*, а бабушка потом угадывала по красным следам от вмявшихся в попу ремней, что опять был у деда.

Раз бабушка вбежала в дедову берлогу ругаясь, когда дед вытащил из дивана какую-то пружину — делать шило. Вадик помнил, как дед выпрямлял ее и, высунув язык, острием горячего ножа загибал петлю.

У Вадика с Олей закрутилось. Как две птички на резном карнизе, Вадик и Оля вдвоем, за ручку, высоко парят. С утра до ночи, и вот уже опять утро и надо бежать с букетом ромашек — с клумбы или купленных на углу у бабки, — и ей цветы, Оленьке, и Оленька вспыхивает, как заря. Или темнеет, как закат, когда Вадик прижимает ее к себе.

Вадик заваливает сессию. На грани отчисления, ну и пусть. Оля ждет вечером.

К ней! Ее мама, Раиса Викторовна, уехала. Птички взлетают, порхают в лучах солнца — и уставшие, счастливые возвращаются на землю.

Так много венков, всё в цветах. Вадик уже на табуретке, его кормят. Люди встают и рассказывают про деда.

— Я весь в деда? — спрашивает Вадик.

Бабушка подкладывает ему рыбы:

— Ешь!

Они с Олей любят есть в кафешке-стекляшке. Там дешевый кофе и бутерброды. Они берут кофе с молоком, он обвивает ладошками чашку, потом греет ей руки. Потом бегут домой, пока Раиса Викторовна отсутствует.

Скорее через рошу, вбегают и прыгают на раскладной диван.

— Какие смешные!

— Обычные советские трусы.

— Я тебя люблю в любых.

* *Липка* — стул сапожника с сиденьем из переплетенных кожаных или брезентовых ремней.

- А я тебя — без.
- Дурачок. Включи «Аббу».
- А ты не кричи. Услышат.
- Буду кричать!

Диванная пружина выскакивает, но где-то сбоку, не потревожив влюбленных, — наверное, привет от деда.

* * *

— Ефим Лазаревич не только на работе, но и в быту был достойным гражданином своей Родины. Работники и работницы нашего завода...

Бабушка нервничает, видит Вадик, потому что в левом углу сидит работница Перова — Периха из цокольного цеха с поджатой, чуть тронутой помадой нижней губой. Ох и попила она кровушки у бабушки Неонилы Федоровны! Два раза дед уходил, но возвращался. Перова — дура, так считала бабушка. «Курва!» — говорила, когда вспоминала, и тогда дед уходил, хлопал дверью.

— Мама, сколько можно! — мелькал мамин хвост от платья.

У Перовой тонкие темно-красные губы, полосатая вязаная кофточка и бежевые с бантиком туфли, и вся она какая-то маленькая и пугливая и похожа на состарившуюся куклу. Однажды дед взял Вадика к Перовой. Перова была ласковая и подарила Вадика шоколадку и патрон от лампы. Шоколадку Вадик съел в туалете, а патрон спрятал под матрасом. Бабушка нашла, и был скандал.

Бабушка мстила ему всю жизнь, так Вадика казалось. Хватала грубо — но целовала, потому что «весь в деда». Вадик знал, что дед сделал туфли Перовой. Все ссорились, кричали про эти туфли. Но Вадика было это совсем неинтересно, он ждал, когда дед начнет варить на маленькой спиральной плиточке рыбий клей, самый крепкий в мире. «Хоть для танков!» — так дед говорил.

— Ты дверь закрыл? — спрашивает Оленька.

— Закрыл.

Два голубка опять улетают вверх.

Вадим Михайлович шевелился, тянул, отбирал одеяло у жены, ворочался, сморкался и снова затихал, недовольный, несчастливый, разлюбивший.

Люстра, слишком нарядная, расположенная в самом центре потолка, ему не нравилась, раздражала. Навалившаяся тетка пошевеливалась, меняла позу, но не уходила.

— Спи, Вадик, — бабушка хлопала дверью, зажав клочок маминого цветастого платья.

Однажды Вадика потеряли. Он рассказал пацанам из соседнего дома про клей, и все отправились ловить рыбу.



— У них за жабрами такое специальное вещество — танк склеит! — рассказывал Вадик пацанам.

Накопали червей, нарезали хлеба, взяли сахар и пошли на речку пешком.

Вернулись в сумерках с двумя ершами в ведерке.

Дед тогда задал ему ремня.

— Я тебе задницу склею! — кричал дедушка.

Вадик обиделся, лежал долго, не вставал. Тогда бабушка принесла ему конфету, целую. Вадик отвернулся.

«Весь в деда», — наверное, подумала бабушка.

* * *

Голубки часто ругались, непонятно, зачем и почему, просто так, без причины, и даже расставались. Вадик раскрывал конспекты, а смотрел на чужие ноги в грязных ботинках с плевками, в туфлях, с выбившимися пятками чулок.

А утром Оля гордо проходила мимо, иногда под ручку с кем-нибудь. Отличница, комсомолка. Красавица.

Тогда Вадик заболел, без нее. Окно, мутное, с налипшими прибившимися грязными листьями, давило, и ощущение, что внутри мрачное, маслянистое подземелье, не отпускало. Он ударил пятерней по стеклу — и решил мстить.

— Перова! — сказал он и закрутил с красивой первокурсницей, чтобы побольнее было.

Но первокурсница с ним заскучала и не приходила на назначенные свидания, да и он тоже ходил на них так, с опозданиями и кислым лицом.

Оля отреагировала по-своему.

Он в сотый раз рассматривал лист в клеточку: «Никогда, слышишь, никогда не звони, не ищи. Ты понял? Никогда!» Он спрятал лист, мучительно вспоминал причины размолвки — и не находил. Но утром видел ее, смеющуюся, легкую, с молодым аспирантом в джинсовом батнике.

Грозило отчисление. Вадик не пришел на передачу, завалил сессию.

Еще и Ленка поддевала своей улыбочкой, белыми зубами, возвращаясь поздно с танцев, растерянная, с блуждающей улыбкой, пахнущая вином и апельсинами.

— Как у тебя с твоей? — спрашивала равнодушно.

«Чтоб пожалеть или обидеть?» — гадал Вадик.

Вадик вдруг понял — он не сможет без нее, без Оли. Вот так просто, как будто отобрали воздух. Обложившись конспектами, учебниками и тетрадками, он придумывал, как уйдет из жизни. Цеплялся, всматривался в Оленькин почерк, искал там волнение, отчаяние. Но не находил. Ровные, любующиеся собой буквы. Аккуратные. Кричаще довольные. Кричаще красивые.

Униженный, отчисленный, обескровленный без любви, он пошел к деду в «сапожку», решив там и закончить дела земные.

Запах кожи словно обнял его. Ящички, жестянки, колодки и скрученные бутоны кожи смотрели на него вопросительно. Старый фартук висел на гвозде: «Что надумал?» — а липка провисла и, казалось, сохранила форму и тепло дедова тела. Китайский саквояж, полный каблуков, стоял ощерившись, деревянные лекала, все в паутине, прилипли к кирпичной стене, зияющей дырками от гвоздей.

Вадик дотронулся, потянул что-то... Это оказался кусок дерматина, спрятанный в день похорон.

— Дед... — сказал Вадик. Горло сжалось. — Бабуль! — совсем срывающимся голосом сказал, тоненьким, как у ребенка, и каждая буква в этом слове словно обняла его, согрела.

Вадик вдруг остро осознал свое прошлое равнодушие и к деду, и к бабушке. Ведь он никогда не спрашивал их о войне — ну может, совсем в детстве, и то дед не рассказывал. Не перебирал старых семейных фотографий, где бабушка высокая, в гимнастерке, перетянутой ремнем со звездой на пряжке, а дед кудрявый, широкоплечий...

Вадик тихо заскулил. Так плакала Ларка, неряха и почти дурочка. Всхлипы, громкие, неприличные, вырывались наружу без спросу, бесслезно. Завладели всем пространством, и ушло все: Оля, бабушка, дед, — и только кусок яркого мамино платья, словно зацепившись, задержался на мгновение. Потом все затянулось чем-то фиолетовым, словно душным, тяжелым, пропитанным чужими запахами одеялом.

— Я не могу! — прошептал Вадик и задохнулся.

Ленка прибежала вечером, в десять:

— Ты с ума... Мы обыскались!

Вадик и не слышал вроде, в руках его, словно влитый в ладонь, блестел обвязанный грубой изолентой молоток, в зубах — веер гвоздей, изящная колодка одета в голубоватого цвета кожаное пальто, прижатое по фигуре. В нос бил запах свежееизготовленного сапожного клея, вонючего и прекрасного одновременно. Глаза Вадика, почти безумные, как у художника, завершающего картину, или у скульптора, в последний раз оглаживающего ладонями готовую статуэтку, блестели, на подбородке запеклась черная слюна.

Он не выходил из мастерской три дня.

В понедельник утром с коробкой из-под обуви «Скорород» Вадик направился в институт, где у дверей аудитории обычно встречал Олю.

— Пойдем, это тебе. — Он повел ее, удивленную, изумленно брыкающуюся, к подоконнику.

Оля открыла коробку. Туфли небесно-голубого цвета с маленьким каблукком, изящным бантиком и уходящей внутрь мягкой бархатной стелькой смотрели на нее и источали волшебный запах.

«Весь в деда», — услышал Вадик откуда-то сверху, зарделся, глубоко, счастливо задышал, а Оленька уже топала ножками, прекрасная и изумленная, прилаживаясь к неожиданной обновке.

Больше они не расставались, в этих же туфлях — и в ЗАГС, с голубыми лилиями в волосах и с такого же цвета атласным поясом на талии. Но позже.

А тогда — прямо с лекции на реку, в туфлях и с пустой коробкой под мышкой. Горел румянец, упругая заколка с визгом освободила свободолюбивые волосы, и те рассыпались волной, заблестев на солнце — оно садилось в редкий тальник, а тучи, надувшись, выдали такую грозу, что не слышно было ни смеха, ни крика соединившихся влюбленных.

Промокшие с головы до пят, они лежали на жидких прутьях и глупо просили друг у друга прощения; камни кололи спину, а на небе повисла крутая двойная радуга.

— Я люблю тебя, — у Вадика дрожала нижняя губа, худые, еще полудетские лопатки в крупных дождевых каплях дрожали тоже.

— Я люблю тебя, — нижняя губка Оленьки ушла вниз и также подрагивала.

Они плакали под дождем, не понимая, что им делать с этой любовью, счастливые, но и несчастные, боящиеся растерять хоть каплю, хоть половину капли этой любви.

* * *

Вадим Михайлович завозился в кровати. Жена не спала, лежала спиной к нему.

— Сделай кофе, — попросил он.

Она встала, удивленная, ушла на кухню.

— Готово! — крикнула чуть позже — и замерла в ожидании.

Тетка стояла в дверях, выжидающе смотрела.

«Уйди!» — попросил Вадим Михайлович.

Она покрутилась, застряв в проеме, и исчезла.

Вадим Михайлович встал, нащупал тапочки и пошел на кухню.

Жена стояла в халате, из-под которого выглядывала ночнушка, с кофейником в руках.

— Тебе крепкий?

Вадим Михайлович подошел к окну, удивительно ловко запрыгнул на подоконник.

— Крепкий.

Ольга Викторовна поправила волосы, втянула живот.

«Может, все это ерунда? — думал Вадим Михайлович, болтая пальчишкой ногами. Теплая волна прошла по груди, знакомая, ласковая. — Куда мы друг без друга? — Он пожал плечами. — Склеены навеки, получается, как рыбьим клеем».

Он обвил ладонями горячую чашку. Ольга Викторовна ждала. Если бы в этот момент они выглянули в окошко, то увидели бы на небе яркую двойную радугу.

Но они просто молчали.

Это было лучшее, что они могли позволить себе в это утро.

Никита ЗОНОВ

НА БЕЛОМ ВЕТРУ

* * *

Николаю Хоничеву

Декабрь. Тридцать первое. Лета
замерзла. И неглубока.
Земля принимала поэта,
а лес провожал лесника.
Что — Лета?! Прикинется Томью,
несущую с горних долин
соленые мерзлые комья,
летающие в глину.
Из глин —
в холодное русское поле,
в тугую могильную ржу...
А в памяти: «Коля ты, Коля...» —
и прочее...
Что — не скажу.

Колыбельная солнцеворота

По траве туман стелется,
коростель в росе крякает.
Ты почто не спишь, девица?
Ночью может быть всякое.

Ночка за окном лунная,
в печке пирожки-булочки.
Ночью люди спят умные
и не спят одни дурочки.



Не поется им — плачется,
а чуть только боль кончится —
дурочки в себя прячутся.
Дурочкам летать хочется.

Вот они с крыльца босыми
ступят и тряхнут бусами...
И идут они росами,
и идут они — русыми...

Им вослед туман вьюжится,
замывая ночь набело.

Высыхают слез лужицы...
Собственно, и вся фабула.

* * *

Это у меня — осень.
Это у тебя — лето.
Я уже и жить бросил,
просто не мое это.

Так что не чуди, брось и
не усугубляй факты.
Я бы и не жил вовсе,
да не по себе как-то.

Все, что нам судьба бросит,
корни отдадут кроне,
и у нас с тобой, осень,
больше ничего, кроме...

Кроме тишины. В шуме
аж до синевы белом.
Ну а кто из нас умер —
это не мое дело.

Послехтоние

Ты скажи мне, кошка, существо рыбе,
можно я немножко за тебя выпью?
Можно я... посплю? Денек-другой... Тошно.
Все-таки нельзя? Зато тебе — можно.

Все-то ты молчишь, не поведешь бровью,
пляшишь на меня свои глаза совы.
Мы с тобой одни. Окрест — туман сирый,
листья и огни твоих больных сирый.

Лучше не смотри и не кори зряче:
я не по тебе — не по себе! — плачу.
Мне с тобою, кошка, хорошо очень.
Утро мудреней, но и дрянней ночи.

* * *

Знамо, умер давно —
ни берез, ни осин...
Застилает окно
неба ясного синь.
Все, что сбыться могло, —
птичий ор, бабий грай —
мне чеканит в окно:
умирай,
умирай.

Бог вам!
Я не умру.
Я вернусь поутру
и на белом ветру
в черном небе замру.



Андрей НЕКЛЮДОВ

ЧАЙ С ПЕРСИКАМИ

Р а с с к а з

Еще вчера мы стряхивали с палаток морозный иней, а сегодня разгуливаем в летних рубашках и шортах. Вчера наши лица жгли сухие горные ветра, а сегодня мы купаемся во фруктовых ароматах Ферганской долины. Из-под ледников, из-под самых небес мы скатились (съезжали вообще-то целый день по замысловатым серпантинам) напрямик в тропики!

Мы — это наш водитель Бахтияр, студент Слава и, собственно, я, начальник небольшого горного отряда. Двух геологов я уже отправил сегодня домой, мы же со Славиком разберемся с грузом и последуем за ними. Полевой сезон завершился. И завершился, не будем скромничать, успешно: на нашем счету два новых рудопроявления сурьмы и одно — ртути, четыре ящика с образцами и пробами и масса других материалов.

Расслабленные, с приятным чувством хорошо выполненной работы, бродили мы по пыльным улочкам среднеазиатского городка, среди медлительных, пестро одетых прохожих и бойких смуглых мальчишек, развозивших в дребезжащих детских колясках стопки румяных лепешек. Порой мы прятались от солнца в спасительной тени какой-нибудь чайханы, где группами восседали на топчанах бородатые аксакалы в синих, как горное небо, или зеленых, как близрастущая чинара, халатах. Перекидываясь непонятными короткими фразами, старцы прихлебывали из пиал бледно-зеленый чай и тонкими бурными пальцами брали выложенный на блюде золотистой горкой плов. Вкусно пахло распаренным рисом, бараньим жиром и пряностями, а от большого глиняного тандыра под соседним навесом, с раскрытым, словно в зевке, круглым ртом, потягивало печеным тестом и углями.

— Из моих корешей никто не бывал на пяти тысячах, — довольно мычит Слава, жуя горячую самсу. — А мы с тобой поднимались!

— Четыре тысячи семьсот семьдесят, — лениво уточняю я.

— Ну это считай, что пять.

Славик уже забыл, как он, такой здоровый с виду парень, при подъеме на эти 4 770 метров хватал ртом разреженный воздух и едва не терял сознание, так что мне пришлось тащить до вершины его рюкзак.

Какой кайф, черт возьми, что все эти пики, кручи и ущелья остались позади, и уже завтра... ну пусть не завтра, а дня через три-четыре (это считай, что завтра, как сказал бы Славик) я буду купаться в теплом ласковом море и гулять вечерами по набережной с любимой женщиной! Так мы уговорились с Оксаной — сразу после моего возвращения из «поля» рвануть на юг, на море, в Крым. Это будет, с некоторым запозданием, наш медовый месяц. Утром я позвонил ей из почтового отделения и деловито (а на самом деле расплываясь от счастья) сообщил, что завтра-послезавтра я вылетаю в Питер и что она уже может покупать нам билеты.

Я сижу в чайхане, но у меня то же чувство, какое владело мной, когда мы скатывались на нашем стареньком бортовом грузовике по зигзагам горной дороги.

У начальника отряда законное место в кабине, рядом с шофером, однако я предпочитаю ехать в кузове, со всеми, среди наваленного экспедиционного снаряжения — тюков, ящиков, спальных мешков, — стоя у затылка кабины, рассекать грудью упругий воздух и упиваться простором. Воздушный поток грубовато теребит волосы, надувает одежду и как будто приподнимает тебя. И тогда чудится, будто ты отделился от машины и паришь уже сам по себе — над серыми скалами, ущельями, над открывшейся в разрезе гор дымчато-зеленой Ферганой, — словно птица или дельтапланерист.

У меня это был только второй после окончания института полевой сезон, но сезон тем не менее совершенно самостоятельный.

* * *

Все-таки не зря говорится: не радуйся прежде времени. Или: не говори гоп, пока не перепрыгнешь (в моем случае — пока не преодолеешь тысячекилометровое пространство от Тянь-Шаня до Балтийского моря). Короче, захожу вечером на почту еще раз звякнуть Оксане, узнать насчет билетов (а скорее — просто услышать милый голос). Да и проверить напоследок корреспонденцию. А там как раз срочная депеша из института: «Ваш сезон продлен две недели сопровождения доктора наук» такого-то. От неожиданности и досады я даже не позвонил Оксане, хотя следовало тут же позвонить — дать отбой с билетами, ободрить...

Об этом докторе наук, большом специалисте по сурьмяным месторождениям, речь велась еще перед выездом отряда, и даже были заложены на это дополнительные финансы, однако весь сезон никаких сигналов не поступало, хотя ежемесячно я выбирался из гор в цивилизацию — отправить финансовый отчет в бухгалтерию, получить очередной перевод казенных денег и прочее. Так что я решил было, что бог нас миловал. И вот на тебе! «Продлен две недели». То есть как раз до окончания бархатного сезона на Черноморье. Да и вообще, две недели — это ужасно долгий, просто чудовищный срок, если ты уже настроен на скорую встречу.



Слава, которого я уговорил задержаться (не одному же мне обслуживать этого доктора наук!), тоже заметно приуныл. Мало того, что он пропустит начало занятий (это, по его словам, еще полбеда), но главное — не застанет веселых пирушек возвращающихся с производственной практики однокурсников. Хотя, на мой взгляд, эти его пирушки... Даже смешно, что человек сожалеет о такой чепухе.

Недоволен и Бахтияр: он рассчитывал в ближайшие дни избавиться от нас — отвезти в аэропорт соседнего городка, а затем дня четыре поработать «на карман», как он выражается. То есть подкалымить, доставляя чабанам в горы продукты и увозя от них овечью шерсть, фляги с медом, кумыс.

— Потом подкалымишь, — говорю я ему довольно безучастно.

Мы сидим под виноградным шатром во дворе частного дома, где арендуем сарай.

— Какой — потом?! — вскакивает на ноги Бахтияр и вытаращивает желтоватые глаза. — Какой потом беру бензин?!

У меня нет охоты напоминать ему, что потому у нас и сохранилась часть талонов на бензин, что резерв топлива был заложен как раз на случай приезда этого самого доктора.

* * *

Я снова у горячего затылка кабины. В кабине же, на командирском месте, Петр Петрович, светило отечественной науки. Теперь у нас главный он.

Сердитый ветер толкает меня в грудь, как бы желая остановить. Тщетно, ничего уже не изменишь.

Сады остались позади. На распростертых по сторонам дороги бескрайних хлопковых плантациях женщины в выгоревших платьях, согнувшись, собирают в мешки белую вату. Знают ли эти несчастные, что где-то существует на свете Черное море?

Но вот и белесые поля далеко за спиной, а вокруг нас опять горы — рыжие, серые, без единого деревца.

«Никуда море от меня не денется, — уговариваю я себя. — Ну билеты Оксане придется сдать, купить новые. Ну будет попрохладнее, зато и народу на пляжах меньше».

Однако досада не оставляет. Испытываю острую неприязнь к этому свалившемуся на нашу голову деятелю. Он, разумеется, ни в чем не виноват, но и я не могу ничего со своим чувством поделать, оно неотделимо от меня, как это бурое облако пыли — от нашего тряского грузовика.

Дорога покатила под уклон, и словно из-под земли впереди выросли сизо-зеленые колонны тополей, белые здания, заводские дымь. Славик приподнялся, взгляделся, прикрыв глаза от солнца, и снова откинулся на тюки.

Дорога между тем резко свернула и стала осторожно сбегать по откосу к белой от пены речушке. Притормаживаем возле аккуратных побеленных домиков, что опасливо замерли над кипящим потоком.

— Что как неживые? Выгружайтесь! — отворив дверцу кабины, молдцевато спрыгнул с подножки Петр Петрович. Он в резиновых сапогах (в такую-то жару!), в новеньком, еще хранящем родовые складочки геологическом костюме. Петр Петрович коренастый, с одутловатым лицом и абсолютно лысый. Лицо и лысина не загорелые, желтоватые.

— После трех месяцев работы в горах живость не та, что после кабинета, — с вызовом отвечаю я ему.

Петр Петрович как будто не замечает мой колючий тон.

— Я вам завидую, — говорит он. — У меня нет возможности проводить по три месяца в поле.

Нас ждали: пожилая узбечка в бордово-красном платке, шлепая по пыли домашними тапочками, подошла и молча вручила нам ключ от ближайшего домика.

Несмело ступаем на чистому полу.

— Кровати! С простынями! — пораженно восклицает Славик. — А мы спальные мешки приперли. Эй, сюда! — кричит он уже из кухни. — Здесь холодильник! — Слышно, как с причмоком отворяется дверца. — Ух ты, как на Алайском хребте!

Я не реагирую. Устыдившись, видимо, своей жеребьячьей радости, студент на время успокаивается.

Мне если что и понравилось, так это веранда — просторная, с большими окнами, с широким лакированным столом. Она насквозь пронизана солнцем, а в стекла тычутся ветви персикового дерева, с азиатской настойчивостью предлагая свои переполненные соком плоды.

Славик распахнул окно и плюхнулся на деревянный стул.

— Здесь будем по вечерам пить чай! — провозглашает он. — С персиками! Петр Петрович, это месторождение или курорт?!

— Только прошу не забывать: завтра с утра — шахта! — Ученый выкладывает на гладкий, залитый солнцем стол пухлые серые папки с оторванными завязками. — Нам с вами надо поторопиться, — говорит он мне, — успеть до конца рабочего дня в управление рудника и в геологический отдел.

* * *

Лифт размером с пятитонный контейнер с железными поручнями внутри, зеркально отполированными сотнями шахтерских рук, дрогнул вместе с нами, звякнул чем-то и решительно ухнул вниз. Всё вниз и вниз, без конца, без остановки, в бездну. У Славика в расширенных зрачках — мелькание света и тени. Я покосился на ученого. У того на пухлом лице — деловая сосредоточенность, как если бы он спускался в лифте своего дома, отправляясь на службу.

Резкий толчок и покачивание.

— Горизонт восемьсот пятьдесят метров, — бесстрастно изрекает приставленный к нам горный мастер, молодой парень, который без каски и брезентовой робы выглядел бы, наверное, совсем юнцом.



Пока я пытаюсь вообразить восьмисотпятидесятиметровую толщу, отделяющую нас от дневной поверхности, с лязгом отворяются тяжелые створки дверей. Перед нами — ровный тоннель с бетонными стенами, здорово напоминающий подвал. И пахнет подвалом. С двух сторон узкоколейки поблескивают лужи, и, когда мы последовали за мастером по настеленным доскам, из щелей между ними прыснули грязевые вулканчики.

— Почему на этом горизонте не ведутся работы? — осведомляется доктор наук у нашего сопровождающего.

— Убогие руды, — коротко отвечает тот.

Через несколько десятков шагов бетонные стены сменились скальными. Петр Петрович враз переменяется — напрягся, точно взял след, даже короткая шея вытянулась вперед, насколько сумела. Мы вместе с мастером почти бежим за ним, прижимая к бедру увесистые аккумуляторы.

Ниже опустился свод. Светильники над головой не успевают за нами и остаются где-то далеко за спиной. В кромешной тьме нас выручают лишь слабосильные фонарики, закрепленные у каждого на каске. Дряблой синусоидой тянется вдоль стенки толстая вздутая кишка, с шипением пропускающая через швы воздух. Хлюпает под ногами вода, скачут в темноте лучики фонарей, танцуют на стенах наши искривленные тени, точно души умерших в царстве Аида.

И вдруг — разом останавливаемся, натыкаясь друг на друга. Тупик.

— Северный забой, — скупно докладывает мастер.

Петр Петрович впивается глазами в сколотую, испещренную трещинами поверхность. Да, здесь есть на что заглядеться: в темно-серых известняках, в пустотах и белых прожилках кальцита, пробужденные светом от векового сна, брызжут металлическим блеском иголки и целые пучки кристаллов антимонита. Не верится, что они уцелели после взрыва, такие они хрупкие с виду, изящные. Тут я замечаю, что наш доктор наук, пригнувшись и выставив зад, рассматривает нечто иное — какие-то грязно-серые крапинки. Затем отбивает молотком кусок камня и рассматривает его в лупу.

— Катакластические текстуры... — бормочет он. — Оч-чень интересно.

Мы всё еще любимся кристаллами, а Петр Петрович, взмахнув молотком, исчезает во тьме, словно факир. Из бокового отвилка доносятся до нас его возгласы:

— Сюда-а-а! Тут совершенно бесподобные ве-е-ещи!

Идем смотреть бесподобные вещи.

— Ближе! Еще ближе! — командует ученый. — Дайте свет! Глядите: дайка сечет рудную зону! — Он выдерживает паузу и, не дождавшись наших восторгов, подсказывает: — Это же возрастной потолок!

— Потолок? — недоуменно повторяет за ним студент и переводит луч фонаря на низкий свод. Надо будет объяснить ему, двоечнику, что значит возрастной потолок.

А Петра Петровича уже и след простыл. Вместо него прыгает в черной дали слабый желтый лучик.

Настигаем бегуна в следующей поперечной рассечке.

— Вот! — резко оборачивается он к нам блестящим от пота лицом. — Ради одного этого стоило сюда спуститься!

— Ради чего? — всматриваюсь я в однообразную каменную плоскость.

— Да смотрите же! Вот сюда! Смотрите: ну?!

— Какие-то пятна... — мямлит Слава.

— Да вы что! Это же олистострома! Классическая! Встаньте здесь, — выстраивает он нас полукольцом, как в музее перед великой картиной. — Видите? — любовно оглаживает он ладонью грязную каменную поверхность. — Эти глыбы здесь явно чужеродны. Это же типичные олистолиты! Хрестоматийные! — выкрикивает он в азарте, и эхо разносит его голос по безлюдным подземным коридорам.

Мы все тупо молчим, включая горного мастера.

Слава переводит взгляд на меня, как будто ожидая, что же я на это скажу. Действительно, надо что-то сказать.

— Олистострома — и что? — говорю я. — Что это нам дает?

— Ну как же! — Петр Петрович глядит на меня почти с детским удивлением. — Это же — условия рудообразования! — Опустившись коленом в оранжевую жижу, он записывает что-то в новенькой полевой книжце. — Надо же, как повезло, — бормочет он, затем порывисто сбрасывает каску, отирает рукавом голову и, подсвечивая себе лампочкой, пишет дальше.

Славик строит мне рожу: вот так-то, мол!

Я смотрю на крепкую, похожую на булыжник лысину ученого, отражающую свет моего фонаря, и испытываю странное желание пошлепать по этой лысине ладонью.

— Южный забой будем смотреть? — выступает из полутьмы наш немногословный гид. Его налобный фонарик едва мерцает и моментами совсем гаснет, но я подозреваю, что этот подземный человек давно научился видеть в полной тьме, а фонарь у него лишь ради формы.

Петр Петрович энергично вскакивает на ноги:

— Обязательно! Всё будем смотреть!

Мастер отчего-то медлит.

— Какие-нибудь затруднения? — недовольно спрашивает ученый.

— Видите ли... — Горняк смущенно отводит глаза. — У нас сегодня такой день... Сегодня в наших горах состязания. По дельтапланеризму.

— И что?

— Ну... интересно ведь. И вы могли бы посмотреть. Обычно только по телевизору... — Молодой человек как будто чего-то недоговаривает.

— Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Сами же говорите: по телевизору показывают. По телевизору нам покажут все что угодно, а вот такого! — Ученый обводит светящимся третьим глазом мрачные, с изломами и черными трещинами стены. — Такого по телевизору не покажут.

Шагаем в следующий квершлаг, похожий на сильно увеличенную кротовую нору.



— А тут у нас что?! — прокатывается по тоннелю возбужденный голос ученого-крота. — Та-ак, прослой окремненных известняков. Оч-чень хорошо! Просто великолепно! Надо взять образец.

Похоже, он не видит ничего, кроме этих прослоев, даек, олистостром, думается мне. Его не впечатляет адов вид этого подземелья, не поражает тот факт, что мы сейчас на глубине почти в километр, на глубине, где ощущается тепло самой Земли, где нет воздуха и его приходится закачивать, чтобы не задохнуться.

— Плодотворно работнули! — торжествует Петр Петрович в лифте. Он держит под мышкой каску и вытирает лысину платком. — Исключительно плодотворно! Одна олистострома чего стоит! Все, завтра же берем с собой аппаратуру и снимаем.

— Скажите, — нерешительно обращается к нему горный мастер. — Эта олистострома... Скажите, дает это нам какую-то надежду?

— Какую еще надежду? — не понимает Петр Петрович.

— Ну... наш рудник... вы, наверное, знаете... убыточный. Запасы почти исчерпаны...

— Вообще, это имеет, скорее, научное значение, позволяет уточнить генетическую модель, но в конце концов — и структуру месторождения, так что...

— Поня-ятно, — протянул горняк с явным разочарованием.

В свет, в океан воздуха мы окунулись, словно в рай. Как будто заново обретаешь мир: с изумлением таращишься на деревья, на облако в небе, похожее на белый тюрбан, пыль, кружащуюся на дороге, на серое несуразное здание с высокой и еще более несуразной башней-надстройкой (не зная, и не догадаешься, что под ним скрывается шахта), на наш грузовик и возлежащего в его тени Бахтияра. И дышишь! Какой, оказывается, вкусный обычный земной воздух! Гудят жуки, выются мухи. А ведь всего несколько минут назад мы находились там... даже трудно указать где — под этой землей, чертовски глубоко!

Слава рассматривает на солнце похожий на карандаш, металлически поблескивающий кристалл антимонита. А где же наше «светило»? Примостившись на краю опрокинутой ржавой вагонетки с отломанным колесом, он сосредоточенно дописывает что-то в пикетажке. К нему подходит наш подземный гид, почти неузнаваемый без каски, в светлых брюках и рубашке, что-то спрашивает. Петр Петрович указывает карандашом на меня.

— Вы начальник, мне сказали, — подходит горняк ко мне. — У вас машина, — кивает он на нашу бортовуху. — Могли бы вы мне ее... то есть мог бы я ее у вас... арендовать, что ли? На один только сегодняшний вечер; с вашим водителем, конечно. Я заплачу, сколько скажете.

Он ожидающе смотрит на меня. Лицо у него в веснушках, совсем мальчишеское, но глаза взрослые, серьезные.

— Машину, значит? На один, говорите, вечер? — тяну я, как полагается важному начальнику. — Ну если только на один сегодняшний

вечер... тогда пожалуй. А заплатите водителю, Бахтияру, его это очень порадует. Но только чтобы машина была потом в полном порядке.

— Не сомневайтесь! — Горняк расплывается в улыбке (оказывается, он умеет улыбаться).

* * *

Неподалеку от нашего пристанища Славик обнаружил зону отдыха — небольшой парк и озеро. Мы отправились с ним туда перед закатом.

— Каков доктор наук, а? — хихикнул студент, пока мы шагали. — Ну прямо динамит!

— Это называется — производственный идиотизм, — небрежно заметил я. — Это когда человек не видит ничего, ничем не интересуется, кроме своей работы.

Озеро встретило нас пронзительной синевой. Теплое, почти горячее в верхнем слое, оно оказалось холоднящим в глубине и бездонным. Я, по крайней мере, сколько ни нырял, достигнуть дна не смог.

Накупавшись до головокружения, мы уселись на новеньких, отдающих деревом мостках. Ухоженные поляны, гравийные дорожки, купы фруктовых деревьев обрамляли водоем. Это, конечно, не Черное море, но тоже неплохо.

— Сейчас придем — и чаю с персиками! — блаженно вздохнул Слава.

Вдруг он расширил глаза и вытянул вверх руку.

Со стороны самой высокой горной гряды на еще светлом подрумяненном небосклоне скользил освещенный невидимым солнцем фиолетовый треугольник. Казалось, вот-вот растает в бледной голубизне, так призрачно он появился. Однако продолжал парить, постепенно увеличиваясь в размерах. Вероятно, это был запоздавший дельтапланерист.

Я невольно залюбовался полетом — плавными разворотами, наклонами крыла, парением в восходящих воздушных струях. Не верилось, что летает человек — без мотора, без парашюта. У меня заныла шея, а когда я снова поднял голову, искусственное крыло пронеслось совсем близко. Сделав еще два витка (мне почудилось, будто он целит прямехонько в озеро), дельтапланерист, зависнув на секунду подобно птице, упруго побежал по траве газона и уронил на землю крыло.

На скамье под деревом сидела компания ребят и девушек, и этот парень, в черном костюме, мотоциклетных очках и каске, махнул им рукой и принялся осматривать свой летательный аппарат. Его окружили, налили чего-то из термоса.

Направляясь к себе, мы со Славиком как раз проходили рядом. Планерист снял очки, и я вдруг с изумлением узнал в нем нашего давешнего горного мастера! Впрочем, сейчас это был совершенно другой человек: сжатые губы, напряженно сдвинутые брови, горящий взор.

— Из-под земли и сразу в небо?! Bravo! — обозначил я наше присутствие.

— А! — узнал он нас, обрадовавшись. — Так вы видели?!

— Ну еще бы! Спасибо за классное зрелище.

— Что вы! Это вам спасибо! — с чувством воскликнул он. — Благодаря вам сбылась наконец моя мечта! Видите ли, эту конструкцию я собрал год назад, когда еще функционировал у нас здесь дельтаклуб. Собрал, а как затащить эту штуку в горы? Проезжающих машин у нас не бывает, у нас тупик. При управлении рудника есть два узика, но в них он не влезет, а рудовоз начальство не даст, да они и не годятся, эти махины: загрузить в них, сгрузить — проблема, да и грязь в кузове... А вот ваш «газон» — в самый раз, прямо подарок! Знал бы наперед, мог бы на состязания записаться. Но я и так счастлив!

И он с улыбкой посмотрел на небо. Я тоже посмотрел на небо, на иззубренные синеватые горы, с одной из которых спорхнул наш крылатый горняк. Да уж, не ожидал я от него такой прыти.

Оставшийся путь прошел в молчании. Я думал о том, что завтра, до шахты, надо успеть позвонить Оксане — перенести поездку. Но думал я об этом как о чем-то незначительном. И мысль о теплом и ласковом Черном море почему-то не находила в душе прежнего счастливого отклика. Непривычно задумчив был и Слава.

На веранде уже горело электричество. Фруктовые деревья, пропускающая свет, нежно зеленели, словно вырезанные из нефрита. Звенели цикады, шумно бился о камни незримый поток. Машина чинно стояла на своем месте, как будто никуда не отлучалась.

Славик свернул по нужде за куст, а я поднялся по ступенькам. За стеклом веранды, точно в аквариуме, четко вырисовывалась фигура Петра Петровича, груда камней на столе. Сгорбившись и упершись локтями в столешницу, геолог держал перед глазами рыжевато-серый кусок горной породы. Я взялся за ручку двери. В эту минуту ученый, не меняя позы, перевел взгляд на окно. Я увидел его лицо. Поразительно: на нем было такое же точно отрешенно-восторженное выражение, какое я наблюдал четверть часа назад у спустившегося с неба планериста. Могло показаться, что этот пожилой лысый человек не стоит сейчас, ссутулившись, у стола перед кучей камней, а парит подобно Черномору — над скалами, домами, надо мной, в недостижимой вышине.



Когда мы говорим о современной «молодой литературе», мы имеем в виду явление не эстетическое, а исключительно поколенческое.

Это писатели, которые уже не жили в советское время, но сформировались как личности еще до времени цифрового. И потому, с одной стороны, им не свойственно «монологическое» восприятие мира: нравственные категории для них не заданы объективно, а обретаются в результате личного поиска. С другой стороны — мыслительный и творческий процесс у этого поколения органичнее, чем у следующих, и не сводится к комбинации готовых пазлов (то, что обычно называют «клиповым мышлением»).

Судьба «тридцатилетних» как поколения сложна и противоречива, однако для творчества все это может быть очень плодотворно.

Не буду говорить о поэзии, потому что она не является сферой моего непосредственного интереса. Но в прозе среди «тридцатилетних» много замечательных и уже достаточно зрелых авторов. Обычно я объединяю их понятием «новые традиционалисты».

...Появляются новые поэты и прозаики, молодая литература зарождается и проходит этап своего становления. Мне радостно, что рубрика, посвященная молодым, появилась теперь и в журнале «Сибирские огни».

Андрей Тимофеев,

председатель всероссийского Совета молодых литераторов
Союза писателей России

Дмитрий КОНОНОВ

ГДЕ-ТО СКАЗКИ БЫЛИ

Р а с с к а з

Между станциями Селенга и Тимлюй, когда Улан-Удэ уже проехали, но до Иркутска еще не добрались, поезд «Россия» делает крошечную остановку: вот протяжно загудел, заныл усталый металл где-то под полом, потом шестьдесят секунд тишины — и снова в путь.

Это не станция даже — так, полустанок, — но беленький киоск «В дорогу» приткнулся и здесь. Впрочем, окна все равно забиты фанерой. Облокотившись на сварные перила, смачно сплевывают на гравий местные мужики. Им скучно, поэтому они часто приходят сюда, заглядывают в окна вагонов, смотрят на проезжающих. Женщина с лицом обманутого вкладчика из выпуска криминальной хроники каждый день торгует здесь

яркими кладбищенскими цветами. Раньше она продавала усталого вяленого язя, вечно удивленных копченых карасей, а также жареную икру и молоки неизвестного происхождения. Год назад рыбы отчего-то не стало. О былых временах напоминает только резной деревянный поднос, который она придерживает задубевшими от ветра пальцами. Поднос пропах рыбой. Кладбищенские цветы, соответственно, тоже. Может, поэтому пассажиры их не берут.

Мимо женщины проходит парень с тяжелым туристическим рюкзаком. Он некоторое время с улыбкой рассматривает состав, вагоны которого выкрашены нарядным триколором и украшены золотистыми двуглавыми орлами. Парень что-то ищет в своем билете, находит, кивает сам себе, бодро поднимается по лесенке и скрывается в вагоне. Мужики у перил провожают его мутными взглядами:

- Чё-то сегодня порожняком составы идут.
- Да.
- А это кто зашел?
- Да кто его знает.

Поезд трогается, быстро набирая ход. Женщина снимает руки с подноса, цветы летят на ребристый металл полустанка. Она громко втягивает носом воздух и на выдохе длинно, затейливо матерится, помяная мужа-алкоголика, сломанную жизнь и равнодушного Бога, избравшего даосское недеяние. Здесь Бурятия, как-никак.

В плацкартном вагоне парень устраивается на своей полке. Расшнуровывает рюкзак: китайские резиновые тапки, сменная одежда, шуршащий пакет с едой, бутылка местной минералки со страшным названием. Книга в черном переплете без опознавательных знаков. Кроме него, в вагоне нет ни души: пандемия, люди предпочитают сидеть дома. Дверь купе проводника закрыта, парень несколько раз дергает ручку, ежится и уверенно снимает с боковой полки два пледа. За окном катится стылая осень. Красиво, но недолго: солнце идет к закату. С запада надвигаются плотные ватные тучи, значит, скоро мелкой крупкой посыплет снег. Не потому, что середина октября, и не потому, что ночью минус три, а без особых рациональных причин. Из вредного упорства.

В Иркутске вагон заполняют солдаты. Занимают пять купе подряд, включая боковые полки, в шестом купе размещаются еще трое и низенький смуглый лейтенант в нелепо сидящем камуфляже. Недостаток роста он с лихвой возмещает энергией и зычным голосом. Лейтенант бесстрашно врывается в каждый спор между подотчетными бойцами, превращая любое легкое недопонимание в полновесную громкую перепалку. Солдаты открыто ему не перечат, отводят глаза, но за спиной тихо смеются над крошечным человечком. Он будто и не замечает. Нервно сорвав с головы фуражку, вытирает низкий лоб влажной салфеткой из сетевого кафе и приговаривает:

— Ну нет, ну нет, в гроб меня вгоните, собачьи дети, — и тут же кричит сержантам: — Филиппов, Чухнов, весь взвод на месте, все тридцать три? Смотрите мне!

К ночи солдатам надоедает разговаривать, все расплзаются по местам. Кто-то читает, кто-то слушает музыку, экраны телефонов гаснут один за другим. Лейтенант играет с парнем в шахматы, обнаруженные на одной из верхних полок. Отбивает тревожную дробь ложка в стакане, по оконному стеклу лупит мокрый снег, храпит сержант за стенкой, идет неторопливая беседа.

— Мне тогда четырнадцать было, — рассказывает лейтенант. — Когда в девяностом все это началось. В городе Оше, слышал?

Парень задумчиво кивает, крутя в пальцах убитую пешку. Убитых пешек немало уже теснится у доски. Черный ферзь угрожает белому слону, и парень вспоминает, что в детстве называл шахматного слона офицером.

— Насыр, дружан мой, прибегает, зовет меня: «Чынтемир, Чынтемир, ты где? Бежать надо, чего расселся! Там наших режут, наших режут!»

Лейтенант кривится и залпом допивает водку:

— Отца моего так и не нашли потом. Мы с братьями ходили, искали, спрашивали, все больницы, все морги обошли. Думали, он в милиции, нас шуганули оттуда. У соседей двух сыновей недосчитались, у Малдыбаевых. Булат и Алымкул, до сих пор их помню. Они постарше были, сразу подались, где пожарче. Да и сгнули. А я? Завертело потом, закрутило, с семьей в Россию подался, а теперь вот, служу.

Парень разливает по новой. Длинный, с багровыми прожилками нос лейтенанта все ниже и ниже склоняется над доской. Начиная свой полупьяный негромкий рассказ перед благодарным слушателем, парень под конец замечает, что говорит сам с собой: его собеседник спит.

Едва слышен, доносится жалобный свист, затем он переходит в гул, вой, раскрывается, разворачивается железным веером — это встречный поезд погнал вагоны по левой, купейной стороне. В грохоте потонуло начало истории, лейтенант все клюет носом, а парень жестикулирует, изредка водружая на место съезжающую со стола пластиковую кружку, и рассказывает, рассказывает:

— Помню еще, где-то в конце второй недели такой случай был. Шесть утра, рассвело уже, а мы после бессонной ночи никакие. Всю ночь постреливали то тут, то там, не до сна было. К поселку приказали отойти, там хотя бы по очереди поспать можно, да еще у нас легкораненый один, руку немного цепенуло, но не страшно. Идем, короче, по краю поля, вдоль березовой рощи. Она длинная, но узкая, как бы язык такой, вся просматривается. Подлеска нет почти, ну мы в рощу и не заходим — так, огибаем осторожненько. Солнце светит, но не прогрелось еще, после ночи холодно. И голова чугунная. Смотрим — параллельным курсом с другой стороны рощи — идут, суки. Человек двадцать, в полном боевом, все как надо. Увидели нас. И ничего. Идут. Ну, мы тоже ничего. Идем. Воздух чуть прогревается — и птицы поют. Громко. Много птиц. И вот тут — твою-то мать — Валерка в воздух шмальнул, чтобы птиц пугануть. Пение ему, видишь ли, надоело.

Парень переводит дыхание, вновь проживая момент:

— Нет, ну идиот, идиот! Это кому рассказать — не поверят. Надо было додуматься: врага из-за деревьев видать, а Валерка очередью птиц пугает! Мы на измене идем, злые, заспанные — ну так и они тоже на измене. Тоже, небось, вымотались за ночь, никто воевать не хочет. А как услышали — что там началось, кино и домино! Уж конечно, подумали, что мы это по ним, легли, рассредоточились и принялись отстреливаться. Мы тут же на землю тоже, кто где стоял, Валерку кроют матом в хвост и в гриву, в мать и в отца. И вот так мы лежали, перестреливались, пять часов. Пять, сука, часов, до полудня. Нда-а, я, как домой вернулся, что-то резко мирную жизнь полюбил. А война — ну ее, войну. Никакая политика этого не стоит, никакая правда.

Утром лейтенант ворчит по-киргизски и громко икает. Он выпил у парня всю минералку со страшным названием. На прощание пожали друг другу руки. Солдаты покидают поезд в Красноярске, оставляя после себя обрывки пакетов от белья, скомканные и засунутые в самые неожиданные закоулки вагона.

На перроне крупный мужик с синей маской на втором подбородке задевает лейтенанта краем тяжелого чемодана и спешит прикрыть стыд хамством:

— Чё встал? Давай резче, дядька.

Лейтенант оборачивается и с удовольствием начинает перепалку. Он кричит на весь вокзал:

— Какой я тебе дядька, собачий ты сын? Я лейтенант российской армии!

Двое скучающих бойцов Росгвардии не спеша идут к месту перепалки, довольные солдаты скалятся в стороне. Дальше неинтересно. Новых пассажиров нет, парень опять один. Он надевает контактные линзы и читает свою черную книгу.

Поезд трогается, степь с перелесками. Отложив чтение, парень решает поискать проводника или хотя бы других пассажиров. Он идет в конец вагона, заходит в тамбур. Там зябко, гремит сталь, пахнет свежим куревом, даже бычок на полу как будто тлеет, но людей нет. Парень с усилием открывает тяжелую дверь, от холодного свежего воздуха перехватывает дыхание, другая тяжелая дверь — он оказывается в следующем плацкартном вагоне. Купе проводника заперто, пассажиров нет, только брошенные в беспорядке постели. Медленно, с опаской парень идет мимо липких сплюснутых матрасов, желтых подушек, комьев крахмальных простыней. Запах пота, освежителя воздуха, испорченной еды — он готов поклясться, что матрасы и подушки еще хранят тепло человеческих тел, но не решается коснуться, проверить. Не найдя никого, возвращается на свое место. В голове звучит отцовский голос, еще уверенный, громкий, без усталости и одышки:

— Ну хорошо, не хочешь рассказывать, что загадал в Новый год, — не рассказывай. Я тебе тогда про себя расскажу, я не суеверный. Я попросил, чтобы лет через двадцать, когда ты окончишь университет

и станешь работать в компании где-нибудь в Англии или Германии, ты забрал нас с мамой в маленький коттеджик на берегу реки, там мы и со-старимся. Заберешь ведь, правда?

На станции Тайга поезд стоит три минуты. В начале вагона слышны звонкие девичьи голоса, и спустя несколько минут в купе обживаются две попутчицы. Одна — дылда-колясочница в черных джинсах и черной футболке с двуглавым орлом. Черные крашенные патлы дополняют унылое бледное лицо. Ее спутница помогает ей пересесть, сворачивает кресло и ловко пристраивает его в верхнем багажном отделении. Она совершенно другая: маленькая, жизнерадостная, в ярком свитере цвета спелой тыквы, с копной непослушных рыжих волос. Увидев парня, она кокетливо подмигивает ему, не замечая укоризненного взгляда подруги.

— Давай знакомиться, — рыжая уверенно протягивает маленькую кисть через столик с рассыпанными шахматами. — Я Алка. Это Галка. Мы сестры. А ты?

— Ваня, — улыбается парень.

— Аля, маску надень, — сухо напоминает сестра, поправляя резинки за ушами.

Та смешно морщится и машет рукой:

— Да ну, глупость какая. Лучше уже переболеть и успокоиться. У нас папа умер, — вдруг сообщает она. — Нет, не ковид. А давно уже. Сто лет назад. Поэтому мы друг о друге заботимся. У нас никого больше не осталось.

— Наверное, к друзьям в гости едете? — Ваня пытается сменить тему: особенно его донимает тяжелый взгляд над черной маской.

— Нет, — на этот раз внезапно отвечает Галя. — По работе. Яблоки везем, на продажу. Можешь купить тоже, кстати. Хочешь? Пятьсот рублей килограмм.

— Дороговато, вам не кажется?

— Да они же целебные, — возмущается Аля. — Лечат любой недуг. Сейчас это особенно актуально, правда? Не веришь? Возьми на пробу!

Ваня не успевает возразить, она достает из сумки бело-красную антоновку, сбрызгивает ее из оранжевого садоводческого пульверизатора и энергично трет о свой внушительный бюст под тыквенным свитером.

— На, — она протягивает яблоко жестом, не приемлющим отказа. — Это бесплатный образец.

Темнеет, как всегда, рано и быстро. Чем ближе к Новосибирску, тем больше построек за окном. Оранжевые огни, смазанные на мокром стекле. Гравийные насыпи у черных невидимых стариц с чудными именами: Ик, Иня, Оёш. Так не называют реки, так кряхтит стольпинский переселенец, когда телега подсакивает на ухабе.

Шуршит под столом пакет, набитый яблочными огрызками. Аля накрывает ноги сестры пледом («Галка у нас мерзлячка»), снимает свитер и остается в коротенькой белой футболке («А мне всегда жарко»). Затем она устраивается поудобнее и слушает Ванины истории. Она не сводит с парня внимательных птичьих глаз, цепко держит в когтях кружку

с остывшим кофе. Так и не сняв маски, Галя спит, и Ване это по душе. Он с воодушевлением описывает свою прежнюю работу, старается впечатлитель Алю. Впечатлитель не выходит, но Аля благосклонна даже к такой нелепой попытке.

— Конец мая и все лето я землекопом проваландался, вначале в Хакасии курганы копали, потом на Алтае, городище какое-то. Душевно с этими историками, но платили не очень, в начале сентября подался на большую землю, в город. Решил найти какую-нибудь работу до весны и снять комнату. Устроился охранником в магазин «Весы». Такая, значит, маленькая лавочка три на три метра, и чего там только нет. Карты таро, руны, минералы, гадальные доски, книг просто куча, про всякую пофиготень. Свечи, эфирные масла, подвески какие-то от сглаза, ловцы снов — в общем, ассортимент богатый, но на любителя.

Аля будто невзначай касается своего золотого крестика на цепочке:

— Я в эти вещи не верю, но ты продолжай. — Смущенная улыбка. — Ты мне нравишься.

Окрыленный, Ваня продолжает:

— Любителей в городе, видимо, было маловато, дела у магазина шли кое-как. Но без охранника нельзя: то бомжи зайдут погреться, то покупатели сопрут что-нибудь. В общем, хозяйка велела мне сидеть у входа спиной к двери, лицом к открытым витринам, и смотреть, чтобы ничего не украли. Так я и просидел неделю, научился одним глазом следить за клиентами, другим — книжку читать. А потом у продавщицы заболела дочка, и пришлось ей у хозяйки отпроситься. А другого продавца нет. Что делать? Ну, хозяйка меня и назначила продавцом. Работай, мол, консультируй клиентов и одновременно охраняй точку.

Аля ставит на столик кружку, медленно встает, чтобы не разбудить сестру, садится на Ванину полку и торопливо кивает смущенно замолчавшему парню:

— Все хорошо, ты продолжай. Я вся внимание.

Ваня с трудом отрывает взгляд от ее голых рук и продолжает:

— Ну я подготовился, конечно. Книжки полистал — те, что мы продавали. И в первый же день придумал такую штуку. Сам не знаю, как меня черт дернул...

— А, а, а, — игриво грозит пальчиком Аля, едва не касаясь Ваниных губ. — Никаких мне тут чертей. Если пришла хорошая идея, они тут точно ни при чем.

— Э, ну ладно, как скажешь, — еще сильнее смутился Ваня. — О чем я? Да, в первый день приходит одна женщина. Мне, говорит, доску Уиджа. Причем обязательно с инструкцией и списком духов, которых можно вызывать. Я говорю: пожалуйста, вот есть маленькая. Хотя у нас есть и большие, но они для посвященных. Круг духов, которых с их помощью вызывают, значительно шире, но ими могут пользоваться только адепты, прошедшие подготовку и имеющие опыт. Она слушает, дура душой, уши развесила. Я хочу большую, говорит, зачем мне маленькая? А я стою на своем: не могу вам ее продать, ваши беды потом будут на

моей совести, оно мне надо? Если хотите, возьмите сейчас маленькую и оставьте телефон. Мы как раз организуем курсы для адептов-гадателей, до конца недели перезвоним вам и все объясним, где и когда они будут проходить. Так она не только доску с руками оторвала (маленькую я ей в два раза дороже продал, вовремя ценник убрал), еще и номер оставила, и подруг обещала привести на курсы. Потом девочка приходила, за черными свечами. Ну я ей выдал: даже не пытайтесь подступаться к этому в вашем возрасте! Вам вначале нужно обучиться. Вы, говорю, что себе думаете: будто я не знаю, для чего черные свечи нужны? Она дрожит, чуть не сбежала. Ну я ей загнал три брошюры по викке, тоже с наценкой. И взял с нее слово: прочитает, выучит наизусть — пусть приходит, я ей экзамен проведу на знание основ оккультизма. Если сдаст — продам специальные черные свечи из Иерусалима. Если не сдаст — значит, плохо учила, не готова еще.

— Ты их обманул, — шепчет Аля.

— А вот и нет! — с жаром возражает Ваня. — Если человек из всех сил хочет верить — это не обман. Это даже мой долг: помочь ему в этой вере, укрепить ее, понимаешь? Я не собираюсь их судить, в разумные вещи они верят или в ерунду — это не мне решать. Кто я такой, всеведущий, что ли? Нет. Я просто совмещаю приятное с полезным. В этом магазинчике люди обретали высший смысл. Они приходили — кто от отчаяния, кто от скуки, кто из гордыньки, кто из любопытства, — а уходили, неся веру. Она согревает. Она дарит тепло, когда тебя уже от всего воротит: от самоизоляции, от морд в масках, от страшных новостей, закрытых границ, непрошенных советов. Ты был пленником всего этого и ни черта...

— Ваня!

Он только отмахнулся.

— ...Ни черта не мог поделать. А теперь вера дает тебе реальную власть над вещами. Или иллюзию власти, но только тебе решать, что иллюзия, а что реальность. И ты, конечно, — запуганный, слабый, больной, ни в чем не уверенный — решишь, что твоя вера истинна. Что дух во время гадательного ритуала подскажет, как вылечить больного родственника. Что таро приблизят исход тяжбы с управляющей компанией. Что амулет вернет парня. Что руны найдут хорошую работу. Контроль над своей жизнью, контроль и спокойствие. И в дополнение к этому пара книжонок за пятихатку или колода карт за косарь — разве это большая цена? Это даром.

Аля вернулась на свою полку и смотрит в окно. Кажется, она грызет ногти. Ване стыдно, он сбавляет тон:

— Чем страшнее мир вокруг, тем больше люди нуждаются в вере. Не я создал их такими, так в чем я-то виноват?

Аля отвечает, не сводя глаз с черноты за окном:

— Не ты их создал, всё так. Их создал папа. Но даже папа не опустился до того, чтобы обманывать людей. Предлагать им ложь под видом веры.

Ваня непонимающе смотрит на Алю.

— Папа? Что ты говоришь?..

— Знаешь что? — перебивает его Аля. — Я хотела поцеловать тебя. Но теперь ничего не будет. Спокойной ночи.

Она будит Галю, помогает ей улечься на нижней полке во весь рост, затем ловко забирается наверх и немедленно засыпает. Каким-то чудом тут же засыпает и Ваня, возбужденный сверх меры. Просыпается он поздним утром, когда Новосибирск остался позади, а о сестрах напоминает только пакет яблочных огрызков и золотистое маховое перо, вложенное в его черную книгу. Беглый поиск в Сети показал, что перо фазанье. Странно, откуда они здесь?

Какое-то время Ваня едет в полном одиночестве. Он не спеша прогуливается, хватается за поручни и верхние полки, когда вагон трясет на стрелках. Иногда открывает книгу. Ненадолго, впрочем. Смотрит в окно, подпирая щеку кулаком. Снегопад в этих краях был слабый и давно: белеет только в канавах и изредка под деревьями, хотя впереди, по ходу поезда, все небо затянуто черными тучами. Людей в деревенских огородах не видать, только дым идет из труб то тут, то там — субботние бани, должно быть. Ваня решает осмотреть еще пару вагонов. Тамбур, дверь, грохот состава и свист ветра, чернота идет с запада, редкие снежинки задувает за шиворот, дверь, купейный вагон. Двери нараспашку, все так же пусто. Здесь давно никто не живет. Даже в процеженном свете быстро гаснущего дня видно, как надменная пыль танцует в затхлом воздухе, среди ковров и полировки, среди дребезжащих зеркал и позабытых выпотрошенных портпледов. Пахнет одеколоном и жалкими претензиями. Ваня вспоминает мечтательные улыбки девушек из университета:

— Что? Да меня там уже ждут.

— Кто, твой Дэннис?

— А хоть бы и Дэннис. Он классный. Полтора годика осталось отлучиться — и все, валю отсюда. Неделю поживу в Нью-Йорке, а потом к Дэннису.

— Слушай, а напomini насчет Германии: ты в какой визовый центр обращалась?

— У меня где-то адрес был записан. Сейчас, погоди...

В Барабинске поезд встречает очередная пустая платформа: не на что смотреть. Вернувшись из туалета, Ваня обнаруживает нового соседа — это поджарый бритый мужичок неопределенного возраста, упакованный в синий лоснящийся спортивный костюм. Кожаная куртка вместе с кеппой интеллигентно висят на крючке для одежды в изголовье полки. Шахматы сдвинуты ближе к окну, на столике бутылка водки и двухлитровая мандариновая фанта. Увидев Ваню, мужичок скалит плохие зубы в приветливой улыбке:

— Ну здорово, землячок. Давай знакомиться. Как звать?

— Ваня.

— Ну здорово, Ваня, — повторяет мужичок с той же интонацией. — А я Костян. Далеко едешь?

— До Москвы.

— Ох ты ж, до Москвы. Ты важный, получается? Ну, важный?

Есть в Костяне болезненная напористость, самые простые фразы он произносит, будто играет в очень сложную игру и откровенно наслаждается тем, что собеседник не знает ее правил. Ваня пожимает плечами, садится на свою полку и берет в руки книгу, собираясь закончить неприятный разговор:

— Не думаю, что важный. Просто в Москву еду.

— Неправильно отвечаешь. — Костян разочарованно качает головой, расстегивает спортивную куртку и чешет грудь под грязноватой белой футболкой. — У тебя спрашивают: кто ты по жизни? Надо четко отвечать. Вот я вор. Вор по жизни, потому что лохом никогда не был и не буду. Понял?

Ваня вежливо кивает и собирается читать.

— погоди, землячок. Сортир тут где? — Костян покрутил в воздухе большим пальцем. — С той стороны или с этой? А то я чё-то проскочил, не понял ничего.

— В том конце, слева две двери.

Костян резко встает и с размаху ударяется макушкой о верхнюю полку. Схватившись за голову, он с причитаниями и ругательствами садится обратно. Щупает макушку, затем несфокусированным взглядом рассматривает пальцы:

— Крови нет, нормально. Да не кипешуй ты, я столько раз башкой бился, ничё. Заживет. — Он откидывается на мягкую стенку и смотрит вверх, вновь обнажая зубы. — Вот падлы, повесили шконок, держат нас тут в тесноте... А башка у меня железная. Меня раз табуреткой по башке били-били, били-били — и ничё. Табуретка сломалась, а башка — вот она, целая.

Он довольно смеется и тут же всхрапывает, заходитя в кашле. Ваня, так и не открыв книгу, смотрит на него — то ли ждет продолжения истории, то ли готовится оказать первую помощь. Этот новый попутчик пробуждает отвращение пополам со стыдным любопытством: так порой рассматриваешь задавленного велосипедом умирающего голубя, агония птицы вызывает безотчетный неестественный интерес.

— Я не тубик, — справляется с кашлем Костян. — И не вирусный. Смолю много, это да. И в тубдиспансере тоже лежал, было дело. Но ничё, вылечили. А чё? Два месяца лежишь, как царь. Никуда тебе не надо, кормежка, кровать нормальная, а что колют — да и пусть. Я прям оттянулся тогда.

Обжившись в вагоне, Костян принимается сооружать себе ужин. Приносит лохань желтушной лапши, залитой кипятком, обильно солит ее из самодельной солонки, крошит в лапшу сосиску и заливает все это майонезом. Открывает водку:

— Ну чё, землячок, накатим, чтоб дорога под колесами прошла, нас не задела?

Ваня нехотя соглашается, пьет. Туман от дешевой водки собирается мгновенно, возникает приятная расслабленность, хочется душевного раз-

говора. Хочется искренности, какую можно позволить себе только с попутчиком в поезде: человеком, которого видишь в первый и последний раз. Сквозь пелену проступают куски историй — их у Костяна, кажется, без счета, простых и при этом странных.

— Я бессмертный, в натуре. Вот не верь, не верь, мне вообще по барабану. Я-то знаю, что бессмертный. Сколько раз помирал, так и не помер.

Под Тамбовом меня когда расстреливали, я со всеми в ту яму упал. Все, думаю, прощевайте. А потом чую — жив. Жив, пуля как-нито миновала. Ну, я затихарился, справа и слева-то все жмуры лежали. А ночью, когда тихо стало, ползком-ползком — и в лес.

На Акатуе от цинги доходил, зубы все повыплюнул, кровяца из всех дыр лезла — дошел, вроде. Бросили в яму, да не засыпали. Решили, на завтра еще двое в бараке дойдут — тогда всех единым махом. Зима на дворе, за ночь не завоняет. Ну а я живой. Так по снежку, по снежку — и на волю.

Когда в лесничестве работал под Пермью, пили мы, конечно, аккуратно, это уж как положено. Тормозуху если зимой по лому лить, то вся дрянь примерзает, а то, что льется, уже и пить можно. Ну однажды маленько того, поплохело нам с мужиками от тормозухи. Не все, видать, примерзло. Трое откисли в больничке уже, ну и я с ними. А потом ничего, в морге уже очнулся. Одежку какую-то в шифоньере нашел — и домой.

И на шконке меня резали, это в Чите уже. Но не дорезали. Выжил. Везде выжил. И дальше жить буду. Бессмертный потому что.

Костян показывает татуировку на правом предплечье.

— Видишь, иголка? Вот она, смерть моя. Иголочкой этой мне мусора сроки шьют. Но пока не сшили. Рвется у них, — он опять смеется, страшно, надсадно, с подвыванием. — Рвется ниточка-то!

Он кашляет, стучит кулаком по столу, шахматные фигуры падают в пакет с яблочными огрызками, мандариновая фанта протестующе шипит. Трясется некрасивая голова с вмятинами и шишками, обтянутое бледной кожей лицо напоминает оскаленный череп, брызги вязкой табачной слюны летят на черную книгу. Ваня убирает ее подальше.

— Ну а ты чё расскажешь? В Москву зачем едешь?

Ваня с сомнением смотрит на свою книгу:

— Глупая история, если подумать. Погорел. Я в Якутии вахтовиком в одной лаборатории работал. Работа денежная, не пыльная. Просто нормально все делай — и путем. Три месяца работаешь, один отдыхаешь. И ни о чем голова не болит — только бы в лабе порядок был, и все по госту. Стою я как-то на крыльце нашего корпуса, то есть у самого входа в лабу, думаю до курилки дойти, проветриться. Смотрю, идет пацан такой очкастый, вроде как наш, с биркой, в халате. Но не узнаю его. Новенький. И три коробки с какими-то бумагами тащит. Весь в мыле, сейчас грохнетя. Видимо, прет он их на себе от самой проходной. Остановился перед моим крыльцом — и говорит, так и так, разрешите, я тут коробки оставляю минут на пятнадцать, а сам пока за остальными схожу? А то там



еще много, в машине на проходной, а я единственный мужчина в отделе документооборота, мне одному их все и таскать. А я, вот как назло, в тот день был дежурным по лабе. Не хватало, чтобы эти коробки завождем заметил. Я ему и говорю: иди давай отсюда, студент, нечего тут проход загромождать. А он посмотрел на меня и так спокойно отвечает: ладно, я пойду отсюда, но и ты тоже очень скоро отсюда пойдешь. Короче, оказался он не простым человечком, а племянником гендирера, его взяли чисто для виду на месяц в документооборот, чтобы потом оттуда официально перевести в головной офис в Питер. В тот же день меня в кадры вызвали и турнули «по собственному желанию».

— Во суки, а. По беспределу чисто, — возмущается Костян, и тут же, без перехода: — Давай еще по одной. Плюнь ты на этих... Выпьем, и пусть их всех там по кругу, в офисах этих.

Они чокаются чайными стаканами и пьют. Водки остается едва ли четверть бутылки.

— Так ты мне главное не сказал, — вспоминает Костян. — Чё в Москву-то едешь?

— Да мать у меня там, — врет Ваня. — Пока у нее поживу, работу найду. В Москве работа всегда есть.

— Это точно.

Остаток пути захмелевший Костян проспал. Он сходит с поезда в Омске, на прощание во второй раз приложившись макушкой о верхнюю полку.

Ване становится страшно в пустом вагоне. Он поднимает опущенную накануне шторку и тотчас опускает ее: непроглядная тьма, только мокрый снег липнет к стеклу. Ваня решает найти людей любой ценой. Плацкартные и купейные вагоны зияют пустотой, это даже не удивляет, так и должно быть. Голос старого приятеля звучит как живой:

— Вань, тут такое дело. Мы с Оксаной решили, что пора уезжать. На ПМЖ. В Торонто, в мою контору. С визой дело небыстрое, но там нужно экзамен на знание английского сдавать, нехилый такой. Ты бы взялся за пару месяцев Оксанку к экзамену подготовить, пока она еще в декрете?

Тамбур, дверь, чернота — острая, какая-то угловатая даже, — цепоть снега прилетает прямо в глаз. Дверь. Ресторан, такой же безлюдный, как и все вагоны до него. Здесь пировали. Поверх некоторых столов лежит свежий сосновый горбыль, с роскошным варварством крытый парчой и белыми скатертями. На нем теснятся блюда с сибирскими рыбинами, вазы икры, куры в фольге, стрипсы в панировке, Coca-Cola и «Столичная» вперемешку с вечной желтой лапшой, балыками и языками. Какой-то остряк повесил на копченый свиной окорок макраме из копченого сыра-косички. Ящики пива дребезжат по углам, из упавшего полотняного мешка рассыпалась по полу крупная свекла в комьях черной земли. Ване очень хочется есть, но нельзя. Он идет дальше.

Кухня, тамбур, дверь, чернота непроглядная, ледяной ветер обжигает лицо и легкие, Ваня кашляет, дверь, голова состава, кабина машиниста.

Никого. Увлекая за собой семнадцать пустых вагонов, несется страшный железный поезд «Россия», свистит и матерится металл, гудят и воют колеса, сердечными ударами отбивая окончание каждого рельса. Ваня спокойно смотрит вперед, в окно, оттуда на него спокойно смотрит черное ничто, и мощные фары будто погасли, не в силах разогнать этот мрак.

Ваня садится на холодный пол, прислоняясь спиной к пульту управления локомотивом, и закрывает глаза. Он устал и голоден, он хочет покоя, но покоя не будет, куда идет этот поезд. Ключет носом над чашкой кофе в чипке ершистый, но добрый и безвредный дядька Чынтемир, давно оставшийся без знаменитой своей бороды. В привокзальном шалмане «Райская птица» сидят печальные сестры. Галка, нахохлив черные перья, поет песнь о гибели царей земных, а румяная златоперая Алка, обнимая пьяньенского кавалера, вторит ей, но ее песнь чуть иная, там за скорбью следует надежда. Обмыв удачную кражу, Костян Бессмертный лезет в драку с пьяными подельниками и получает нож в печень. Над серой иссохшей плотью никакой нож не властен: лежа в карете скорой помощи, Костян досадует, что очередной удар не стал смертельным.

...Ваня не помнит, сколько просидел в кабине. Ноет поясница, он медленно поднимается на ноги и снова глядит вперед. Там, где по справедливости мог бы находиться горизонт, мрак прорезают едва уловимые проблески: не то долгожданный рассвет, не то молнии, не то колесо в небесах. Между станциями Селенга и Тимлюй мужики у перил провожают эти проблески мутными взглядами:

- Чё-то сегодня непогода.
- Да.
- А погода когда?
- Да кто ее знает...



Полина КОРИЦКАЯ

**ШЕСТНАДЦАТЬ
СЧАСТЛИВЫХ МИНУТ**

* * *

Давай поиграем, что ты — Модильяни,
Я — двадцатилетняя девочка Аня.
Запечатлевая черты,
Ты кистью ведешь по бумаге, бумага
Плывет в акварели и пахнет, как брага,
Как пахнут любые цветы.

Давай поиграем: ты вышел из дома,
А я подошла, тебя нет, неудобно —
Но времени в принципе нет,
И вот, обрывая французскую клумбу,
Курю между делом (спасибо Колумбу) —
Ну где уже этот брюнет?

Ну где желтобрюкий, несносный, несносный,
Его затянули дурацкие сосны,
Я небу — кулак и язык.
В окно — все цветы, и цветы улетают,
Давай поиграем, давай поиграем,
Давай, ты азартный мужик.

Окно высоко, но какое мне дело,
Цветка улетает небесное тело,
И доски паркета цветут.
А я все стою, ты несешься навстречу,
И есть у нас планы на жизнь и на вечер —
В шестнадцать счастливых минут.



* * *

Станет луковка смоковницей,
Молча встанет в изголовье.
Я была твоей любовницей,
Чтобы сделаться любовью.

Листья, падая, как новости,
Ощущаются спиною.
Я была всего лишь совестью,
Чтобы после стать виною.

Тело предоставь парению
От ствола. Лежи ничком.
Я твое сменила зрение,
Став зрачком.

* * *

никогда говорю всегда
и последний скажу смеясь
я несу на плече кота
не боится мой кот упасть

кто-то косится срамота
я всегда хоть немного ню
я держу на плече кота
и его я не уроню

котопадов ушли года
и безвременно унеслись
я несу на плече кота
мы носы задираем ввысь

там на небе свои стада
кучерявый пастух пасет
я держу на плече кота
не пойму кто кого несет

* * *

Что рассказать тебе? Разве, пожалуй, что
Снега нет. Говорят, не будет его совсем.
Вроде полно работы, при этом опять застой.
Кот все растет и обои дерет со стен.

Мне это нравится, а может быть, все равно.
Хочется выспаться, а может быть, умереть.
Впрочем, я бы сходила сейчас в кино.
Ты посоветуй, что мне там посмотреть.
Ладно, забудь. Я хандрю иногда зимой.
Это все холод. Я не болею, нет.
Просто я не хочу к себе приходить домой.
И выходить — не очень-то нужно мне.
Нет, я не против, ведите меня вперед,
Я даже накрасу губы, не подведу.
Хотя для чего теперь выходить в народ?
Есть же «vk», «fb», «инстаграм», «юду»...
Есть сорок «лайков» и лай десяти сорок,
Вот и выходит практически разговор...
У старшей добавили в школе седьмой урок.
У младшей — вывели всех во двор.
И я ее забрала, мы пошли гулять.
Она все грустит по снегу... Я — не грущу.
Просто хочу не двигаясь тут стоять.
Хотя — я и этого, кажется, не хочу.
Старшая требует сделать опять каре.
Закрываю глаза, говорю себе: «Боже мой...»
Потом все стою в бесснежном пустом дворе
И долго дышу перед тем, как зайти домой.

* * *

Я не знаю, что это такое,
Когда дни прозрачны и ясны.
Я прошу у Господа покоя,
Акварельно-матовой весны.

Я прошу о свете приглушенном,
О мотиве легком, заводном.
И о госте — пусть не приглашенном,
Но таком знакомом и земном.

О тепле и мудрости смирения
Каждого назначенного дня.
Словно жизнь моя — стихотворение,
Созданное Богом для меня.

Дмитрий РЯБОВ
Юрий ЧЕПУРНОВ

ТАНГО С МАНГО

Комедия в одном желании

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Таня, инспектор отдела кадров, 28 лет.

Юля, подруга Тани, 30 лет.

Артем, друг Тани, 28 лет.

Игорь, друг Тани, 32 года.

Сергей Николаевич, старший по подъезду, 54 года.

Рабочий, парень среднеазиатской национальности, 25 лет.

Однокомнатная квартира. Посредине комнаты стоит большая сумка.

Из кухни выходят Таня и Юля, рассматривают окно.

Юля. Его вместо тюля прицепить, задернуть шторы — и нормально!
Шторы-то у тебя романтические... Но легкие!

Таня. У меня свечей нет.

Юля. Свечи я взяла. Красные, по форме сердца. Мы как сядем кушать, свечи будут, знаешь, так... трепещать.

Таня. Трепетать.

Юля. А?

Таня. Трепетать. От страсти. Юль, знаешь...

Юля. Да-да-да! От страсти! В полутьме... Трепетать!

Таня. О боже...

Юля. И я такая, как Анджелина Джоли! Романтично?

Таня. Окно для этого обязательно одеялом завешивать?

Юля. Это же романтический ужин при свечах!

Таня. Утром?

Юля. А вечером у него поезд. Одеяло давай. У тебя же двуспальное?

Таня. Мне зачем двуспальное?

Юля. Совершенно не думаешь о будущем. Абсолютно! Тогда нужно два. И заметь, я простыни не прошу. Я со своими.

Таня. Как хоть зовут одноклассника?

Юля. Геннадий Витальевич. А для меня — Гена... *(Открывает стоящую посреди комнаты сумку, роется в ней.)* Просто Гена...

Таня. Юль, слушай...

Юля. Не опоздаешь к Игорю? *(Достает из сумки пакет майонеза.)* Салат еще надо... Яйца где у тебя?

Таня. Я не поеду. Я остаюсь.

Юля. А где скатерть, что Игорь тебе дарил?

Таня. Там где-то...

Юля. Что значит — остаюсь? Где?

Таня. Здесь. Дома. И яиц нет.

Юля. Мы ж с тобой договорились! Он же школьная любовь! У него ж командировка! Мы с ним десять лет не виделись! И поезд вечером!

Таня. Может, в другой раз при свечах? Просто Гена ведь еще придет, наверное.

Юля. Ты подруга или кто?

Таня. Мне дома надо быть. Прямо надо. Надо-надо!

Юля. Ты подруга или кто?

Таня. Ко мне сегодня ангел придет.

Юля. Ты подруга или... Кто-кто?

Таня. С девяти до шести сказали ждать. Ангел.

Юля. Какой еще ангел?

Таня. Вот и мне интересно.

Юля. Таня, ты взрослая девушка. Работаешь в отделе кадров. И всяких кадров насмотрелась. Там ведь просто мелькают эти кадры?

Таня. Прямо двадцать пять кадров в секунду...

Юля. Ангелов нет. Нет ангелов, Таня!

Таня. Я знаю.

Юля. А Игорь есть. Он тебя в магазине ждет — обои выбирать. Квартира у него хорошая, в ипотеку. Хороший район. И сам Игорь хороший.

Таня. Хороший...

Юля. Лучше Артема. Очень платежеспособный!

Таня. Он простит, что я не пришла.

Юля. Я что, для себя это делаю — свечи, простыни, салаты? Я в браке состою, мне эта романтика не уперлась! Мне супруг денюжку приносит, я могу и дома покушать. Как у людей, по-семейному!

Таня. И отлично! А ко мне ангел придет.

Юля. Так и будешь всю жизнь в своем отделе на побегушках?

Таня. Ты-то вообще у мужа на шее сидишь.

Юля. Я хозяйство веду. А супруг меня любит.

Таня. Про одноклассника Гену он знает?

Юля. Между прочим, Геннадий Витальевич жены твоего начальника свекра — племянник! Он может поговорить с теткой. А тетка намекнет начальнику. Через супруга.

Таня. Намекнет на что?

Юля. Нам с Геной нужно все обсудить наедине. Понимаешь? Ради твоей карьеры я нарушаю святые узы брака. *(Всхлипывает.)* Мы ведь подруги?

Таня. Может, он раньше придет. Выполнит желание — и ужинайте хоть до завтра.

Юля. Какое желание?

Таня. Позвонили утром, сказали: придет ангел, выполнит одно желание.

Юля. Ангела вообще-то не видно! Как ты узнаешь, что он пришел? Перья зашуршат?

Таня. А почему тогда звонят, чтоб ждала?

Юля. То и звонят. Разводят, поди, на денюжку! Где ты нашла ангела этого? Где?

Таня. У магазина. Девочка с анкетой: «Есть у вас заветное желание? Хотите, чтобы оно исполнилось?» Есть, говорю, хочу, говорю.

Юля. И все?

Таня. Телефон записали. Сегодня позвонили. И все.

Звонок в дверь. Таня бежит открывать, Юля быстро достает телефон, набирает и отправляет СМС. Входят Таня и Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич. Розетка в кухне есть пустая? Мы быстро. Час-полтора.

Таня. Я, вообще-то, гостя жду.

Сергей Николаевич. Над тобой три этажа и под тобой — пять. И все хотят, чтоб зимой тепло было. А горячий стояк ржавчиной забился. В ноль! Знаешь, чего хочу? Дверь пока не запирай, здесь ходить будут.

Юля. Кто это здесь ходить будет?

Сергей Николаевич. Холодильник отключи. И сдвинь, чтоб к стояку подлезть.

Юля. Отключить? А салат куда?

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Чтобы кто другой всем этим занимался. А кто другой-то на подъезд стояк заменит? Она? Или вот ты?

Юля. Почему вы на «ты» сразу? Я тут в гостях.

Сергей Николаевич. Ты в гостях, а я по делу.

Таня. Предупреждать надо о таких делах!

Сергей Николаевич. На подъезде три дня русским языком висело.

Таня. Не видела я.

Сергей Николаевич. Все видели.

Таня. А я не видела!

Сергей Николаевич. Я лично вешал.

Таня. Вы что, весь пол раздолбите? А я хозяйке что скажу?

Сергей Николаевич. Снимаешь?

Таня. А нельзя?

Сергей Николаевич. Не свое, так пусть и мерзнет? Знаешь, чего хочу? Гость когда будет?

Таня. В любой момент! Понимаете, сейчас нельзя тут...

Сергей Николаевич. Замужем сама-то?

Таня. Вам какое дело?

Сергей Николаевич. Гостю скажи, пусть холодильник сдвинет. От стояка.

Сергей Николаевич выходит.

Юля. Если честно, тут зимой и правда холодно.

Таня. Бесит! Бесит! Бесит!

Юля. Час-полтора — это нормально. Гена только через три сможет.

Таня. Какой еще Гена?

Юля. То есть ты реально решила ангела ждать? Ангела?

Таня. Говорю же: позвонили...

Юля. Чего не предупредила тогда? Чего не предупредила утром?
Я бы не мчалась!

Таня. Прямо пред твоим приходом позвонили. Вот прямо-прямо!
Не успела...

Юля. А кто знал, когда я приду?

Таня. Никто. Мы.

Юля. Так-так... Мы.

Звонок в дверь. Таня бежит к двери. Входит Артем.

Артем. Двери настезь, сердце настезь! Юльчик! Таньчик! Бегу-бегу! Опоздал на двадцать минут. На двадцать!

Юля. Вообще не смешно, Тёмочка.

Артем. Немедленно в кресло! Таньчик, расческу, гель, фен! Мастер чувствует вдохновение! Заводим танго с манго! Таньчик?

Таня. Ремонт у меня. И гостя жду.

Юля. Про ангела и желание ты придумал? Да, Тёма? Ты звонил про ангела?

Таня. Почему не сказала, что еще и Тёма будет?

Юля. А что мне — без укладки, что ли? Я думала, ты уже уйдешь.

Таня. Умные все какие!

Артем. А в чем проблема? Юльчик, укладочку-то делаем, да? Под Анджелину Джоли?

Юля. Для супруга, что ли? Лучшая подруга квартиру зажала...

Звонок в дверь.

Юля. Вот он, ангел твой! Что не бежишь-то?

Таня. Там открыто.

Артем. Секундочку. Какой ангел?

Таня. Такой. Надоело объяснять.

Раздается несколько настойчивых звонков. Таня бросается в коридор.

Юля. Точно не ты звонил? Тёма?

Артем. Клянусь! Что за ангел-то?

Юля (*подозрительно*). С крыльями.

Входят Таня, Сергей Николаевич и рабочий с инструментами.

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Не закрывай! Открыть-закрыть, время тратим, а время считанное, кто платить будет, я, что ли?

Артем. Это я захлопнул, а то сквозняк. И теперь что?

Сергей Николаевич. Ты холодильник от стояка сдвинул?

Артем. Пф! У меня, вообще-то, другая профессия.

Сергей Николаевич (*Тане*). Его, что ли, ждала?

Юля. Ангела она ждала! Как по-вашему, есть на свете ангелы?

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? (*Рабочему*.) Начинай там, я еще зайду.

Рабочий проходит в кухню, Сергей Николаевич выходит. На кухне раздается грохот отодвигаемой мебели.

Артем. Это что за крепкий хозяйственник?

Таня. Старший по подъезду.

Артем. Заметно. Брутальный полубокс из экономии. И шею не бреет.

Юля. Вот такой ангел и придет. И всю квартиру вынесет, да-да!

Таня. Может, это мое желание — обстановку сменить?

Артем. Юльчик, Таньчик! Толерантней! Мир-мир-мир!

Юля. Встретила жуликов каких-то, на анкету ответила, позвонили, что придут желание исполнять. И сидит, ангела ждет! Нормально?

Артем. Лохотрон. Чистый и незамутненный. Никто не придет. Или придет и...

Юля. Загипнотизирует и ограбит!

Таня. А вдруг ангел?

Артем. Таньхен, бывает всякое. И разное. И очень часто. Но ангелов точно нет.

Из кухни выходит рабочий.

Рабочий. Ваша пленка есть?

Таня. Что?

Рабочий. Пыль будет сюда. Пленка!

Таня. Полиэтилен?

Рабочий. Нет, нет. Вот которые пакеты в магазинах есть, да? Такая.

Юля. Ну, полиэтилен!

Рабочий. Да, да. На дверь сюда поставить от пыли.

Таня. Пусть, потом отмою...

Юля. Как это — пусть? Простыню намочить и повесить! На укладку пыль насядет! Я что, буду как мумия?

Таня. Вот свои простыни и давай.

Юля. Они шелковые, не пойдут. Тебе жалко старую, что ли?

Звонок в дверь.

Юля. Ангел, заходи!

Входит Игорь.

Артем. Привет, Игорь.

Рабочий. Постель давайте намочить?

Юля. А спину вареньем помазать?

Рабочий. Нет, нет! Вот которая под одеялом есть, где спать... Ее чтобы на дверь поставить, а то пыль!

Таня выдает рабочему простыню, он уходит в кухню. Игорь идет следом, затем из кухни доносится невнятный разговор, заглушаемый звуком двигаемой мебели.

Юля. Вам же обои надо выбирать! А я бы тут с Геной обсудила про твою работу.

Таня. Не путай свою личную жизнь с моей, пожалуйста.

Входит Игорь.

Игорь (*Артему*). Привет, привет...

Артем. Я пришел укладку Юльхен делать. Укладку!

Юля. Зачем она теперь? Ангела ждем... Белого-пушистого.

Игорь. Толком написать можно? Я такси два раза на красный гнал! (*Достает телефон, показывает СМС.*) «Едь к Танюхе! Срочно-срочно!»

Таня. Два раза прямо?

Юля. Для твоей же пользы! Игорь, не хочешь знать, что за ангел?

Таня. Да, действительно. Все уже спросили.

Артем. А возвышенная Танетта и сама не в курсе...

Игорь. Мало ли кто что болтает.

Юля. Конечно! Юля же дура, что попало несет...

Игорь. Я так не сказал.

Юля. А кто сказал?

Таня. Ты.

Юля. Я что, дура — такое говорить?

Артем. Юльчик, Таньчик! Мир-мир-мир! Толерантней!



Таня. Устроила тут, как бы мягче сказать...

Игорь. Дом свиданий.

Таня. Бордель!

Юля. Не ври!

Таня. Чего орешь?

Юля. Сама орешь!

Таня. Я не ору! Я тут живу!

Игорь. А мне нравятся возвышенные девушки. С трубой закончат, и поедем?

Таня. Может, завтра?

Юля. То есть нет?

Таня. Да.

Юля. Да?

Таня. Да.

Юля. Это безумно подло! Какой-то ангел с ремонтом! Я раз в жизни, первый раз...

Игорь. Танюш, мы же договаривались.

Юля. Мы с ней тоже договаривались! Вот все говорили: Танька тебя продаст, эгоистка она, не подруга тебе!

Таня. Это кто такие все?

Артем. Я скажу! Вы ждали ангела? Вот он я! Юльчик, Таньчик, мир-мир-мир! Толерантней! Юльхен, лапочка! Езжай ко мне. И танго с манго!

Юля. Далеко к тебе. Далеко! Далеко, понятно? А укладка? А салат «Яйцо под майонезом»?

Таня. А вот Анджелина Джоли не ест майонез.

Юля. Это она зря!

Артем. Там, если надо, в холодильнике яйца. *(Протягивает Юле ключи от квартиры.)*

Юля. Как я без укладки? Со своей школьной любовью... В первый раз! В такую даль...

Артем. Ах, как романтично целоваться в такси! Десять минут, и вы там.

Юля. Мне там стыдно.

Артем. Где там стыдно-то? Там уже и диван давно новый, не скрипит.

Таня. Трямс-трямс! Первый раз.

Юля. Я замужняя женщина! Мне надо брать от жизни все!

Таня. Ты хотя бы не глотай, захлебнешься.

Юля. Поцелуй своего ангела в хвост!

Юля хватается за ключи, свою сумку и выбегает, хлопнув дверью.

Игорь. Какие ценности она привьет сыну? Жажду удовольствия?

Таня. У нее дочка.

Игорь. Съемная хата и разломанная шоколадка на фольге. А потом — новый диван!

Артем. У съемного жилья есть свои плюсы.

Игорь. Плюсов у съемного жилья нет.

Входит рабочий.

Рабочий. Хозяин, этот холодильник который есть, да? Вот его двигать.

Игорь. Куда?

Рабочий. Да, да. Куда его?

Игорь (Артем). Подвинем?

Артем. Видишь ли... Это не очень мое.

Игорь, презрительно фыркнув, уходит с рабочим в кухню.

Артем. Собака должна лаять, иначе что же будет делать ветер?

Таня. А?

Артем. Русский народный японизм.

Таня. С тобой иногда неинтересно. Ты умный.

Артем. Я умный? Да для меня Мураками и караоке — вообще один хрен.

Таня. Вот ты молодец, никогда не ноешь, а я...

Артем. Я ною. Еще как. Но молча. Я ж боксер!

Таня. Да-да! Целый год в синяках, а потом бросил. Зачем надо было?

Артем. Не поверишь! Чтoб с тобой в клубы ходить спокойно.

Таня. Мы же не ходили.

Артем. Вот и бросил.

Входит Игорь.

Игорь. Только один плюс: если это съемное жилье сдаешь ты сам.

Артем. Съемное жилье — это свобода. Могут выбирать, где жить.

Игорь. А если семья? Надо за свое платить, а не дяде чужому.

Артем. Вот и мотивация: зарабатывайте, милые-родные! А высшее образование-то нещадно платное. Понимаешь, про что я? Кто без денег, идут в рабочие, за копейки пашут — ипотека! Слово поперек сказать боются — проценты! Голосуют, как надо, — ежемесячный платеж! И танго с манго! Но не у тебя.

Таня. Вообще не хочу про политику, а то так загрузишься — вся жизнь мимо пройдет.

Игорь. Если ты мужчина — закусил удила, и вперед! Ипотеку можно и досрочно гасить, если хочешь.

Из кухни раздается визг пилы-болгарки.



Артем. Я в Европу хочу, там все жилье снимают. И не парятся.

Игорь. Вот и езжай! А мы тут живем. И у нас такие цены.

Артем. С вашими ценами я лучше у мамы поживу. Если что...

Игорь. До старости? У нас таких много, они зимой девушек гулять водят по торговым центрам. Мама-то дома...

Артем. В старости надо на Мальдивах жить. Или хоть где, но чтоб тепло и море.

Игорь. Вопрос: где деньги, чтоб на Мальдивы в старости? А свое жилье вопрос решает.

Артем. У ипотеки тоже минус — при разводе ее делят. Банк хоть как свое возьмет.

Игорь. Живешь понарошку: съемная хата с чужим барахлом. И яйца в холодильнике. Правильно, чего их с собой носить? Пусть там лежат.

Звук пилы прекращается. Входит Сергей Николаевич.

Игорь. Скоро закончите?

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Стояк срезали?

Игорь. Он хотел заподлицо, я сказал пенек оставить, чтоб стяжки не долбить, а дернуть. Полипропилен ставите?

Сергей Николаевич. Армированный. Дороговато.

Игорь. Зато гулять не будет. Вот вы...

Сергей Николаевич. Ты.

Игорь. Я?

Сергей Николаевич. Я.

Игорь. Вы?

Сергей Николаевич. На «ты». Сергей Николаевич. Знаешь, чего хотел? Чтоб сразу насквозь протащить. А они: длинная! А слеплять как? На гебо?

Игорь. На гебо нельзя. Она ремонтная, а тут нагрузка на растяжение может быть. Сползет труба, и кранты.

Сергей Николаевич. Вот! Знаешь, чего хочу? Хочу протащить!

Игорь. Протащится. Он армированный, но гнется. Только с крыши надо, не с подвала.

Сергей Николаевич. Само собой! *(Кричит в кухню.)* Эй, слышь! *(Из кухни выходит рабочий.)* Выдирай их из пола!

Рабочий. А потом иду тогда?

Сергей Николаевич. Куда иду? За весь день заплачено. Иду... Трубу новую ждем!

Игорь. Скоро?

Сергей Николаевич. Везут... Знаешь, чего хочу?

Рабочий. А если когда работы нет, почему не идти тогда?

Сергей Николаевич. А если когда работы нет, стояк наверх просунь в дыру и держи! Понял? А я там проверю!



Рабочий уходит в кухню.

Игорь. Николаич, а зачем трубу держать-то?

Сергей Николаевич. Чтоб работа была! От чистого сердца души прошу — глянь потом, как новая пойдет.

Жмет Игорю руку, уходит. На кухне раздается хруст выдираемого железа.

Артем. А чем, Игорек, мой холодильник для яиц не подходит?

Игорь. Парикмахер — не мужская работа.

Артем. Я делаю людей красивыми.

Игорь. А что чувствуешь, когда стрижешь мужчин? Настоящих мужиков? А?

Артем. У нас дамский салон. Но недавно одному футболисту дреды плел. Как символ внутренней свободы. И ничего.

Игорь. Я тоже одного знал в институте. Профессор, лауреат, внутренне свободен. А сам по утрам мочу пил.

Таня. Ой! Зачем?

Игорь. Для здоровья.

Артем. Мерзость. Это мерзко — обсуждать людей. Самому-то во рту не противно?

Игорь. А зачем копировать немых африканцев? Прическа бывших рабов и символ внутренней свободы? Раньше парикмахеры и зубы дергали, и кровь пускали. Цирюльники! Мужики! А сейчас кто? Толерантный дамский мастер?

Артем. Хочешь это обсудить?

Игорь. Что, больше говорить не о чем? Например, такая тема: что ты тут забыл?

Артем. Ты какой бритвой бреешься?

Игорь. Нормальной. Роторной. С плавающими головками. С двумя.

Артем. А я по технологии опаской брею. Почти не глядя!

Игорь. В дамском салоне?

Артем. В дамском. Но тебе и сейчас могу кровь пустить.

Игорь. А как же толерантность?

Артем. Повода для толерантности нет.

Таня. Да, действительно. (*Артему.*) Вон отсюда!

Артем, помявшись, выходит.

Игорь. Никчемное чмо.

Таня. Следом! Быстро!

Игорь нехотя выходит.

Таня. Вот умничка девочка! Друзей обидела, кухню разломала... Ну все, приходи добрый ангел, готовая я.

Входит рабочий.

Рабочий. Внимательно слушаю вас.

Таня. А кто трубу-то держит? Или новая пошла?

Рабочий. Нет. А старую трубу я нарочно в воздух подвесил. Как доказательство.

Таня. Доказательство бывшего отопления?

Рабочий. Я ваш ангел, Татьяна.

Таня. Мой ангел, да? Какой милашка! Стой, где стоишь! Что я, ангелов не видела?

Рабочий. Разве было бы лучше, если бы я из воздуха разговаривал? Или, к примеру, из люстры? Конечно, если хотите...

Таня. То он двух слов связать не может, а то вон как формулирует. Стой, говорю!

Рабочий. Легкое недоверие в первый момент — это типично.

Таня. Конечно, типично! Что за ангел такой? Явился и трубу бросил! Как же ты теперь будешь вострубить? В смысле, вострублять... Ой, еще хуже... Как правильно-то?

Рабочий. Я не тот ангел.

Таня. Один раз перепало в жизни чудо, и то ангела прислали не того...

Рабочий. Трубит ангел апокалипсиса, а я ангел желания.

Таня. А тот почему не придет?

Рабочий. Хотите пожелать апокалипсис?

Таня. А можно?

Рабочий. Нет.

Таня. Чего еще нельзя?

Рабочий. Например, нельзя пожелать себе еще три желания. Или пять, или два. Желание может быть только одно. Правильно.

Таня. А пожелать, чтобы не было правил, можно?

Рабочий. Да желайте хоть сто желаний, никто не против. Просто для их выполнения потребуется еще сто приходов ста ангелов. А их не будет. Один приход — один ангел.

Таня. То есть пожелать сто желаний я все же имею право?

Рабочий. Но тогда вместо одного нормального чуда у вас будет куча лишних желаний.

Таня. Какие еще есть лингвистические казусы?

Рабочий. Есть один юридический, но о нем позже.

Таня. Если я с ума не сойду, а с ума я не сойду... И труба вот прямо там висит?

Рабочий. Посредине кухни. Хотите взглянуть?

Таня. У тебя дежурный фокус, понимаю. Но давай сделаем проще. Допустим... Я тебе верю! Переходим сразу к выполнению желания!

Рабочий. Давайте попробуем. Итак?

Таня. А чего у тебя есть? Сувенирный набор для ванной? Рекламный магнит на холодильник?

Рабочий. Вы не торопитесь, Татьяна. Вы подумайте.

Таня. Вот и думаю, как ты выкрутишься, если я действительно что-то ценное захочу?

Рабочий. Рискните. Что вы теряете?

Таня (*смеясь*). Знаю же, что дешевым парфюмом отмажетесь, но в душе надежда все равно... Сейчас, думаю. Вот возьму и квартиру себе намечтаю — что делать будешь?

Рабочий. Я ничего, я жду. Только и вы уж постарайтесь, напрягите фантазию.

Таня. Хочу неделю на Мальдивах, и полный пансион! Как-то у меня сегодня с фантазией плохо, да?

В воздухе раздается звук, будто кто задел райские арфы. Рабочий вынимает из внутреннего кармана пакет документов, кладет его на столик перед Таней.

Таня. И музыку включили... Клоуны.

Рабочий. Звук вам померещился. От счастья такое случается.

Таня (*внимательно рассматривая документы*). Допустим, фамилию и данные из анкеты узнали... Но фото? Хотя... А если бы я звезду с неба загадала, что делал бы?

Рабочий. Это не желание, а каприз. Капризы не считаются.

Таня. Что за фирма оформляла?

Рабочий. «Перфект-Тур». На буклете их телефон.

Таня. Не надо мне ваших буклетов. (*Набирает номер на мобильном телефоне.*) Справочное? Туристическое агентство «Перфект-Тур». Да, и второй диктуйте. (*Записывает номера. Набирает, сверяясь с записью.*) Здравствуйте! Девушка, рейс на Мальдивские острова на послезавтра, путевка номер 74-117-09, Шевелева Татьяна... Я хотела уточнить название моего отеля. Спасибо. А заказ полностью оплачен? То есть, я хотела спросить, оплата уже... Все в порядке? Вам тоже... (*Отключает телефон.*) И что, можно собираться?

Рабочий. Можно, если будут выполнены все условия.

Таня. Вроде сказали, что уже оплачено.

Рабочий. Остался маленький пунктик по отношению к нам.

Таня. А вы откуда?

Рабочий. Я ангел, выполняющий желания.

Таня. И что вам от меня нужно?

Рабочий. Следовало предупредить вас раньше, но вы сами настояли, что сперва желание.

Таня. Ну, началось...

Рабочий. Чистая формальность. Вас это ничем не затруднит, уверяю.

Таня. И?



Рабочий. С недавнего времени, примерно лет триста, может, чуть больше, мы перестали выполнять желания просто так.

Таня. В грехах покаяться?

Рабочий. Не наш профиль. Мы исполняем одно ваше желание в обмен на одно наше.

Таня. Кто же именно меня пожелал?

Рабочий. Дело не в вас, простите. Современных граждан очень беспокоит акт некорыстного дарения. Они ищут в наших действиях обман, чем сильно вредят эмоциям счастья. Коротко говоря, желание их исполняется, но счастливее от этого они не становятся. А это вредно для того, чем мы занимаемся.

Таня. Но я-то ведь счастлива.

Рабочий. Вы напуганы, Таня. Позже вы попробуете себя успокоить, но на Мальдивах будете ходить, постоянно оглядываясь, — поверьте, я знаю. Нас это весьма огорчит.

Таня. И, чтобы не пугать меня, вы путевку обратно заберете?

Рабочий. Путевка ваша. Выполните свою часть уговора и пользуйтесь.

Таня. А если не выполню?

Рабочий. Тогда путевка исчезнет. Но такого еще ни разу не случилось.

Таня. И что я вам должна?

Рабочий. Мы хотим, чтобы вы до полуночи выполнили любое желание любого постороннего человека. Сами, без принуждения и искренне.

Таня. Ого... О-го-го-го!

Рабочий. Если первый встречный попросит пить, а вы дадите ему стакан воды — это вполне нас устроит.

Таня. Просто воды?

Рабочий. До полуночи времени достаточно, уверен, вы справитесь. Татьяна, счастливой вам поездки и всех благ!

Рабочий, старомодно поклонившись, выходит на кухню. Таня идет следом.

Таня. Почему вообще так быстро все? Я поменять хочу, эй... Можно, чтобы Игорь стал как Артем, но у него чтобы квартира как у Игоря? Эй! Стой!

Рабочий. Нет, нет.

Таня. Почему?

Рабочий. Эта труба есть, да? Мне держать наверх сказал.

Звонок в дверь. Таня идет открывать. Входит Юля с сумкой, останавливается на пороге.

Юля. Я в твою квартиру больше ни ногой. Вот только свечи заберу.

Таня. А где Гена? Давай, зови его! Я в кино уйду! Какие свечи?

Юля. Я так и знала. Никогда не думала, что ты такая, но так и знала, когда сюда шла. Красные!

Таня. Ты же их с собой взяла.

Юля (*задумчиво*). Он совершенно ничего не сказал... Абсолютно. Даже когда я предложила на такси.

Таня. Может, попить хочешь? Водички?

Юля. Это какое-то адское совпадение... Я влюбляюсь только в женатых мужчин. Отдавай, говорю, свечи!

Таня. Ты же забрала их, говорю!

Юля. А где они тогда? У меня супруг не миллионер, чтоб ты знала. Мне каждый раз новые свечи покупать дорого!

Таня. Водички все-таки? Или, может, чаю?

Юля, всхлипнув, проходит в комнату.

Юля. Была у меня подруга, а теперь буду я одна принципиально! (*Достает из сумки бутылку шампанского, открывает.*) Может, Тёмочка и живет в своей халупе, а нормальному человеку зачем его диван? Да сроду низачем! Тем более за час до поезда. (*Отпивает из горлышка.*)

Таня. Фужер, может, дать?

Юля. Не надо. Я так посижу, посмотрю — на кого меня подруга променяла.

Таня. Кто ж знал, что так получится?

Юля. Супруг меня любит, ну и пусть, мне и не нужно больше. Кто ж знал, кто ж знал... (*Отпивает шампанское из горлышка.*) Зачем мы живем, Танька? Зачем мы все тут живем?

Таня. А ко мне ангел приходил.

Юля. Вот Анджелина Джели или президент наш — понятно, они культуру распространяют. Ну а приличные люди, вот как мы с тобой, зачем? Пить будешь? (*Пауза.*) Какой ангел?

Таня. Он настоящий оказался.

Юля. И ты молчишь? Реальный ангел? Как в кино?

Таня. Только без крыльев и рабочих.

Юля. Какой рабочий?

Таня. Который на кухне.

Юля. По правде на кухне ангел? Охренеть! Ой! Он услышал, наверное? (*Прячет бутылку в сумку.*) Это убрать! (*Роется в сумке.*) Свечи зажжем! Чтоб трепещали! Ничего, что красные? Ему вроде не обидно, или как? Они ж по форме сердца!

Таня. Наверное, не обидно. Он ушел уже.

Пауза.

Юля. Ангел, значит, был да сплыл... И никто его не видел! А квартиру подруге на час...

Таня. Он мне тур подарил на Мальдивы на неделю.

Таня показывает пакет документов, Юля хватает их, внимательно рассматривает.

Юля. Вот же дура ты везучая! И молчит... Вот же дура ты!

Таня. Ты можешь мне помочь?

Юля. Да я... Да я для тебя супругу чуть не изменила!

Таня. Я должна выполнить чье-нибудь желание, тогда мне тур оставят. Могу твое.

Юля. А если нет?

Таня. Исчезнет он в полночь. Поможешь?

Юля. Да погоди ты! Что так сразу-то...

Таня. Юля, скажи, чего ты хочешь?

Юля. Погоди, погоди. Вопрос серьезный.

Таня. Юля!

Юля. Чего ты орешь? Разбаловали тебя, вознесли на пуп земли... Думаю я!

Таня. Хочешь, J'adore свой тебе подарю?

Юля. То Мальдивы, а то какие-то духи.

Таня (*забирая у Юли документы*). Элитная парфюмерия!

Юля. Ой, ладно! Таможенный конфискат. На разлив, поди, брала?

Таня. Тебе же они нравились!

Юля. Тут нельзя лишь бы как, тут серьезно надо. У меня мысли как-то вразноброс... Но я думаю, думаю. (*Пауза.*) Я вот что думаю: подари мне свой тур. Всю жизнь мечтала о Мальдивах!

Таня. Подарить? А я тогда что?

Юля. Со мной!

Таня. Куда?

Юля. На Мальдивы! Смотри: надо, чтобы желание твое исполнилось, так? А значит, ты должна выполнить одно мое желание. Не пустяк, а по-настоящему.

Таня. Ну, как-то так, да.

Юля. Вот! Я смертельно хочу на Мальдивы, ты мне даришь свой тур, а тебе дают другой такой же.

Таня. Кто?

Юля. Кто этот дал, тот и дает. А кто ж еще?

Таня. Я тебе должна отдать свой тур?

Юля. Сама же сказала, что хочешь исполнить мое желание. Мое желание — тур на Мальдивы!

Таня. Не хочу, а должна.

Юля. Еще лучше!

Таня. Уверена, что мне мой тур оставят, если я тебе его отдам?

Юля. Ну, это уж я не знаю, как там у вас договоренности какие были или что... Я для тебя все делаю, как ты просила. Абсолютно все!

Таня. Спасибо, Юля.

Таня набирает номер на телефоне. Юля наблюдает за ней, откинувшись в кресле.

Таня (*по телефону*). Артем, ты далеко? Можешь зайти? Это Игорь там с тобой, что ли? А чего вы вдвоем делаете, мальчики? Вот вместе и приходите. Нет, не сержусь уже. Пока.

Юля. А все-таки сначала Артему позвонила...

Таня. Просто его номер по алфавиту первый.

Юля. Быстро ты научилась лучшими подругами разбрасываться.

Таня. Тебя дома не ждут?

Юля. Подождут, они у меня тренированные.

Входит Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич. У вас тоже свет выбило?

Таня. Горит.

Сергей Николаевич. Бухту кабеля с машины бросили, во всем подъезде света нет. От вас выше есть, а вниз — вообще напрочь.

Таня. Нас, наверное, ангел хранит.

Сергей Николаевич. Чайник включали?

Юля. Мы, вообще-то, шампанское пьем.

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Розетку дай, у меня переноска армейская пятьдесят метров, между пролетами бросим.

Таня. Кого где бросим?

Сергей Николаевич. Ток. Подвал подсветить.

Юля. Вы чего целый день вторгаетесь? Посторонних водили, холодильник двигали, теперь ток берете. Санкция у вас где?

Сергей Николаевич. Я ночью кабель караулить не нанимался. Знаешь, чего хочу?

Таня. А чего вы хотите?

Сергей Николаевич. Переноску сейчас возьму.

Сергей Николаевич выходит. Входят Артем и Игорь.

Таня. Вы, случайно, там подраться не успели?

Юля. Чего им драться? Они теперь братья по несчастью, будут вдвоем ходить. А Таня на море полетит!

Артем. О! Танетта, поздравляю! Море — это танго с манго!

Игорь. На какое море?

Юля. В тур на Мальдивские острова. Одна. То есть, если кто не понял, — без тебя, Игорь.

Таня. Игорь, можешь мне помочь? Загадай желание, а я исполню.

Игорь. Зачем?

Таня. Мне так хочется.



Юля. Врет. Ей ангел условие поставил: выполни чье-нибудь желание, и лети. И билет подарил на Мальдивы.

Артем. Юльхен, ангелов же нет!

Юля. Ангелов, может, и нет, а билет вон, на столике.

Артем. Таньчик? Ангел?

Таня. Ну, да, да, да! Ангел. Билет. Мальдивы. Но надо выполнить желание.

Игорь. Таня?

Таня. Объяснить не могу, потому что это волшебное.

Игорь. Девушке одной на Мальдивы нельзя. Неприлично.

Таня. Что неприлично, Игорь? На самолете летать? Снизу под юбку заглянуть могут?

Юля. Я как-то летала одна. Рядом тут... Море, пляж... Кипящие мужчины-фри! Аж до хруста!

Артем. Где это море рядом тут?

Юля. Да недалеко... В Турции.

Игорь. Случайные связи развращают и притупляют чувства.

Артем. Фраза шикарная. Долго заучивал?

Юля. Мужикам, значит, можно, а нам нет?

Игорь. Жалко мне твоего мужа. Как подумаю, что моя баба с кем-то, аж противно. Злость!

Таня. Баба?

Игорь. Что все так на это слово дергаются? Мужчин же мужиками называют, и ничего!

Артем. Все изменяют. Кто реально, кто в мыслях. Собаки не изменяют только...

Юля. Потому супругу и знать не надо. Курортный романчик — это же так, пшик... Солнечный зайчик.

Игорь. Нормальная девушка никогда не наденет мини-юбку и майку с голой грудью.

Юля. Это называется топик, вообще-то.

Таня. Я нормальная девушка, но в юности носила.

Артем. Помню, помню. Сочетание фуксии и черного — обожаю!

Игорь. Никто никуда не поедет.

Таня. Может, все-таки желание загадаешь?

Игорь. Я хочу, чтобы ты отдала этот билет Юле.

Таня. А я как полечу, если ей билет отдам?

Игорь. Я не хочу, чтобы ты летела.

Таня. А если я хочу?

Игорь. Мы с тобой, когда поженимся, вместе полетим.

Юля. Ого! Человек предложение сделал, надо отметить.

Таня. Что-то не расслышала я предложения.

Игорь. Таня, отдай Юле билет и выходи за меня замуж.

Артем. На колено, на колено встань...

Игорь становится перед Таней на колени.

Таня. Я не хочу замуж.

Игорь. Буду стоять, пока не согласишься.

Юля. Ей поломаться хочется, ты же ее знаешь.

Таня. Игорь, не валяй дурака.

Артем. Стоять, мужик! Она проверяет тебя.

Игорь. Я не встану.

Таня. Ладно! Тема, хочешь, выполню любое твое желание?

Артем. Игорь, ты же вроде обещал не вставать, пока она не согласится?

Игорь. Да.

Артем. Таня, выйди замуж за Игоря. Ну хотя бы в ближайшие пять лет, пожалуйста...

Таня. Нет.

Артем. Пять лет на коленях выдержишь, Игорь? Ты ж мужик!

Таня. Издеваетесь, да? Друзья... Пустяк попросила, а вам лишь бы поржать!

Артем. Но реально ведь смешно.

Таня. Повеселился, и свободен! Больше не задерживаю!

Юля. Билет бы отдала — и не было бы вообще скандала...

Таня. Скандал только начинается! Чеши отсюда! И оборудование свое трепещальное прихвати.

Юля. Вот это уже подло. Я всегда знала, просто не думала никогда. Даже от счастья с друзьями поделиться не хочешь. Вот она, жадность.

Таня рвет билет, швыряет обрывки в присутствующих.

Таня. Вот! Теперь и у вас есть моего счастья кусочек! Простите, что не в коробочках.

Юля. Вот дура... Ни себе ни людям. Везучая, но такая дура!

Таня. Вон пошли все!

Артем. Пока! Простите, если чего не понял.

Артем выходит.

Игорь. Таня, я, если хочешь, все для тебя сделаю.

Таня. Тогда встань и выйди вон!

Игорь. А когда обои выбирать? Мы ж договорились...

Юля. Она уже выбрала. Как специалист по кадрам думала, между вами выбирала — и выбрала. На Мальдивы! Там, глядишь, какой-нибудь еще вариант...

Таня. Заткнись!

Юля. Что, правда глаза колет?

Таня. Мне? Это у тебя — то одноклассник приехал, то мужчины-турки-фри...



Юля. Меня однажды и москвич любил!

Таня. Так уйди, наконец, от мужа и живи с москвичом. Или с Геной! Или еще какого кобеля найди!

Юля. Нормальных-то кобелей еще щенками разбирают.

Таня. Фу, как банально... Тогда неси святые узы брака. И не ной!

Юля. Я в детстве, помню, если кто обидит, плачу: папа защитил бы! Отчим тоже защищал, но я знала, что отец бы лучше защитил. Родной.

Таня. Сейчас умру от жалости.

Юля. Не надо. Мой супруг — он дочке родной отец. А вот мне-то он никто...

Юля выходит.

Таня. Игорь, я видеть тебя... Никого не могу... Уйди, пожалуйста.

Игорь некоторое время стоит на колене, затем поднимается, сгребает обрывки билета и кладет их кучкой на стол. Выходит. Из кухни выглядывает рабочий.

Рабочий. Хозяйка, этот мужчина, который есть, да? Где он?

Таня. Ты чего там делаешь?

Рабочий. Он трубу держать наверх сказал.

Таня. Выметайся.

Рабочий. Нет, нет. Он где? Держать надо.

Таня. Выходи, говорю! Я тут женщина, понятно? Все, иди, нет работы!

Рабочий. Домой?

Таня. И не приходи больше никогда.

Рабочий. Держать наверх не надо?

Таня. Тебе что, полицию надо? Тюрьма-Сибирь надо? Иди отсюда, говорю!

Рабочий выбегает в подъезд. Из кухни доносится грохот упавшей вниз трубы.

Таня. Это на счастье. У нас традиция такая, по-другому не умеем.

Свет в квартире коротко мигает и гаснет. Где-то в другом месте ангел стоит под светом уличного фонаря. Рассуждает, обращаясь к лампочке.

Ангел. Или вот еще анекдот: встречаются как-то евнух, кастрат и скопец... Нет, он тоже неприличный. Не знаю... Нет приличных. Ладно, что делать-то? Не хотят они подарков. То есть хотят, очень хотят, но боятся. Вот если сами чего требуют, тогда подай немедля! Не понимают: все уже рядом, подготовлено. Не видят. Все устроено для счастья — выбери, возьми, и все! И тебе хорошо, и соседу приятно. Не берут, боятся. Зато требуют: дай! Дай! Дай! И что делать? Ты же всеведущий, подскажи. Странно. *(Вздыхает.)* А у кого спросить, кто знает?

Свет в квартире снова вспыхивает. Входит Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич. Ночью свет будет. А уж с утра по-настоящему начнем. Я там в работу прям аж загрузился.

Таня. Говорили, что сегодня к обеду закончите.

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Есть куда уехать? Это ж ремонт, как его закончишь?

Таня. Я вашего рабочего отпустила.

Сергей Николаевич. Вот ведь, а! Я ему говорю: ты же деньги получаешь. А он: надо, надо. Хитрая морда! Он, как пришел, сразу хотел пораньше. Полдня стонал...

Таня. Ну, значит, вышло, как хотел.

Таня сметает со стола обрывки билета.

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? Тебе щенок не нужен? Сука моя опросталась.

Таня. Нет. Устала. Спать пойду.

Сергей Николаевич. Ну да... Завтра день непростой. Я утоплю его и тоже спать.

Таня. Это как?

Сергей Николаевич. Выпью водки, возьму банку. И утоплю.

Таня. Противно...

Сергей Николаевич. Я же водки выпью. Знаешь, у них из носа пузырьки идут. Банка стеклянная, видно. Наверное, у них воздуха совсем нет, или что... Они лапами скребут, а звука нет.

Пауза.

Таня. Вы ведь эту историю уже не в первый раз рассказываете?

Сергей Николаевич. Не в первый.

Таня. Берут щенков у вас?

Сергей Николаевич. Люди — они ж не звери, они берут.

Таня. Давайте его, этого вашего...

Сергей Николаевич выходит в коридор и тут же возвращается с небольшой картонной коробкой в руках. Показывает коробку Тане.

Сергей Николаевич. Глянь, обнялись. Братя. Какого возьмешь?

Таня. А второго утопите?

Сергей Николаевич. Знаешь, чего хочу? *(Задумывается.)* А чего хочу?

Таня. Знаю. Давайте обоих.

Сергей Николаевич. Вот это правильно. Молока им дай. Соска есть?

Таня. Нет.

Сергей Николаевич. На. *(Достает из кармана соску.)* Они приучены уже. Все, командуй тут. Я пойду, а то завтра трубу тащить.

Сергей Николаевич уходит. Таня ставит коробку на стол. Входят Юля, Игорь и Артем.

Артем. Танетта, иногда в жизни...

Таня. Понимаю.

Игорь. Знаешь, мы только хотели...

Таня. Прощаю.

Юля. Мы же теперь все равно...

Таня. Останемся друзьями, да.

Юля, Артем и Игорь достают и протягивают Тане три комплекта документов на тур.

Таня. Боюсь, в таком количестве Мальдивы меня утомят.

Юля. А это не Мальдивы.

Игорь. Мальдивов не было уже.

Таня. Как все банально... Алтай?

Артем. Это Канары!

Таня. Канары... Как же я теперь с ними-то?

Юля. Отпуск возьми, ты ж два года не была.

Артем. Три тура по неделе.

Игорь. Как раз месяц. Почти.

Таня. Отпуск? Отпуск... Отпуск!

Артем. И танго с манго!

Таня. Танго с манго? Точно!

Артем. Горящий тур! Вылет завтра и месяц там подряд!

Юля. Море! Пляж! Коктейли! Танцы! Шоколадный отдых, полный страсти!

Игорь. Музеи. Местные достопримечательности.

Таня. Я не могу завтра на месяц. Ремонт, молока купить... У меня вот — Танго. И Манго.

Таня показывает друзьям коробку со щенками.

Юля. Ой... Собачки!

Занавес.



Андрей БУТРИН

ЛЮБОВЬ БОРИСОВА — ЦАРСТВЕННАЯ ЛЕГЕНДА НОВОСИБИРСКОЙ СЦЕНЫ

Двух вещей нельзя скрыть на сцене — злость и глупость. Я не злюсь — я гневаюсь. Злость — мелкое чувство, не сценическое.

**Любовь Борисова,
заслуженная артистка РСФСР**

Мы в профессии — это отражение наших педагогов: что в нас вложили в период обучения, то мы и несем всю жизнь...

Знакомство с Любовью Борисовной Борисовой для меня состоялось заочно: много слышал о ней от актеров, с которыми работал на эстраде (О. Теплова, А. Каратаев и другие), и еще тогда понял, что Борисова — несомненный авторитет в театральном сообществе и актерской среде.

Говорили, что она была директором Новосибирского театрального училища, педагогом, что ее все боялись и уважали, что в прошлом она — блестящая актриса «Красного факела», что ей нет равных в работе с литературным материалом при подготовке чтецких программ и номеров — разобрать и подготовить текст для сцены так, как она, не может никто. А увидел я ее впервые, кажется, в 1994 г., когда мы с О. Тепловой играли эстрадный спектакль в Большом зале филармонии — после окончания к нам подошла элегантно одетая пожилая женщина с очень пронизательным взглядом. Я понял, что с Тепловой они знакомы давно, и, честно сказать, удивился, услышав от подошедшей: «Молодой человек, вы мне понравились, но вам нужно учиться, я бы вас взяла...»

Потом я ушел в армию и однажды, будучи в увольнении, был приглашен сослуживцем в театр «Красный факел». Сослуживец этот, В. Кимаев (ныне — артист «Глобуса»), до призыва учившийся в Новосибирском государственном театральном училище и в актерской среде ориентировавшийся, сказал: «Сегодня бенефис Борисовой, пойдем посмотрим». Мы пошли.

То, что я увидел на сцене, я запомнил на всю жизнь — я увидел великую актрису, которая буквально повелевала залом и держала внимание каждого человека в течение всего спектакля! В тот вечер играли пьесу А. Моруа «Загадочный мир театра», поставленную режиссером А. Серовым, а партнерами Л. Борисовой по спектаклю были К. Орлова, Т. Классина, А. Черных, В. Лемешонок, Г. Шустер... Зал ликовал, взрывался овациями, а такого владения словом и подтекстом, такой точности попадания в партнера я не видел и не слышал до этого. Я был покорен, и, когда через несколько месяцев, демобилизовавшись,

узнал, что в театральном училище Л. Б. Борисова набирает курс и хочет меня видеть, я, конечно, к ней пришел — сначала в ее небольшую квартиру, где началась работа и зародилась дружба, продолжавшаяся все четыре года моей учебы.

...Я прочитал свою программу (прозу, басню, стихотворение) — Борисова, выслушав «Шестое чувство» Н. Гумилева, сказала: «Вы открыли для меня это стихотворение, я его не знала, это прекрасно...» Я прочитал басню, и началась работа с текстом: я узнал много нового, например, что обращение, стоящее в конце фразы, не отделяется интонационно, что перед союзами «и» и «но» всегда нужен люфт, потому что это переход на новую мысль, узнал понятие «перспектива» — и могу сказать, что впоследствии такой кропотливой работы над текстом, авторскими обстоятельствами, логикой и техникой речи я не встречал никогда. Я поступил в театральное училище на курс Борисовой в 1995 г. — это был ее последний курс...

На первом занятии Любовь Борисовна поставила перед нами песочные часы и сказала: «Смотрите. Вы должны видеть, как уходит время». И действительно, ее отношение ко времени (к своему, к чужому) было трепетным и чутким — она не терпела опозданий на репетиции или занятия, работала четко, и заканчивали мы всегда вовремя. Она говорила: «От репетиций вас может освободить только собственная смерть». Но студенты есть студенты, они все равно прогуливали, находя самые фантастические оправдания, — а она им верила, особенно юношам. Она вообще была иногда очень наивным и доверчивым человеком. Это хорошее актерское качество — мгновенно поверить в обстоятельства и сделать их своими.

Одна студентка на репетиции сказала: «Я должна знать...» (что-то связанное с обстоятельствами), но Борисова закричала: «Знать?! Знать должны критики, актер на сцене должен чувствовать и действовать!»

* * *

Любовь Шмулевич (Борисова) родилась 24 февраля 1922 г., а в 1939 г., приехав к тетке в Москву, поступила в ГИТИС и успешно окончила его. Учеба в ГИТИСе — напряженная, а во время Великой Отечественной войны было и вовсе тяжело — мальчишки-однокурсники по ночам ходили разгружать вагоны, а у самой Любы было одно-единственное платье, поэтому она, чтобы разнообразить наряд, часто надевала недорогие — но обязательно разные! — бусы.

Педагогами курса были Л. М. Леонидов и И. М. Раевский — именно их творческий метод и эстетические взгляды на театр во многом определили творческое мировоззрение самой Л. Б. Борисовой, поэтому работала и преподавала она строго в рамках академической школы классического психологического русского театра.

Был ей близок театр, в котором главными инструментами актера являются интеллект, безупречная внешность, точный лаконичный жест, тесная взаимосвязь со сценическим партнером и, конечно же, слово. Яркий образец — спектакль «Милый лжец», поставленный ее учителем И. М. Раевским с актерами МХАТа А. Кторовым и А. Степановой по пьесе Дж. Килти, основанной на переписке Б. Шоу и актрисы Стеллы Патрик Кэмпбел.

Известный театральный критик В. Вульф называл этот спектакль одним из лучших в XX веке, а когда мы, студенты, смотрели его вместе с Любовью Борисовной по телевизору у нее дома, она говорила: «Вы должны обязательно увидеть, как Кторов играет сцену, в которой его персонаж рассказывает о похоронах матери...» И мы видели действительно пронзительную сцену и гениальное исполнение: поведать о трагедии своей жизни так глубоко и вместе с тем как бы легко — мастерство высшего класса.



Заслуженная артистка РСФСР Л. Б. Борисова

Борисова говорила нам: «Трагедия играется тихо, как шум осенней листвы. Все чувства — внутри». Она вообще не любила, когда «хлопочут» лицом, машут руками: «Успокой руки, не тычь пальчиком — это жест учительницы, не размахивай руками — я сквозняков боюсь!», а когда студенты начинали «разыгрывать» текст и комиковать не по делу, она морщилась: «Оставьте что-нибудь для цирка...»

Очень долгим и кропотливым был процесс анализа материала — пьесы ли, отрывка... Пока мы не понимали, «про что это», мы не приступали к сценической работе, и вообще содержание для Л. Б. Борисовой было главным в театре — содержание, преломленное через яркую человеческую индивидуальность!

При наборе студентов Борисова обращала внимание на несколько, если так можно выразиться, параметров: внешность (мужчины — высокие, красивые, с хорошими зубами и желательно прямыми ногами, девушки — обязательно стройные, с длинными волосами, красивыми ногами и без макияжа, потому что предпочтение отдавалось природной, естественной красоте), характер (не терпела бунтарей — актер должен уметь подчиняться беспрекословно, быть покорным), темперамент (главный признак наличия таланта, есть темперамент — есть талант), музыкальность (очень важны были наличие слуха и владение инструментом; я думаю, для нее человек, чувствующий музыку, был более гармоничным, а кроме того, спектакль — это ансамбль, поэтому музыкальность в перспективе давала ощущение собственного звучания в сочетании со звучанием партнера, актерскую ансамблевость), пластичность (на сцене нужно двигаться красиво и естественно, без мышечных зажимов).

Но особенно важным, если не первостепенным, для Л. Б. Борисовой было наличие у студентов интеллекта. Она любила умных, читающих студентов, сама постоянно читала и не стеснялась признаваться в радостных открытиях — например, я ей предложил книгу воспоминаний Ж. Маре «О моей жизни» и Любовь Борисовна была восхищена стихами Ж. Кокто, посвященными Ж. Маре!

Вообще в любви для Борисовой не существовало запретных тем — она говорила: «Любовь не имеет ни пола, ни возраста, если это любовь» — и в отношении многих вещей была человеком, как принято говорить, «продвинутым»,

современным. Кстати, она была так впечатлена стихами Кокто, что в подражание написала свои и показала мне...

Однажды я сказал: «Любовь Борисовна, я прочел “Три сестры” Чехова!», на что она просто и искренне, без иронии, ответила: «Андрюшенька, как я вам завидую, вы счастливый человек!»

Вообще она любила студентов, любила находиться среди молодых и не чувствовала себя старой. «Бабушка — это степень родства!» — говорила она и всегда повторяла при этом: «Слушайте бабушку, я вам плохого не посоветую!» И мы слушали!

Например, когда она записала на радио цикл чтецких программ с журналистом В. Луцко (там были чеховская «Душечка», горьковская «Нунча», «Знак» Мопассана и «Нежность» Барбюса), мы эти передачи слушали на аудиокассетах во время занятий. Это было прекрасно, это была лучшая школа для нас — мы видели и слышали, что наш мастер не сухой теоретик театра, а живая и талантливая актриса!

Какой Любовь Борисова была на сцене? Страстной, яркой, неподражаемой — это отмечали все, кто видел ее в спектаклях.

После окончания ГИТИСа она работала во фронтовом театре, потом уехала в Тверь (тогда — Калинин), затем были Омск и Новосибирск («Красный факел») — о ролях, сыгранных Борисовой, старые театралы вспоминают до сих пор.

«Нынешний сезон был, по существу, периодом официального признания в качестве режиссера “Красного факела” А. Мальшева. Его спектакль “В ночь лунного затмения” явился первым за последние годы обращением театра к драматургии братской республики. Пьеса Мустая Карима, по-настоящему талантливая, населенная яркими характерами, воссоздает дореволюционное прошлое башкирского народа. Материал и его режиссерское прочтение предоставили возможность для интересных актерских работ. Это, прежде всего, образ Танкабике, которую горячо, увлеченно сыграла Л. Борисова. Позже на ту же роль успешно ввелась по творческой заявке другая актриса — К. Орлова. Сам этот шаг заслуживает уважения хотя бы потому, что К. Орловой пришлось вступить в творческое соревнование с сильной “соперницей”, преодолеть и собственную неуверенность, и сложившееся представление о ее, Орловой, возможностях»¹.

«Прежде чем начать разговор об этих работах театра последнего десятилетия, хочется вспомнить один из старых его спектаклей — “На всякого мудреца довольно простоты” режиссера М. Владимирова (1963), ибо он был и остается заметной вехой в интерпретации Островского на краснофакельской сцене. Это был блистательный спектакль. Не только по составу исполнителей: Мамаева играл М. Бибер, Крутицкого — В. Харитонов, Мамаеву — Л. Борисова, Глумову — Л. Морозкина, — актеры, вообще много сделавшие для утверждения Островского на краснофакельской сцене. <...>

Чернядевская “Гроза” была, по общему мнению, едва ли не самой неудачной постановкой Островского последних лет: помнятся жалобы на трудность проката спектакля, на сложную реакцию педагогов-литераторов, возмущенных несовпадением происходящего на сцене с трактовкой, которую предусматривает школьная программа. И критика его не приняла — от маститого Е. Холодова, крайне резко среагировавшего на некоторые сокращения в тексте, до Л. Баландина, приговор которого был также категоричен: неудача.

Однако, когда читаешь все написанное по краснофакельской “Грозе”, получается в то же время, что целый ряд актерских работ критика приняла вполне

¹ Рубина М., Александрова О. Уроки минувшего сезона. Планы, свершения и... ЧП // Советская Сибирь, 1967, 9 июля.



Л. Толстой, «Воскресение».
Л. Б. Борисова в роли Катюши Масловой.
Калининский (Тверской) театр драмы,
начало 1950-х гг.

Режиссер И. Б. Борисов рассказывал мне в личной беседе: «Люба Борисова была послушной, как собака. Выполняла все, что я говорил, беспрекословно, понимала с полуслова. Для меня это было даже удивительно, потому что все знали о ее сложном характере. Но когда я однажды по прошествии времени взглянул на “свой” спектакль, я... (далее следовала ненормативная лексика) был потрясен! Она играла гениально, но совершенно по-своему. Я махнул рукой, сделать уже ничего было нельзя с этим!»

Кстати, о характере Л. Б. Борисовой — сложный он или простой — можете судить сами на примере одного ее интервью.

«— Весь мир — бардак, будем говорить открытым текстом. И потом — немислимая, немислимая страсть к подражанию. Я не скажу, что Шекспир плохой драматург, но для меня лучший драматург — Чехов. Мое любимое произведение — “Горе от ума”. Я в этом году впервые не набираю курс в театральном училище, к сожалению. Раньше я всегда первым делом говорила студентам: “К первому сентября выучить наизусть “Горе от ума””. — “Как выучить?” — “Вы же в артисты готовитесь! Те, кто не знает наизусть “Горе от ума”, никогда не поймут, о чем я говорю”.

— И выучивали?

— Да! И там есть фраза: “Хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнания иноземцев”. Сейчас шла по телевидению старая лента — “Музыкальная история”. Я очень скептически отношусь к нашему старому кино. Но там были великие актеры. Ну неужели же я пропущу Лемешева, которого я столько раз слышала, с которым была хорошо знакома, и буду слушать... как его зовут? Буянов? Буйнов? Это же преступление — почему на те-

сочувственно, например, Полякова — Тихона, Попенко — Варвару, Лемешонка — Дикого. <...> По выразительности и художественной силе на первый план, бесспорно, выдвигалась Кабаниха в исполнении Л. Борисовой — огромная мрачная бабища с замечательно трезвыми холодными глазами, сама тьма темного царства, его идолице, его палач, в чьих умелых руках обряд становился средством укрощения любой стихии. Как видно, все представители темного царства нашли в лице ведущих актеров театра ярких колоритных исполнителей»².

Сама же Борисова говорила: «Мою творческую жизнь обрамляют две роли — Катюша Маслова в “Воскресении” Л. Толстого, с которой я начала, и бабушка Лермонтова в спектакле “Заступница” по повести Ю. Нагибина, которую играла в театре “Старый дом”».



² Лендова В., Рубина М. На пути к Чехову и Островскому // Новосибирск театральный. — Новосибирск, 1983.



левидении исчезла классическая музыка? Чего же они хотят от молодежи, если с экрана несутся мерзкие, агрессивные, бездарные звуки. <...> Почему вообще это называется пением? Ну назвали бы как-то по-другому. Потом это вечное ломание, это дикое коверканье русского языка. Почему заставки на NTSC называются музыкальным антрактом? Где они берут эти мерзкие клипы? <...>

— Многие просто перестали смотреть телевизор.

— Нет, я не могу. Вот узнала, что было извержение вулкана.

— Бойтесь конца света?

— Боюсь не смерти... У меня есть внук, есть правнучка. Но я считаю, как мы уже говорили, что конец света начался и идет. Сегодня 6 августа — годовщина дня, когда на Хиросиму сбросили бомбу. Может быть, тогда он начался? А может быть, в 1917-м?

— Но все же в этом начавшемся конце света есть какие-то жизненные радости?

— “Если есть минуты радости на безрадостной земле...” Не знаю... Мне очень трудно перестать работать. Идет мучительная перестройка: у меня очень плохое здоровье и, извините, очень хорошая голова. Голова профессора Доуэля... В этом августе как раз сорок лет, как я живу в Новосибирске. <...> Радуют ученики, многие из которых стали не только прекрасными артистами, но и преподавателями. Но больше огорчает. В особенности то, как сейчас говорят по-русски. Даже центральное телевидение. Вот начали говорить “Александр Сергеевич”, а не “Александр Сергеич”. Раньше как узнавали шпионов или иностранцев? Они выговаривали имя и отчество так, как пишется, а не так, как произносится по-русски. Стоило кому-то сказать “Лев Николаевич” — все, шпион!

— Значит, сегодня все шпионы!

— Мне не хочется наше телевидение обижать, но там очень мало профессиональных людей. Не могу понять, почему они не учатся. В училище я предлагала создать группу дикторов... Отсутствие профессионализма — это страшно. <...> Это падение культуры...

— И что, по-вашему, виной этому?

— Виновато разрушение семьи. Женщина не должна работать.

— Это вы говорите? Вы пятьдесят пять лет работали в театре... Были актрисой, директором училища, педагогом...



М. Салтыков-Щедрин, «Тени». Князь Тараканов — К. А. Крайнов, мсье Априянин — Б. Н. Лонин, мсье Камаржинцев — Б. П. Волков, Бобырева — Л. Б. Борисова, Обтяжнов — А. А. Добряков. Калининский (Тверской) театр драмы, начало 1950-х гг.

— Я творческий человек. А сидеть в конторе и писать бумажки женщина должна не больше четырех часов в день. Свое время она должна посвящать семье и детям — музыке их учить, сказки на ночь читать. Я внуку своему с трех лет читала “Руслана и Людмилу”. Потому и вырос высочайшего интеллекта парень. Он кинокритик, живет в Москве.

— Женщина-актриса часто жертвует своей личной, семейной жизнью ради театра. Вам удалось совместить служение театру и семью?

— У меня муж был певец, так что мы с ним друг друга понимали...»³

Со своим будущим мужем молодая актриса Любовь Борисова познакомилась в 1950-х годах, работая в Калининском драматическом театре, — Николай Платонов был замечательной личностью, поэтому о нем тоже нужно хоть немного, но рассказать.

* * *

«В далеком Новосибирске статью “Предвоенная Киевская опера” прочитала Галина Александровна Зайцева — ученица Николая Платонова, хорошо знавшая певца в последний период его жизни. <...> Благодаря воспоминаниям Галины Зайцевой и любезно предоставленным ею фотографиям из ее личного архива мы теперь можем в значительной степени вернуть из незаслуженного забвения имя Николая Платонова — человека, который в 1937 году первым записал на грампластинку столь любимый нами романс “Ніч яка місячна”. <...>

Детство и юность Николая Платонова прошли на Украине. Родился он 13 декабря 1902 года, младшим ребенком в семье православного священника Платона Слуцкого. Микола Слуцкий — вот как его звали на самом деле. Гражданскую войну он встретил 15-летним юношей. Трудно сказать, чем он занимался в те годы, куда его заносила судьба и где он выучился на ветеринара, как о том сообщает Галина Зайцева. Но со всей определенностью можно утверждать, что своим становлением как певца Микола Слуцкий обязан выдающемуся педагогу Елене Александровне Муравьевой, которая преподавала в Киевском музыкально-драматическом институте имени Н. В. Лысенко, а с 1920 года воспитывала солистов оперы в Киевской консерватории. Елена Муравьева “поставила на ноги” многих выдающихся наших певцов. <...> “Николай Платонович знал секреты старой итальянской вокальной школы, которую он унаследовал от Е. А. Муравьевой, и конкретно показывал, как ей владеть”, — пишет Галина Зайцева.

Так когда же, в какие годы проходили занятия Миколы Слуцкого с Муравьевой? В словаре “Отечественные певцы. 1750—1917”, в статье, посвященной Е. А. Муравьевой, читаем следующее: “Воспитала св. 400 певцов и педагогов, среди которых — ...З. М. Гайдай (в 1923—27)... И. С. Козловский (в 1918—19)... О. А. Петрусенко (в 1924—25), Н. П. Платонов (в 1921—25)...”

Судя по приведенным датам, Микола Слуцкий брал у Муравьевой уроки вокального пения несколько позже, чем Иван Козловский, — примерно с 1921 года. Не исключено также, что именно в тот период времени Микола Слуцкий познакомился со своими будущими коллегами по киевской опере: и с Оксаной Петрусенко, и с Зоей Гайдай, своей будущей женой, — обе они также прошли школу Елены Муравьевой. Между прочим, Галина Зайцева делает такое любопытное замечание: “Николай Платонович рассказывал, что Зоя Гайдай, пока была жива Муравьева, продолжала заниматься с ней голосом, а после ее смерти

³ Лаврова А. Любовь Борисова: «Никто в Новосибирске лучше меня не говорит по-русски» // Новая Сибирь, 1999, 13 августа.

эти занятия продолжил Платонов, так как она совершенно не могла петь без постороннего “уха”. <...>

Известно и другое: в первой половине 1920-х годов, беря уроки вокала, Микола Слущкий одновременно участвовал в концертах украинской хоровой капеллы “Думка”, созданной в 1920 году. Само название капеллы является сокращением: “Державна українська мандрівна капелла” по-украински означает “Государственная украинская передвижная капелла”. Передвижная — само это слово предполагает очень частые гастроли. Уже за первые годы своего существования капелла “Думка” дала многие сотни концертов — и на Украине, и в Москве, и в Петрограде, и на Урале.

Примерно в 1925 году в жизни Микола Слущкого произошел крутой перелом: выступления молодого певца капеллы “Думка” были замечены Константином Сергеевичем Станиславским, который пригласил его в Москву, в свою Оперную студию. <...>

Оперная студия К. С. Станиславского возникла из естественного стремления великого театрального реформатора воспитывать на принципах своей “системы” не только актеров драматических, но также и “поющих актеров”. <...> Вероятно, сразу по приезде Микола Слущкий был введен на роль Ленского в “Евгений Онегин”, а уже в 1926 году, когда под руководством Станиславского студийцы приступили к репетициям “Царской невесты”, он получил роль и в этом спектакле — правда, в третьем составе. В письме к своему брату (18 августа 1926 года) Станиславский пишет следующее: “...В третьем составе я буду путаться, и ты меня проверяй по протоколу. В нем, как кажется, назначены — Грязной: Савченко, Воронов, Коренев; Малюта: может ли петь его Виноградов, что больше всего желательно. Кроме того, что такое из себя представляет Шехов, не может ли он петь для третьего состава Малюту? Лыков: Платонов, Белугин; Бомелий: Якушенко, Знаменский...”

Платонов, а не Слущкий? Да, именно так. <...> Галина Зайцева вспоминает: “Мне известен факт, как он получил псевдоним “Платонов”. Перед премьерой спектакля “Евгений Онегин”, где он пел партию Ленского, идя на последнюю репетицию, он увидел на афише театра, против фамилии Ленский, новое имя исполнителя — “Платонов”. Он был крайне удивлен и расстроен, что Станиславский взял на эту партию нового тенора. Встретив Станиславского в театре, услышал ответ: “Коля! В Киеве каждый второй сапожник — Слущкий. Поэтому отныне ты будешь Платоновым””. <...>

Кстати сказать, в работе над партией Ленского Николаю Платонову помог Леонид Витальевич Собинов, который даже подарил ему свое трико — то самое, в котором пел Ленского. Николай Платонов бережно хранил потом это трико, всю жизнь хранил, и показывал его своим ученикам. <...>

В том же 1926 году Оперная студия К. С. Станиславского официально стала студией-театром (в 1928 году — Оперным театром имени Станиславского) и получила свое здание на Большой Дмитровке. В принципе, это ведь очень недалеко от дома в Леонтьевском переулке: несколько минут пешком. Николай Платонов так и ходил из дома в театр — пешком. Ходил он так до тех пор, пока это не заметил Станиславский.

“Он подозвал его к себе и сказал, что артист должен подвезжать к театру на извозчике, а не ходить пешком. И несмотря на то, что дом, в котором жил Платонов, находился в двух шагах от театра, он вынужден был нанимать извозчика и, объезжая несколько раз вокруг театра, останавливаться у входа”, — пишет об этом случае Галина Зайцева. <...>

Платонов рассказывал Галине Зайцевой, насколько бедственным было его существование в Москве: зарплата, которую он получал в театре, была настолько мизерной, что ему приходилось порой занимать у Станиславского бук-

вально копейки — на покупку свечей... <...>

Короче говоря, Николай Платонов принял решение оставить Оперный театр Станиславского и вернуться в Киев. Узнав об этом, раздосадованный Станиславский пишет Собинову (письмо от 1 сентября 1934 г.): “Знаю, что гениальный Платонов собирается уходить, чему я очень рад”. Это письмо было, между прочим, одним из последних, полученных Л. В. Собиновым: всего через полтора месяца великого певца не стало... <...>

В музыкальном фильме режиссера Ивана Кавалеридзе “Наталка Полтавка”, первом советском кинофильме, сделанном в жанре “фильм-опера” (1936), Николай Платонов спел основную теноровую партию, и его партнерами в том фильме были Мария Литвиненко-Вольгемут, Иван Паторжинский и Григорий Манько (Литвиненко-Вольгемут спела партию Наталки за кадром, а вот Платонова, Паторжинского и Манько мы в этом фильме не только слышим, но и видим). <...>

Надо сказать, что в настоящее время сохранилось не так уж и много грамзаписей Платонова. <...> В распоряжении Галины Зайцевой есть грампластинка (судя по матричному номеру, выпущенная в 1939 году), на которой Платонов записал две украинские песни. А на оборотной стороне этой же пластинки записана песня “У гаю, гаю вітру немає” — также на слова Тараса Шевченко. Наконец, сохранилась грампластинка с украинской песней “Дівка в сінях стояла”. Эта запись примечательна тем, что в 1939 году они сделали ее вместе: Николай Платонов и Зоя Гайдай...

Они поженились, по-видимому, вскоре после возвращения Николая Платонова из Москвы в Киев. Московские бытовые неурядицы Платонова остались в прошлом. Теперь, в Киеве, он был востребован и любим, у него была известность, сравнимая разве что с известностью Сергея Лемешева в Москве, прекрасная жена — на зависть многим, материальный достаток и, казалось, безоблачное будущее. “У них была трехкомнатная квартира в центре города, белый рояль, огромная библиотека и его собственный автомобиль с личным шофером”, — пишет Галина Зайцева, вспоминая рассказы Платонова о том счастливом для него времени.

В заметке А. Москальца “Зоя Гайдай: сорок лет спустя”, опубликованной в 2005 г. в газете “Зеркало недели”, читаем: “Излюбленным пешеходным маршрутом Зои Михайловны был путь из театра домой. Чтобы преодолеть расстояние от первого артистического подъезда Киевской оперы до дома, достаточно было спуститься на два квартала по улице Ленина. Часто во время этих прогулок певцу сопровождал ее муж — тенор Платонов, также работавший в театре. Иногда он приезжал за ней на машине — рослый, красивый, в модном белом костюме, как всегда подтянутый и безупречный”. <...>



**Н. П. Платонов —
артист Киевской оперы**



Н. П. Платонов в Новосибирске

двух народных много, хватит одного!» И дал звание Зое Гайдай». <...>

Киев, как известно, немецкая авиация начала бомбить уже в первые часы войны. Очень быстро была организована эвакуация целого ряда ведущих артистов Киевской оперы в глубокий тыл. В далекую Уфу, столицу Башкирии, Николай Платонов и Зоя Гайдай отправились тоже вместе — отъезд состоялся 2 июля 1941 года.

В статье Юрия Узикова “Гастроли” театра в военной Уфе”, опубликованной в интернет-газете “Башвест”, читаем такие любопытные подробности: “И вот театр в пути. В непригодных вагонах известные всей стране артисты Мария Литвиненко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Иван Паторжинский, Константин Лаптев, Николай Платонов, Андрей Иванов. <...> 11 июля 1941 года киевляне прибыли в незнакомый город Уфу. <...> Тепло встретил украинских коллег и коллектив Башкирского театра оперы и балета (БГТОиБ). Он был открыт только в 1938 году. Поэтому творческая деятельность с мастерами Украины способствовала росту уфимских артистов. Началась дружная работа, театры помогали друг другу. <...> Осенью 1942 года... Киевский театр оперы и балета переехал в Иркутск. <...>

...В заключительный год войны Николай Платонов участвовал в съемках музыкального фильма-концерта “Украинские мелодии”, снятого на Киевской киностудии художественных фильмов. Премьера фильма состоялась в августе 1945 года, и в нем вместе с Николаем Платоновым снималась также и его на тот момент жена — Зоя Гайдай. <...> Их брак окончательно распался во второй половине 1940-х годов: между 1946 и 1950 годами. Почему они расстались — с уверенностью сказать теперь трудно. Известно, впрочем, что Зоя Гайдай так никогда больше и не вышла замуж, а Николай Платонов, хотя и женился вновь, но произошло это гораздо, гораздо позже...

Столь благополучно для Платонова начавшийся “киевский” период его жизни — закончился. Заслуженный артист Украины, он покидает Киевский театр и навсегда уезжает из Киева. <...> Есть свидетельства того, что в 1950 году Николай Платонов оказался в Куйбышеве (так в те годы называлась Самара), где стал выступать на сцене местного оперного театра. <...>

В 1941 году Зоя Гайдай (среди самых-самых первых) стала лауреатом Сталинской премии — вместе с Шостаковичем, Козловским, Лемешевым. Быстро проскочив обязательную ступень заслуженной артистки УССР, она получила звание народной артистки Украины, а в 1944 году стала и народной артисткой СССР.

А ее муж, Николай Платонов, получил звание заслуженного артиста Украины, да так в этом звании и остался... Интересные подробности упоминает в своем письме Галина Зайцева: “Из рассказов Николая Платоновича известно что Сталин очень любил Зою Гайдай как певицу, и у них дома был даже прямой телефон с его кабинетом. Известен такой факт, что театр подавал документы на присвоение звания народных артистов УССР как Гайдай, так и Платонову. Но Сталин сказал: “В одной семье

Платонов, очевидно, ничего не рассказывал Галине Зайцевой о том периоде своей жизни, но вот о том, что случилось с ним позже, она уже знает: “Я знаю о его жизни того момента, когда он находился в городе Калинин. Там он пел в филармонии, где и познакомился со своей будущей женой — артисткой драматического театра, заслуженной артисткой РСФСР Л. Борисовой — и ему уже было за 50...”

“За 50” Платонову было уже после 1952 года. Очевидно, что в Куйбышевском театре он проработал не так уж много времени и около середины 1950-х годов оказался в Калинин (так раньше называлась Тверь), где пел уже не в театре, а в филармонии.

Галина Зайцева продолжает: “В середине 1950-х годов жену Николая Платоновича пригласили работать в театр “Красный факел” г. Новосибирска, куда они вместе и переехали. Живя в Новосибирске, Николай Платонович начал преподавать сольное пение и являлся заведующим вокальным отделением музыкального училища. Но когда в начале 1960-х годов в Новосибирском театральном училище открыли отделение “Актер театра музыкальной комедии”, Николая Платоновича пригласили туда в качестве заведующего отделением и педагога по вокалу”. <...>

В феврале 2010 г. широко отмечалось 50-летие “новосибирской театральной школы”. В связи с этим проводились различные торжественные мероприятия, было написано много статей и сказано немало теплых слов. <...> В юбилейных статьях имя Л. Б. Борисовой упоминается довольно часто... Имени ее мужа, Николая Платонова, в тех статьях нет — но Платонова помнят его многочисленные благодарные ученики.

Помимо театрального училища, Николай Платонов преподавал еще и в Новосибирском театре музыкальной комедии. <...> Галина Александровна Зайцева, многому научившаяся когда-то у Платонова и сама уже воспитавшая немало певцов, с благодарностью вспоминает: “У Николая Платоновича был не только певческий дар, но и редкий педагогический талант. Во время наших уроков присутствовало очень много студентов и педагогов из ранних классов, потому что Николай Платонович знал секреты старой итальянской вокальной школы, которую он унаследовал от Е. А. Муравьевой, и конкретно показывал, как ей владеть. <...> Его студенты всегда показывали высокий вокальный и профессиональный уровень, но даже несмотря на все это и на то, что на Украине он был доцентом Киевской консерватории, в Новосибирскую консерваторию его не допускали”. <...>

Николай Платонович Платонов скоропостижно скончался от инсульта 8 октября 1968 года, совсем немного не дожив до 66 лет. Он был похоронен на городском кладбище Новосибирска.

P. S. <...> Мне бы хотелось сказать несколько слов о Галине Александровне Зайцевой — ученице Николая Платонова, прекрасном и скромном человеке и замечательной певице. Учитель словно бы растворяется в своих учениках, словно бы продолжает жить в них даже после своей физической смерти. Платонов-педагог, сам ведь ученик Елены Муравьевой, прекрасно понимал это. Рассказывают, что незадолго до своей кончины, слушая пение Галины Зайцевой, он вдруг заплакал и произнес: “Галонька, девонька, ты прославишь меня”⁴.

* * *

Много лет Л. Б. Борисова была директором Новосибирского театрального училища, и студенты называли училище «Борисовкой»...

⁴ Антонов В. Николай Платонов. Первая грамзапись «Ночи». <http://www.vilavi.ru/sud/210511/210511.shtml>

Поработав актером в театре, я ушел в педагогику и теперь, занимаясь со студентами, понимаю, какой величины мастером была Борисова! Ее ученики трудятся по всему миру, в том числе в театрах Москвы: О. Матушкина — в театре им. Ермоловой, О. Цинк — в Театре Наций, С. Петров — работал в театре им. Маяковского, теперь снимается в кино, Д. Малютин стал режиссером, А. Тиханова много снимается в кино и работает на эстраде в Москве, а в Новосибирске все знают заслуженных артисток России В. Широнину («Красный факел»), В. Сергееву («Старый дом»), актера «Первого театра» В. Казанцева...



В. Гюго, «Анджело».
Анджело — А. В. Пруссаков,
Тизбе — Л. Б. Борисова.
Калининский (Тверской) театр драмы

Валентина Широнина, заслуженная артистка России, актриса театра «Красный факел» (выпуск 1964 г.), вспоминает: «Любовь Борисовна Борисова была из категории царственных актрис. <...> А преподавала она нам в театральном училище сценическую речь и мастерство художественного слова. Чтицей была блистательной! Мы часто пользовались этим: по ее требованию приносили как можно больше материала на занятия — Чехова, Куприна, Мопассана, и как-то изощрялись, чтобы не самим перед ней читать, а устроить, чтобы Любовь Борисовна почитала нам. Она брала отрывок и увлекалась... Большую часть материала — особенно классику — знала хорошо, но иногда встречался незнакомый текст, и она тут же — с листа! — выдавала четкий

шедевр, фактически готовую программу. <...> Она сама по себе была нашей школой! И каждое занятие в этой «школе» было ярким — не знаешь, чем закончится. Могла то разразиться колоссальным гневом, то абсолютной влюбленностью в нас — каждый раз как по минному полю: но эта непредсказуемость была и пугающей, и интересной. И вот что важно — она владела необъяснимым магнетизмом! Энергией управления людьми. Могла войти в аудиторию, сесть за стол, опустить глаза и долго молчать... Мертвая была тишина! Все сидели — муха пролетит, услышишь. Так она владела залом и во время спектаклей, и когда читала.

Чтецкие программы Любви Борисовой постоянно записывались на радио — поэзия Лермонтова, проза Чехова, а рассказ Горького «Нунча» вспоминают просто как легенду. Она и сама, не тушуясь, говорила, что лучше всех в Новосибирске говорит по-русски. А потом так прикипела к преподаванию чтецкого искусства, что много лет занималась этим, уйдя после 1976 года из театра. Была директором театрального училища — маститым, авторитетным, повлиявшим на судьбы многих известных актеров. Затем стала преподавать мастерство актера⁵.

Вера Сергеева, заслуженная артистка России, актриса театра «Старый дом» (выпуск 1980 г.): «Для Борисовой была важна внешность будущих актеров,

⁵ Гусева К. Обыкновенные богини // Театральный проспект, 2017, № 8.

для нее существовали амплуа при наборе — если у абитуриентки внешность героини, это определенная судьба в театре. Обращала внимание и на голосовые данные...

Любовь Борисовна прекрасно работала со стихами и очень любила их. Учила нас держать строку и держать паузу, не рвать мысль, а когда она читала сама — стихи оживали... Кстати, всем ее студентам нужно было знать наизусть “Горе от ума”!

В ее постановках всегда было несколько составов, и если кто-то не был занят в работе сегодня, то сидел в зале, смотрел, как работают другие, и учился на чужих ошибках. Например, у нас на курсе было много девочек и я не вошла в спектакль “Три сестры”, но однажды Борисова разрешила мне попробовать — меня назначили на роль, потому что я все это время сидела в зале и смотрела, была готова мгновенно войти в обстоятельства.

Этюды Борисова не любила и не понимала... Внутренний монолог, пауза — она буквально показывала нам их значение, мы не писали на бумаге внутренний монолог.

Сначала она чисто технически объясняла необходимость паузы, а со временем мы сами чувствовали и понимали ее значение. Поначалу, если студент “не тянул”, то хотя бы технически, через паузу, Борисова на сцене создавала иллюзию его глубокой внутренней жизни и наличия интеллекта, таким образом “прикрывая” студента. Понимание приходило позже, но не ко всем... Если она любила кого-то, то на 100 % — она тебя растила, как дитя! Правда, если не любила, то тоже на 100 %...

Не забывала своих учеников, тянула их всю жизнь. Например, когда я была в декретном отпуске, то выпала из репертуарной работы в театре, и Борисова притащила меня в свой бенефис в “Красном факеле” (1995 г.), заняла в студенческом спектакле училища на своем курсе. Она заботилась, чтобы я не потеряла форму.

Она говорила, что театр должен быть глубоко эмоциональным. Но говорила и читала она легко, не педалируя — и требовала той же легкости и разговорности от нас».

Ольга Матушкина, заслуженная артистка России, актриса Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (выпуск 1984 г.): «Любовь Борисовна Борисова, приверженец системы Станиславского, не терпела фальши на сцене, требовала полной отдачи. Из-за своей преданности театру была немного авторитарна, но справедлива. Благодаря своей колоссальной интуиции чувствовала талант, притягивала к себе талантливых людей и многое им прощала, даже предательство.



А. Островский, «На всякого мудреца довольно простоты». Мамаева — Л. Б. Борисова, Глумов — К. Ф. Захаров. Театр «Красный факел», Новосибирск, 1963 г.

Она была невероятно яркой личностью, щедро одаривающей всех, находившихся рядом с ней, своим талантом. Ее реакции были всегда непредсказуемы, неожиданны, а главное, заразительны — все девочки на нашем курсе подражали ей. Она была мастером придумывания афоризмов, незабываемой рассказчицей и обладала блестящей памятью. А как она показывала! Повторить за ней было невозможно.

Ну и, конечно же, у нее было редкое чувство юмора — каждое занятие вспоминала какой-нибудь анекдот, очень подходящий к ситуации, тем самым создавая свободную творческую атмосферу, которая нам, студентам, помогала раскрепоститься и быть уверенными в себе. Мы всегда чувствовали ее настроение — по тому, как она входила в аудиторию, как раскладывала на столе свои очки, тетради... Иногда мы замирали, ибо гнев ее был страшен, но стоило кому-нибудь проявиться на площадке талантливо, как Любино (Люба — так мы ее называли всегда) настроение мгновенно менялось на милость. Мне посчастливилось быть вхожей в ее дом, могу сказать, что в быту она была очень неприхотлива, ей важны были книги, творчество...

Важный принцип ее преподавания — любовь к тому, чем она занималась, и к людям, которые ее окружали. За “своих” могла порвать любого! Она была максималисткой во всем, что касалось работы, и от нас, своих учеников, требовала того же. В ней сочеталось несочетаемое — принципиальность, точность, аккуратность в профессии и какая-то безалаберность и неприязнательность в быту...

Она меня дочерью своей считала и говорила: “Ну надо же! По одной колодке мы с тобой, Ольга, скроены”. Но до нее мне не дотянуться...

Денис Малютин, актер, режиссер (выпуск 1999 г.): «На мой взгляд, Люба дала мне четкий ориентир в эстетике и понимании драматургического материала. У меня нет лучшего примера в работе над словом, чем она. Такой мощный и подробный разбор стихотворного текста и вообще любовь к стихотворной драматургии (Пушкин, Ростан, Лопе де Вега) мне привила именно она. Требовала — всегда! — глубочайшего погружения в предлагаемые обстоятельства. Работая сейчас с артистами как режиссер, я пытаюсь добиться этого от них. Ну и главное, что она сделала и дала мне как артисту — умение на сцене не врать себе и другим! “Истина страстей и правдоподобие чувств” в предлагаемых обстоятельствах. Я горжусь тем, что я был пусть и непутевым, но ее учеником!»

Виталия Александровская, актриса, педагог, работала в мастерской Л. Б. Борисовой педагогом по сценической речи: «Помните, как в песне группы “Кармен”: “Эй, посмотри на меня, делай как я, делай как я!”? Это, конечно, юмор, но многие Любу в этом обвиняли, это было всегда — мол, слишком она яркая, потому и называли ее студентов “маленькими Борисовыми”. А если серьезно, то все по Станиславскому, прямо открывай и списывай смело! “Жизнь человеческого духа”, принцип сценической правды... Ненавидела на сцене ложь, фальшь на сцене и пустое ремесленничество — хотя ремесло уважала. Заставляла проживать, а не изображать, воспитывала художественный вкус, передавала студентам свой огромный, бесценный опыт — все, что составляет суть метода Станиславского: действенный анализ, словесное и физическое действие, сквозное действие, сверхзадача... Но, конечно, слову она придавала едва ли не важнейшее значение, слово — как форма действия. Видение внутреннего зренья, восприятие и оценка, воздействие словом — короче, она была прямым, а не косвенным, последователем Станиславского, потому что одним из ее педагогов был И. Раевский, ученик Второй студии МХТ...»

Сергей Александровский, актер, режиссер, педагог: «Л. Б. Борисова была представителем психологического театра, ей была присуща яркая театральность. Она различала бытовую и сценическую правду!»

Ирина Серебровская, заслуженная артистка России, режиссер, педагог (работала в мастерской Борисовой в 1995—1999 гг.): «Уж если я кого полюбила, — говорила Любовь Борисова, — живым от меня не уйдет!» Она никогда не делила рабочее время на всех студентов поровну. Всегда были любимцы, с которыми она занималась до полного изнеможения, до последней капли, оттачивая все нюансы. «Талантам надо помогать!» — повторяла она, часами репетируя с теми, с кого и спрос был потом больше...

В последние годы она часто говорила: «Жизнь изменилась, изменился театр, возможно, я уже чем-то не владею... Чего-то не умею...» Она признавала это спокойно и предложила мне, молодой, начинающей: «Ирочка, я хотела бы, чтобы вы позанимались на моем курсе с ребятами пластикой, я не владею, а у вас хорошо получается, и им это сейчас в современном театре так нужно...»

При работе над дипломными спектаклями всегда повторяла: «Запомните, главное — это “виходка” (выход на сцену, первое появление) и “сюжет”», требовала от всех подробного понимания материала и работы над образом. Борисова была ярким представителем “старой школы”, учила яркой подаче образа: осанка, манеры, голос, речь — все было важно!

Всегда на всех педсоветах и аттестационных комиссиях отстаивала своих! Прибегала к актерским уловкам в стремлении не дать своих в обиду, иногда даже переигрывала, что ей всегда прощалось! Она была настоящим мастером курса — красивая, мощная, строгая, с великолепным чувством юмора, умела держать дистанцию (со всеми), от нее исходила надежность и строгость. Ее похвала всегда дорогого стоила!»

Екатерина Тихомирова, телеведущая, актриса (выпуск 1999 г.): «Лет двадцать назад репетировали мы в театральном пушкинскую “Русалку”. Я — в главной роли. Кофточка на мне — вышитая, белая, сарафан — голубой, красивый, косы — русые, всё честь по чести и как у автора. И Пушкина-то я не коверкала, и глаза на партнера-однокурсника в нужный момент распахивала, и слезу пускала вовремя... а не шла сцена, и всё. Но мастером курса была педагог, что называется, с фантазией.»

И вот решила она: причина неудачи в том, что я на себе слишком зациклена и о милovidности своей думаю, а не о работе. И принесла мне сапоги. Красные. На три размера больше, обшарпанные и с носами сбитыми. И заставила каждый день в них репетировать. На дворе — май, но, чтобы сапоги эти с меня не свалились, я два шерстяных носка надевала, да что-то еще внутрь каждого сапога подкладывала. Ревела за кулисами, мучилась, но терпела. Однокурсники хохотали, конечно, — ну смешно же, вся такая “русалка Катя” в сапогах-скоороходах!

И так мне было жарко в них, неудобно и обидно, что в один прекрасный момент я устала по этому поводу расстраиваться. Просто перестала думать о том, как я со стороны нелепо выгляжу, и стала думать о том, что я на сцене делаю. Это уже потом, время спустя, до меня дошло, что именно тогда сделала со мной Любовь Борисовна. Как она этим “толстым” педагогическим приемом выбила из меня “дурь девчачью” и работать научила. И урок этот запомнила я на всю жизнь. Уже перед самым экзаменом сжалилась надо мной мастер курса и принесла мне из театра “Старый дом” еще одну пару обуви. И играла я в маленьких аккуратных сапожках, как из сказки.

Зачем истинным красавицам (да еще и королевам магнетизма) излишняя сложность? Царствуй и наслаждайся! Но и это правило было не для Любови Борисовой: правил и ограничений она не терпела. «Знаете, когда бог создавал женщину — это он Любу создавал! — говорит Валентина Ивановна Широнина. — Он вложил и намешал в нее все, что только может быть: она была умна, иронична, при этом коварна (очень!) и столь же сентиментальна. И мудра, и

прямолинейна. Она умела любить — но если уж кто-то становился жертвой ее любви, то это была деспотическая любовь, которой не пожелаешь. И от ненависти ее избави боже — ненавидела она страшно и тоже до конца. В ней были все взаимоисключающие качества. Этим она была сильна и слаба, уязвима и недостижима. Очень противоречивая. Независимая. Непосредственная. Не восхищаться ею было нельзя»⁶.

* * *

« — Вы человек, который борется со своими слабостями?»

— Почему я должна расценивать это как слабость, если это доставляет мне удовольствие? Впрочем, может быть, все, что доставляет удовольствие, — слабость? Мы всю жизнь что-то преодолеваем. Пытаюсь бросить курить и заставить себя заниматься утром гимнастикой. Не выходит. Как ни странно, мне всегда приходилось преодолевать нежелание идти в театр: я чувствовала страх перед каждым спектаклем, пока не садилась за гримировочный стол.

— Что вам мешало в жизни?

— Наверное, прямолинейность. Я Рыба, приспособливаться не умею.

— До меня дошли слухи, что вы решили уехать из Новосибирска, из страны? Не страшно начинать все сначала?

— Пока еще ничего не решила. Но когда мальчик на улице кричит “Хайль!”, мне страшно. Вопрос не только в антисемитизме, хотя это меня задевает лично. Я человек русской культуры, и никто в Новосибирске лучше меня не говорит по-русски»⁷.

Любовь Борисовна Борисова в сентябре 1999 г. уехала из Новосибирска в г. Цфат (Израиль), где и скончалась 21 апреля 2006 года.

...А завершить историю о гениальной актрисе хотелось бы воспоминанием И. М. Раевского о педагоге Л. М. Леонидове: «А как он умел ценить всякое достижение, малейший успех своих учеников, когда видел, что они идут по верной дороге и проявляют настоящее артистическое дарование! Вот хотя бы один из примеров.

В пьесе Чехова “Иванов” студентка Борисова играла Сарру. Шла работа над первым актом. Леонидов, приходя на занятия, любил проверять сцену Сарры и Львова из финала этого акта. И потом, в перерыве, радовался как ребенок, делясь со мной впечатлениями от просмотренного, от того содержания, которое Борисова вкладывала в свою роль. “Вы недооцениваете, как она произносит эту фразу: “Вон кучера и кухарки задают себе бал, а я... я как брошенная”. Обратите внимание, как она произносит эту фразу. Ведь за этой фразой целая жизнь. Бережно относитесь к ней, несите ей все, что можно. Мы можем воспитать из нее очень хорошую актрису, потому что у нее есть настоящий темперамент, а самое главное — есть содержание. Она идет не легким путем, а путем более сложным, путем глубокой работы”⁸.

Источники иллюстраций: Тверской академический театр драмы. 250-летию драматического театрального искусства Твери посвящается / Автор-составитель Н. В. Плавинская. — Тверь, Издатель Алексей Ушаков, 2003; Антонов В. Николай Платонов. Первая грамзапись «Ночи». <http://www.vilavi.ru/sud/210511/210511.shtml>; личный архив Г. А. Зайцевой; личный архив А. В. Бутрина.

⁶ Гусева К. Обыкновенные богини // Театральный проспект, 2017, № 8.

⁷ Лаврова А. Любовь Борисова: «Никто в Новосибирске лучше меня не говорит по-русски» // Новая Сибирь, 1999, 13 августа.

⁸ Леонидов Л. М. Воспоминания. Статьи. Беседы. Переписка. Записные книжки. — М., Искусство, 1960.

Володя ЗЛОБИН

РУССКАЯ ШИРОКОЗАДАЯ: ПЕРИПЕТИИ РЕВОЛЮЦИИ В. Я. ЗАЗУБРИНА

Время было такое: отрубленная голова есаула Кайгородова, хозяина Алтайской сечи, гремела в кастрюле по дороге с гор¹. В Ново-Николаевске только что расстреляли сумрачного барона Унгерна, так и не воздвигшего свою угрюмую кочевую империю. На крестьянских знаменах писали: «Мы боремся за хлеб»², а в отношении пленных энтомологически говорили «приколоть». Пылал Ишим, восстали Вьюны с Кольваньёу, и даже в тихое теперь Коченёво пришлось послать «отряд интернационалистов в 100 чел. с 4 пулеметами»³.

Зыбкое было время, нестойкое — и такие же неукоренившиеся места. Жизнь проникала в людей непосредственно, часто без спроса — лозунгом, пулей и новой страной.

В эти беспокойные годы в Канске была написана повесть «Щепка»⁴ Владимира Зазубрина. С трудом проплыв по XX веку, она вынесла в последующее столетие придержанный ею до поры смёт

и сор. В нем хватает грязи тем, языка и эпохи, но «Щепка» не пачкает, а честно ранит в горло, где снова хрипят комья воспоминаний.

Владимир Яковлевич Зубцов (1885—1937), взявший псевдоним Зазубрин, писатель не совсем уж безвестный. Скорее, это писатель не успевший и заработавшийся. Зазубрин написал очень мало, а из написанного важен лишь «Щепкой», повестью 1923 года о чекистах. Начал Зазубрин лихо, с большим замахом, еще в 1921 году опубликовал первый советский роман «Два мира». Конечно, не роман вышел, а кровавая пурга, о чем сразу высказались противоположные Ленин и Пильняк. Зазубрин собрал красных, белых, пытки, изнасилования, убийства, зверства и вкинул на леденящий сибирский ветер, под воем которого, как известно, бродит лихой человек. Судорожный получился «роман», с вывихом. Текст его прерывист, как кинематографическая пленка, у которой не зачищены склейки. Фабула истерична. Разумеется — молодость, сырость, торопливое желание заглазить свое белое прошлое, но как похоже на будущие великие романы XX века с их знаменитым распадом и содержательной чехардой. А ведь Зазубрину даже подсмотреть было неоткуда — в 1921-м не существовало еще революционных романов о Гражданской войне. Он действовал по наитию, первым, будучи всего-то двадцати пяти лет.

Попав под белую мобилизацию, Зазубрин в 1919 году выпускается из Ир-

¹ Тепляков А. Г. Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920—1930-х годах. — М., «Возвращение», 2007. С. 29.

² Сибирская Вандея. 1919—1920. Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. И. Шишкин. — М., Международный фонд «Демократия», 2001. — Т. 2. С. 643.

³ Сибирская Вандея. 1919—1920. Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. И. Шишкин. — М., Международный фонд «Демократия», 2000. — Т. 1. С. 272.

⁴ Любые цитаты из «Щепки», «Общежития» или «Гор» приводятся по изданию: Зазубрин В. Я. Общежитие. — Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1990. По причине известности текстов сноски, как правило, отсутствуют.

кутского военного училища в звании подпоручика, а на сторону красных переходит не ранее октября 1919, когда колчаковцы, дойдя до Тобола, стали откатываться назад. Так в «романе» воплотились два мира: белый и красный, старый и новый, в сопряжении которых живет, воюет, спорит и гибнет подпоручик Барановский, имеющий сходство с самим Зазубриным.

Первоначальный замысел «Двух миров», даже называвшихся иначе («За землю чистую»), был скорее гуманистический. Характерны следующие размышления Барановского: «Что толку, что в крови? Хорошо, утопят в крови своих врагов, но и сами захлебнутся в ней, в зверей превратятся. Пожар в крови — это чепуха. Надо в сознании. А разве люди придут к сознанию через трупы и кровь? Никогда. Не согласен. Да, сдавался я красным, думал, найду в них людей, хотел честно работать, а теперь вижу, что самое честное, самое лучшее дело — это быть нейтральным. Пусть другие звери перегрызают друг другу глотки, человек должен остаться в стороне...»⁵

Отсюда первая важная зазубринка — посторонность писателя. Зазубрин твердо стоял на партийных позициях, писал о красных партизанах, чекистах, советском быте, о коллективизации, но писал так, что его неизменно обвиняли в поклёпе на эту самую партию и революцию. Ну, в самом деле, что за сомнения в 1921-го году? Какой Барановский? Должно быть все четко, с раз выбранной стороной, а тут какой-то Серебряный век, взвешивание, опять тоскливый русский гуманизм о «теле земли» и об «изуродованной, загаженной человеком жизни»⁶. И сразу вторая зазубринка — понимание писателем своей посторонности и, видимо, его искреннее желание считаться своим, с перечеркнутым раз и навсегда прошлым. Поэтому «Два мира» с каждой из многочисленных редакций теряли свое исповедальное смущение, крепили шаг, становились четче и выдержаннее. Когда в 1923 году питерский Госиздат вдруг переиздал

«Два мира» в первой редакции и с подзаголовком «Исповедь бывшего колчаковского офицера», это привело Зазубрина в ярость: «Я вех никогда не менял и идейно колчаковцем не был никогда»⁷. Но раз так, почему Зазубрин, будучи идейным коммунистом, не ушел от мобилизации в подполье? И почему ушел от Колчака только после разгрома на Тоболе?

Зазубрин пылал каким-то своим особым огнем, различимым в любую метель, но при этом подстраивался, хотел гореть так, как принято, и если по отдельности эти качества весьма распространены, то вместе они слагаются редко. Таков Зазубрин в жизни, где пропутешествовал от красных к белым и обратно, таков в литературе, где проделал путь от стихийного авангарда к соцреализму. Но ни поздний роман «Горы» (1933), ни итоговая пьеса «Подкоп» (1937), опять-таки не вполне каноничные, не принесли Зазубрину славы. Среди этого отчаяния писатель в 1935 году пишет Горькому: «Ведь люди в 38 лет умирали Пушкиными, а я в 40 все еще Зазубрин»⁸.

Не отсюда ли еще одна зазубринская особенность — он хотел поскорее, сразу, наискоски, поэтому с первых же строк любит кровь и пот, и как-то нехорошо любит, с большим вниманием. Это болезненный интерес, заикленность, которая видна в трех ранних (и, в сущности, главных) произведениях, написанных Зазубриным за два канских года: «Двух мирах» (1921), «Щепке» (1923) и «Общежитии» (1923). Как утверждал писатель Федор Тихменев: «Уберите из “Двух миров” кровь, кошмары, садизм; из “Общежития” — вонь, грязь, и сотрясающую брезгливость, и вы снизите их эффект на 75 проц.»⁹.

⁷ Литературное наследство Сибири. Т. 2. Владимир Яковлевич Зазубрин. Художественные произведения. Статьи, доклады, речи. Переписка. Воспоминания о В. Я. Зазубрине. — Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1972. С. 359. (Далее: ЛНС. Т. 2.)

⁸ Яранцев В. Н. Зазубрин. Человек, который написал «Щепку». Повесть-исследование из времен, не столь отдаленных. — Новосибирск, РИЦ НПО Союза писателей России, 2012. С. 618. (Далее: Яранцев В. Н. Зазубрин.)

⁹ Тихменев Ф. О литературных «зазубринках» В. Зазубрина // Сибирские огни, 1928, № 2. С. 226.

⁵ Зазубрин В. Два мира. — Новосибирск, Новосибирское кн. изд-во, 1988. С. 304.

⁶ Там же. С. 160.

Зазубрин пишет наружу. Текст его распорот, оттуда вываливаются потроха. А если шито, то швы как тонкие белые черви — извиваются, прогрызают стежок. Это доступно простой арифметике. В крохотной «Щепке» «гной» упоминается шесть раз, «мертвый» — восемь, «сырость» видна в одиннадцати местах, «мяса» столько же, «пота» уже тринадцать, «холода» — восемнадцать, «бледности» — двадцать, а «расстрела» — пятьдесят семь. С цветом гуще: серого — тридцать девять; черного, без черносоптенцев и чернил, семьдесят один; белого, без белогвардейцев и прочего, шестьдесят шесть; красный встречается сто пять раз, рядом с семьюдесятью четырьмя мазками крови¹⁰. Такой вот город N: грязный, оборванный, с липкой на лбу испариной, с потушенными, по случаю луны, фонарями, серо-черный, с кровавым, по снегу, подтеком. А над городом нависает голодная сине-белая баба с обметанными в лихорадке губами, нечесаная и раздетая, тянущая грязные черные пальцы в уют домов, за амвоны остывших церквей.

Мир «Щепки» инфернален. Пошатнулись несущие основания, реальность размылась, смешался язык. «Щепка» начинается как история болезни, как проказа и ржавчина, как серый каменный пот. Затопали стальные ноги грузовиков... жирной волосатой змеей выгнулась рука с крестом... череп-просвирка... огненные волдыри ламп на потолке... Мир во власти губительных сил, в нем что-то принципиально не так, ибо у моторов нет стальных ног, а лампы — не волдыри. Только стены все так же толсты, неподвижны, в них «несокрушимая твердость камня». Их не прокорябать, не сбежать, и стены давят людей, в последний раз прижимают друг к другу.

Натурализм Зазубрина не замыкается на себе. Какой бы ни была фактура, она, во-первых, спутник эпохи, а во-вторых — возможность спросить о чем-то важном, прорисовав редкие пугающие

типажи. Окрепший Зазубрин говорил об этом так: «Искусство ведь не мясо и не кровь. Искусство — краска, доведенная до силы цвета. Цвет может быть и цветом крови. Разница только в том, что эта “кровь” не пачкает и не пахнет»¹¹.

Проще говоря: кровь всегда рифмовалась со словом любовь.

В «Двух мирах» староста случайной деревни, тщедушный Кадушкин, призывает закопать живого односельчанина в землю. Так нужно, чтобы чехи не пожгли дома, и Кадушкин торопливо, из лучших побуждений, шепчет: «Надо, ребятушки, утаптывать, утаптывать. Он так кончится без мучений».

Получился образ заботливого убийцы, который не по природе такой, а вынудили которого, и даже в преступлении своем он дрожит и хочет, раз избежать казни нельзя, потише и побыстрей. Того же скола щепкинский образ Ефима Соломина, чекиста из крестьян, который, как скотину, утешает приговоренного к расстрелу: «Что призадумался, дорогой мой? Аль спужался?» И даже стреляет Ефим Соломин с лаской, бьет без злобы, только с необходимостью: «А чо их дражнить и на них злоститься? Враг, он когды не пойманый. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчя потом-то».

Остальные палачи не страшны, потому что от зверств своих бледнеют, злятся, тянутся к алкоголю. Это еще живое, способное убить себя, покаяться или спиться. Даже Ян Пепел, безжалостный и строгий чекист, отдаленный от коллег акцентом, таит какой-то невроз, неизбежную усталость машины. Ефим Соломин не таков. Его невозможно поколебать: он защищен не идеологией, а русским крестьянским упорством, понятным отношением к миру — как к запустевшему скотному двору. Ефим потому страшен, что «не мог злиться на корову», он по-крестьянски сноровист и терпелив.

¹⁰ Подсчитано по первой редакции. См.: Зазубрин В. Щепка. Повесть о Ней и о Ней. Предисловие Валериана Правдوخина // Сибирские огни, 1989, № 2. С. 3—41.

¹¹ Зазубрин В. Литературная пушнина // Сибирские огни, 1927, № 1. С. 211—212.

С той же деревенской смекалистостью он собирает крестики с ладанками на игрушки детям. Не пропадать же им, в самом деле. Пусть послужат. Это не банальность зла, когда злодеяние рутинно и обезличено. И не трогательная интеллектуальность, как у товарища Лайтиса из «Голодного года» Пильняка, который днем подписывает аресты, а вечером рассуждает «о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете». Ефим Соломин проще. Выступая на митинге, он говорит о партийности как о пшенице и удивляется тому, что ЧК считают убийцами: «По яво, и Ванька убиват. Митька убиват. А рази он понимает, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убийство, а казнь — дела мирская...»

Убийство — это воля отдельного человека, а если волит партия, понятая Ефимом как намотанная на кулак вервь, то решение мира — вне ошибок и личных пристрастий, ведь там, вне мира, одно «охвостье, мякина». А раз так — можно в яму его, в землю, чтоб на следующий год напитал «пшеничку». Все польза будет.

Террор Ефима Соломина пока еще не от города, а от сохи: хозяйственный, с поглаживанием головы. Надо убить, значит, убьем. С привлечением богатого коровьего опыта. Заранее потянуло Востоком: Кампучией, Нанкином, безмолвными бревнами «Отряда 731». «Щепка» предугадала не только газовые камеры, но закономерный итог индустриального романтизма, безграничной веры в разум и прогресс: «...“просвещенное” человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. <...> Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в вакуум, и вазелин, в смазочное масло».

А вот у Зазубрина почти О'Брайен, когда тот запугивает Уинстона Смита: «Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов

подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемальывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

И, в подтверждение, знаменитый Оруэлл: «Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете»¹².

Или размышления Срубова о казни: «Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара».

А вот, казалось бы, кто-то совсем из другого мира — Эрнст Юнгер: «В детстве, когда я едва научился читать, на меня большое впечатление произвел один случай времен боксерской войны. Кажется, это был рассказ одного офицера из штаба Вальдерзее о казни китайских заложников. Они стояли в длинной очереди, дожидаясь, когда им отрубят голову. Офицер обратил внимание на одного китайца, который, стоя в этой очереди, читал книгу. Это зрелище его поразило, и он выпросил у распорядителя казни сохранить жизнь этому человеку, его просьба была исполнена. Он сообщил читающему, что тот помилован. Китаец вежливо поблагодарил его, сунул книжку в карман и ушел с места казни, где все продолжалось прежним чередом»¹³.

Будь Зазубрин европейским писателем, он бы занозил «Щепкой» многих великих, но, вот парадокс, родился он в Ев-

¹² Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. — М., «Прогресс», 1989. С. 172.

¹³ Юнгер Э. Годы оккупации (апрель 1925 — декабрь 1948). — СПб., Владимир Даль, 2007. С. 67—68.

ропе, Заzubрин бы ничего подобного не написал. Есть у русских писателей такая черта — писать что-то важное, пронзительное, но неизвестное, светящее лишь для своих, чтобы в темном таежном углу тихо знали о том, что будет со всеми через много-много лет.

Так, Заzubрин чуть ли не первым придумал одну из самых известных метафор всего XX века. Еще до сталинской речи 1945 года Заzubрин выразился о людях как винтиках в механизме: «И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма».

Творчеством своим, судьбой Заzubрин заранее показал, что жертва сильнее палача, художник побеждает идеологию, а винтик может заклинить весь механизм. И не с пафосом борьбы показал, а окольными путями, ненамеренно, может, даже вопреки себе и собственным убеждениям. Раздвоенный это писатель, ненамеченный. Не зря у «Щепки» подзаголовок: «Повесть о Ней и о Ней». Заzubрин разделил Революцию, которая насмешливо похожа на то, что выкликал весь Серебряный век — символисты, великий девственник Соловьев, Мережковские, Блок. Ну вот выкликнули, пришло... Не понравилось. Оказывается, важно, какому чародею отдавать красу. А вместо Софии может явиться Катька: «Она не идея. Она — живой организм. Она — великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить».

Если Заzubрин важен «Щепкой», то «Щепка» важна образом Революции. Кровь, язык-пурга, сумасшествие, размытость реальности — это было и до Заzubрина, например, у любимого им Леонида Андреева, и тем более будет после, в прозе куда как сильнее, но заzubринская Революция... такое было только раз, здесь, на великой русской равнине, и увидеть ее удалось лишь из занесенного снегом Канска.

Срубов отвергает очевидные мифологические отсылки, представляющие Революцию как жуткое хтоническое воплощение: Тиамат, Кали или Гекату с

острой зубчатой короной. Говоря о неправомерности «античной или библейской» генеалогии, Срубов прерывает линию, заданную Французской революцией — от культуры, от города с женщиной-нацией, у которой призывно оголена одна грудь. Женщину эту запечатлел Делакруа¹⁴ и омертвил буквой романтики: «И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодovitую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку».

В России не так. Революция здесь жуткая, но не апокалиптически жуткая, не Библия и не кто-то из-под земли, а сама земля, что-то привычное, приземистое, невымытое, в платке, ожившая мухинская «Крестьянка», которая приспала Русь. Заzubринский образ Революции страшен, ибо оригинален. Заzubрин ушел как от библейского канона, так и от мифического; отказался от нововременной женщины с мечом, зовущей куда-то, и слепил Революцию из суглинка, из сладкого родящего чернозема: «Но для меня Она — баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке».

Такой бы памятник. Или даже алтарь. Заzubрин возводит его то длиннотами, то частит, как в лихорадке, тифозно, трещоточно, с прострелами. Язык рубленый, телеграфный, когда нет возможности отбить длинное предложение, — эпоха метет, холодно, страшно. Да и мысли — «комками, лоскутами, узлами, обрывками». И какие мысли! Опять что-то не то, дескать, чекисты — кровь Революции, а кровь, «вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет». «Человек, обративший средство в цель,

¹⁴ См. картину «Свобода, ведущая народ».

сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается» — поэтому нет, ничуть не жаль тех, кто спускается в подвал не во имя Ее, а за сладостью, наслаждением. И особенно не жаль тех, кто думает, что все позволено: «Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено».

Произнося это, Срубов ломает карандаш, и ясно, что чекист — такое же пишущее средство, и надо будет — тоже переломят. Серы его будни, ведь карандаш и тогда сер, когда подписывает приговор: «И наше — Красное Знамя — ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд».

К концу повести Срубов сходит с ума и плывет по красной реке вместе со своими жертвами, перекинувшимися в персонажей русского фольклора. Река неожиданно разливается, выходит на простор и блестит не ало, а тихо, как под луной. Когда крови очень много, она превращается в океан, по которому можно доплыть куда угодно: «Срубов *все же* (курсив наш. — В. Э.) видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан».

И хотя Срубову не удастся залезть на корабль («гладки, скользки борты»), и давит в затылок знакомый холод, Срубов *все же* видит возможность спасения. Вот это *все же* пробирает до мурашек, так как признает неодолимость свершенного, но готово его оправдать. *Все же* — это «как бы то ни было», «тем не менее», «при всем при этом», «вместе с тем», «опять-таки»... Два ключевых, неслучайных слова, маленьких и обо всем говорящих: *все же* не напрасно стреляли, есть оправдание, смысл есть. Это не Ключев с его потиром, а понимание своей принципиальной не-святости, чудовищности даже, но... *все же*. И хотя Срубову не выплыть

на осветленный простор, он, как и другие щепки, утнет за собой грязь и тину, уйдет на дно вместе с убитыми, расчистит, освободит дорогу. Хорошо станет, судноходно. По крови только первыми плыть не хотят. Потом — кто и как угодно.

То есть «Щепка», произведение подвальное, гекатомбное, кровавое и откровенно нездоровое, произведение, где сходит с ума даже главный герой, это все-таки произведение за революцию¹⁵. В одном из писем 1923 года Зазубрин признается, что «искренне хотел написать вещь революционную, полезную революции. Если не вышло, то не от злого умысла»¹⁶. Не просто это: знать про кровь, четко определять ее как безумство, но присовокуплять: *все же*... Отсутствие простейших механизмов психологической защиты. Невозможность соврать или придумать отговорку про время, необходимость, перегибы... Нет, убивали ради распухшей рябой бабы с косматой головой. И любили тоже ее — не мраморноликую, не стройную и величавую, а расхристанную синеглазую людоедочку. Здесь весь Зазубрин — гневный, прямолинейный, до иступления честный. И эта его толстобрюхая косматая Революция... От кого, людоедка, беременна? И кого родишь?

«Щепка» наглядно показывает сторонность Зазубрина. Во-первых, зазубринско-срубовский портрет. Неуместная ко времени борода и тот же страдальческий поворот с блеском темных глаз, как у Гаршина. Срубов тоже бордат, причем длинно, черно, лохмато, т. к. способен то забирать «в рот бороду», то туда же ее «толкать». Это не бороденка Дзержинского, а лопата, ярмарка, старообрядчество. Откуда, зачем? На фотографиях чекисты бриты, а если что-то и есть, то жестко, коротко. Лишние волосы — лишние сомнения. Даже первичное разделение у Срубова не классовое, а глубже, как в подвале, где голые наконец «поняли, чего хотят от них одетые»...

¹⁵ Слово «революция» употребляется с прописной буквы, когда это соответствует контексту «Щепки», в остальных случаях — со строчной.

¹⁶ ЛНС. Т. 2. С. 358.

Механический Ян Пепел презрительно бросает Срубову: «Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий».

Философию Заzubрин позаимствовал у Достоевского. Ненависть — у Нечаева, перед которым он в юности преклонялся (молодой Заzubрин даже планировал экс на сорок тысяч, чтобы связать сызранских революционеров общим преступлением¹⁷). Потому в «Щепке» на виду «Бесы» с идеями Петра Верховенского, из Достоевского же встреча с двойником. Неприятие Иваном Карамазовым гармонии, если она стоит на «слезинке замученного ребенка», становится в «Щепке» вопросом отца Срубова к сыну, согласился бы тот стать архитектором здания «судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой», если б необходимо было замучить всего одно крохотное созданище? «Преступление и наказание» прорезается в поступке следователя Иванова, который решил изнасиловать арестованную Новодомскую, ибо «ее все равно расстреляют». И вот мысли Срубова: «Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабской душонки. <...> Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?»

Итоговое решение зло-Соломоново: расстрелять и Иванова, и Новодомскую. Иванова первым, чтобы по справедливости. Опять же, отличие справедливости от любви: по справедливости — виновны все, из нее нет спасения. Справедливо недовольство рабочего, справедлива ненависть революционера, справедлив гнев реакции, и круг замыкается, красный и белый становятся серыми, тоскующими об отмщении. А надо бы о любви. Так в пору Гражданской смогли немногие, вроде Максимилиана Волошина.

Срубов в этой же ловушке: справедливость его революционная, способная отпустить крестьян на свободу, а любовь страшная, разрывающая, требующая полюбить расстрел. Срубов выбор не делает, мечется, раздваивается и сходит с ума, что вполне здраво, ибо от безумия, как

показал XX век, может спасти только тотальное безумие. Даже Николай Курбов (1922) Эренбурга стреляется, так как находит себя слабым, несоответствующим революции, тогда как сумасшествие Срубова — это и полный от нее отказ, и полная к ней любовь. Срубовскую революцию невозможно принять, оставшись цельной личностью, и Срубов разграфляет¹⁸ себя, шизофренически ужасаясь и любя Революцию. Будучи палачом, честно сойти с ума — только так можно что-то в себе сохранить.

И потому — все же.

Зазубрин с юности был или старался быть коммунистом, но всегда как-то по-своему, иначе, с оглядкой на что-то невыясненное. Заzubрин на смерть Ленина апокалиптически заявил: «Марксизм социал-демократами всего мира превращен в... талмудизм»¹⁹. Ликуя от лицемерия XV съезда партии, Заzubрин почему-то пишет: «Набальзамированный труп лежит под стенами Кремля. Ногти на руках у него чернеют. Неправильная или не к месту приведенная цитата из книг Ленина кажется мне его мертвой рукой с почерневшими ногтями»²⁰. А из беседы с Унгерном выписывает слова неистового барона: «Учение вашего Ленина и коммунизм — тоже религия. Я полагал, что с религиозной идеей и такой сильной, как ваша, можно бороться тем же оружием — религией». Будучи редактором «Сибогней», Заzubрин печатал откровенных «попутчиков» и даже противников советской власти. Подписывался иногда как «В. Ничей», неплохо знал европейскую литературу (даже в последнем письме к Ежову он вдруг упомянул очерк Гейне про африканского короля), а также читал психоневролога Залкинда²¹.

¹⁸ «Разграфить» — то есть зарубить шашками, употребляется в «Щепке».

¹⁹ Заzubрин В. К = (С. В.) + Э - Л. Минус Ленин // Советская Сибирь, 1924, 27 января. С. 6.

²⁰ Заzubрин В. Заметки о ремесле // Сибирские огни, 1928, № 2. С. 249.

²¹ Связь творчества Заzubрина с работами Залкинда заzubриноведами почти не рассмотрена. Исключение составляет упоминание Арона Борисовича О. А. Хасановым, ищущим прототип доктора Зильберштейна из «Общесития», а также расширенное упоминание этих поисков заzubриноведем Е. Н. Проскуриной.

¹⁷ Яранцев В. Н. Заzubрин. С. 11.

Арон Борисович Залкинд (1888—1936), пионер психоанализа в СССР и отец педологии, рассматривавший в центральной советской печати вопросы психопатологии, мог оказать некоторое влияние на творчество Зазубрина. Писатель вспомнил о Залкинде в январе 1924 года, когда при разборе рассказа «Общежитие» на Зазубрина обрушились обвинения в «нахальстве», «порнографичности» и «клевете на совработников»: «В заключительном слове Зазубрин сказал, что он очень удивлен обвинениями в сифилизации партии на 100 проц. Зазубрин напомнил, что в его повести больны только два коммуниста, что, основываясь на работах доктора Гельфанда и Залкинды, он имел право говорить, что среди коммунистов есть и больные, и люди неправильно оценивающие роль половых отношений в комплексе физиологических отправления организма»²².

Интерес Зазубрина к Залкинду понятен. Зазубрин физиологичен, кровянист, он даже в очерке на смерть Ленина²³ вторым предложением цитирует массу мозга («Головной мозг... без твердой мозговой оболочки... 1340 гр.»), словно опровергает слухи о нехорошей ленинской болезни. Об этом и разгромленное «Общежитие» — критика советского быта с позиции скученности, пота, липкости и сифилиса. В свою очередь, Залкинд занимался социально-биологической критикой партии. Об этом ряд его работ двадцатых годов. Так, в статье 1924 года «О психоневрозах коммунистического студенчества» Залкинд приводит выборку 600—700 коммунистических студентов из разных вузов и с рабфаков с 1919 по 1924 год²⁴: «Большинство товарищей серьезно заболело в боевую паузу, т. е. после 1921 года», причем спровоцировал психоневрологические расстройства НЭП. В частности, некий товарищ С., 22 лет, рабфаковец, два с половиной года

прослуживший комиссаром в полку, ныне считает, что «НЭП придавил», «тоска и злость одна», а «святые люди, уйдя из революционных боев, в прозе будней начали быстро прогнивать». В революции товарищ С. не разочаровался, но разочаровался в действительности, мещанстве. Еще характернее другой случай. Некий товарищ П., 24 лет, страдает галлюцинациями, бессонницей. П. много воевал на фронтах, после стал во главе отряда ЧК, а когда у ВЧК с 1921 года стали отбирать полномочия (например, на внесудебные расстрелы), перешел на мирную работу: «Это его “не устраивает”. Он всячески доказывает, что действительное успокоение еще не наступило, что враг лишь закопался глубже, что корни врагом пущены глубоко, что рано праздновать мир. Однако, боевых поручений у него больше нет, и на тихой административной работе он постепенно нервно заболевает. Торжествующие нэпманы, жирные и нарядные, — выставки в магазинах, обнаглевшая экономическая уголовщина, — все это приводит его в неистовство, лишает его покоя, умственной гибкости, доставляет ему грубую физическую боль. Появляются и все более обостряются, углубляются вышеуказанные нервные симптомы. При переходе т. П. в ВУЗ нервная болезнь препятствует ему успешно заниматься; появляются головные боли, отвращение к умственному труду. “Мы сейчас лишние здесь”, скорбно говорит т. П., “сейчас нужны другие люди”, — “мы годимся лишь для опасности, для боя, — серенькая тишина нам не годится, и мы для нее не годны”»²⁵.

Дальше у товарища П. развивается истерический сомнабулизм, что, при прочих совпадениях, приводит чуть ли не к финалу зазубринской «Щепки»: «...т. П. как бы переходит в другой мир, где и осуществляет свои вожеления, столь чуждые современной мирной реальности: он снова в боях, командует, гонится за противником, служит революции — посвоему»²⁶.

²² Литературный кружок // Советская Сибирь, 1924, 15 января.

²³ Зазубрин В. Смерть // Сибирские огни, 1924, № 1. С. 3.

²⁴ Залкинд А. Б. Революция и молодежь. — М., Издание Коммунистич. ун-та. им. Свердлова, 1925. С. 32.

²⁵ Там же. С. 43.

²⁶ Там же.

Свои взгляды на неврологическое здоровье большевиков Залкинд про- суммировал в статье 1924 года «Язвы Р.К.П.»²⁷. В ней Залкинд попытался классифицировать психопатические проблемы членов партии и увязать их с социальным происхождением и политической ориентацией. Залкинд столкнулся с разгромной критикой, из-за чего ему пришлось воспроизводить один из магических советских ритуалов — доказывать верность теологическим догмам марксизма, подчеркивая, что автор ни в коем случае не подменял «социологический анализ» «неврологическим»²⁸. Так же громили Зазубрина: как он ни доказывал, что сифилис, соития и грязь «Общежития» — лишь метод, прошлый мир, ему вменили клевету на партию. Методы Залкинда и Зазубрина схожи: оба они попытались (научно и художественно) подчинить половое классовому, но если Залкинд разработал для этого знаменитые «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», то Зазубрин увидел выход в любви. К слову, Залкинд знал и упоминал революционную литературу начала двадцатых: «Неделю» Либединского, «Шоколад» Тараса-Родионова, Вячеслава Иванова²⁹, поэтому мог читать определенно психопатичные «Два мира», а Зазубрин, в свою очередь, мог читать Залкинда в притягивавшей его «Красной нови»³⁰. Причем Залкинд оценивал творчество той же сибогневки Сейфуллиной по-фрейдистски — как движение бессознательных сил³¹.

В ходе работы над «Щепкой» и «Общежитием» (первая половина 1923 года) Зазубрин мог читать регулярные колонки Залкинда в «Правде». В частности, в № 19 за 1923 год была опубликована

заметка «Марксизм на первом всероссийском съезде по психоневрологии» за авторством самого Залкинда. Разбирая ряд докладов, Залкинд останавливается на выступлении психолога Георгия Челпанова, указывая, что его философия заражена «идеологическим сифилисом». Залкиндом также используются тропы про «тайный брак» и «развод», что в целом (особенно про сифилис) соответствует тематике «Общежития». Само по себе обсуждение сифилиса и половой темы не было для центральной советской печати чем-то запретным. В № 214 «Правды» за 1922 была опубликована заметка «Еще несколько цифр и замечаний по поводу движения венерических заболеваний у нас», где указывалось на рост заболеваемости сифилисом и приводилась подробная статистика о смертности беременных и их детей от этого недуга. Дискуссия о венерических заболеваниях разворачивается в № 193 и № 203 за 1922 год, а также в «Известиях В.Ц.И.К.» (21 июля 1922-го).

В № 38 (1923) Залкинд публикует текст, с помощью которого мог защищаться Зазубрин при разгроме «Общежития». В заметке «Заболевания и лечение партийных работников» Залкинд говорит об особом нервном истощении революционных кадров, добавляя, что «коммунист, чем бы он ни болел, — всегда при этом нервно-болен». Залкинд сгущает краски и живописует «кризис партгигиены», апокалиптические масштабы партийного помешательства. А в № 173 того же года опубликована статья Залкинда «Рефлекс революционной цели», где он договаривается до существования «классовых рефлексов организма» и попутно присовокупляет: «Половая жизнь, — по мнению одного из самых глубоких психопатологов современности, проф. З. Фрейда, — является источником огромного количества нервных и общебиологических нестроений».

Примечателен конец этой большой статьи: «История такие правила и ритмы выдвигает стихийно: новые формы быта, назревающие внутри партии и во

²⁷ Статья была напечатана в «Правде», а потом вошла в сборник «Очерки культуры революционного времени» (М., «Работник просвещения», 1924).

²⁸ Залкинд А. Б. Революция и молодежь. С. 49.

²⁹ Там же. С. 108.

³⁰ Залкинд А. Б. Фрейдизм и марксизм // Красная новь, 1924, № 4. С. 163—186.

³¹ Пружинина А. А., Пружинин Б. И. Из истории отечественного психоанализа (историко-методологический очерк) // Вопросы философии, 1991, № 7. С. 106.

всем рабочем классе, новые элементы морали, иное разрешение полового вопроса, — этим история строит классовую психофизиологию. Надо помочь истории, понять со устремления (так в тексте. — В. З.) и овладеть ими. Тов. Троцкий чутко и своевременно приступил к этому в социолого-культурном разрезе. Необходимо начать эту работу и в биологическом разрезе».

В 1923 году Троцкий совершает культурный разворот, выпуская труды «Литература и революция» и «Вопросы быта». Троцкий обратился к повседневности, которую предлагал — в том числе в физиологическом аспекте — революционизировать. Это сопровождалось публицистической кампанией в «Правде». В № 153 была опубликована статья Троцкого «Чтобы перестроить быт», в № 155 вышла статья «От старой семьи к новой», а большая статья «Вопросы быта» появилась в № 181 и № 183. Троцкого поддержал Залкинд, который в № 96 за 1924 год опубликовал статью «К практике нового быта», где объявил, что пролетариат находится в стадии «первоначального социалистического накопления».

Обсуждение не прошло мимо Зазубрина: доктор из «Общежития» Лазарь Исаакович Зильберштейн очевидно схож с Троцким³². Он хочет утопически решить проблему человеческого воспроизводства и половых болезней. Зазубрин иронизирует над этим, увидев выход не в наивном оплодотворении жены Зильберштейна, а в простой и безболезненной любви молодых партийцев.

Влияние Залкинда на Зазубрина не стоит переоценивать, но ряд неожиданных совпадений (нарративы быта, семьи, сифилиса; психопатические случаи, сходные с сумасшествием Срубова) может немного расширить круг тех источников, на которые Зазубрин опирался, когда писал в 1922—1923 годах «Щепку» и «Общежитие». Более точные ответы таятся во внимательном прочтении центральной советской периодики начала двадцатых

³² См. работы О. А. Хасанова и Е. Н. Проскуриной.

(«Труда», «Правды», «Вестника труда», «Работника просвещения», «Призыва» и др. газет 1920—1923 годов, где печатался Залкинд³³). Многие оттуда до сих пор не введено в оборот. Например, в октябрьской «Правде» 1922 года (№ 239) была опубликована статья Валериана Правдухина «Молодая литература в Сибири», посвященная «Сибирским огням» и их авторам. Из этой статьи можно узнать о первоначальном названии «Щепки»: «Сейчас В. Зазубрин работает над новой повестью “Раненый”, которая должна появиться в № 5 “Сибирских Огней”». И в первых набросках, и в теме, взятой В. Зазубриным, чувствуется редкая и ценная смелость растущего и дерзкого таланта. Он пытается через своего героя дать нам картины революции, будничной работы Чека, падений и восстаний человека в вихре революции. В. Зазубрин, несомненно, растет».

То, что Зазубрин был смел и дерзок, хорошо показывает следующий случай.

Критик Корнелий Зелинский описал встречу писателей со Сталиным 26 октября 1932 года на квартире Горького, где прозвучало знаменитое изречение про «инженеров человеческих душ». Зазубрин, сидевший прямо напротив Сталина, зачем-то долго и подробно сравнивал его с Муссолини, сводя мысль к тому, что у дуче просматривается «условный рефлекс на величие», а в образе Сталина величия нет, отмечая «простоту речи и поведения, рябину на лице». Присутствующие потупились, а сам Сталин, которого в лицо сравнивали с Муссолини, нахмурился.

Зазубрин обладал честностью без такта и чуткости. По поводу присылаемого в «Сибирские огни» Зазубрин говорил: «Если бы мы печатали всех рабочих и крестьян, присылающих в журнал свои рукописи, то редакция обратилась бы в богадельню, а литература не обогатилась бы ничем ценным». Впервые пришедшую к Зазубрину писательницу Надежду Чертову он с ходу обозвал «навозной»³⁴,

³³ А. Б. Залкинд: Автобиография; Личный листок; Характеристика // Философские науки, 2010, № 4. С. 59.

³⁴ Чертова Н. Незабываемая школа // Сибирские огни, 1947, № 1. С. 152.

прямо намекая на ее ненужность в Сибири. Писатель Вивиан Итин, соратник Зазубрина по «Сибирским огням», называл его «злым»: «...Зазубрин это человек злой. У него, конечно, — борода; но его лицо замечательно быстро краснеет. Если Зазубрина положить на применяющиеся в экспериментальной психологии весы, уравновесить и сказать что-нибудь неприятное, он мгновенно перевернется головой вниз. Вся кровь бросится у него к кулакам и клыкам (не потому ли его творчество такое кровавое?)»³⁵.

Кровавое-то кровавое, но ведь как угадал Зазубрин с чередой расстрелов. Расстреляны пролетарвары Лелевич, Авербах и Вардин, осадившие «Сибирские огни». Расстрелян противник напостовцев Воронский, внимания которого так пытался добиться Зазубрин. Расстреляны сибирский критикан Александр Курс и те, кто его прикрывал: бывший первый секретарь Сибкрайкома Сергей Сырцов и один из отцов сталинских репрессий Леонид Заковский³⁶. Из основателей «Сибирских огней» расстреляны Давид Тумаркин, Михаил Басов и критик Валериан Правдухин, написавший в предисловии к «Щепке», что прежняя русская литература напрасно претворяла «никчемную кантовскую идею о самодевлеющей ценности существования каждого человека»³⁷. Может быть, помня об этом, Правдухин мужественно терпел пытки более полугода и показаний не дал. Может быть, он не дал их вообще — чужая приговорила руку. Расстрелян один из инициаторов «СО» Дмитрий Константинович Чудинов, расстрелян жаловавшийся на зазубринскую кровавость Итин, убит Александр Ансон, дореволюционный интеллигент Вениамин Вегман умер в следственной камере. Из авторов расстреляны Исаак Гольдберг, Михаил Ошаров, Михаил Кравков, Павел Васильев, Георгий Вяткин, Порфирий Казанский; за десять коротких минут при-

говорили к расстрелу краеведа Вячеслава Косованова, погибли в заключении Петр Петров и Евгений Забелин...

Погибли, и оттащили веревками в темный загиб³⁸. Тянули за веревку грубые женские пальцы, задубевшие от ледяной воды, с опухшими суставами и грязно-желтыми от прищелкнутой вши ногтями. Светились во тьме синие глаза. Раздувались мясистые ноздри. Умела ли считать зазубринская Революция? Наверняка умела. До пяти уж точно³⁹.

В сентябре 1937-го расстрелян сам Зазубрин. На расстрельном списке от 31 августа 1937 года⁴⁰ стоит размашистая синяя подпись Сталина, похожая на серп и молот. Зазубрин проходил по второй категории (всего одиннадцать человек по Москва-центру), из которой, насколько удалось установить, расстреляли только Зазубрина⁴¹. Странная исключительность, волей-неволей отсылающая к тому злополучному сравнению Сталина с Муссолини.

Зазубрину приписали «участие» в антисоветской террористической организации. Вспомнили и эпизод с «работой» на «охранку». Сызранская группа РСДРП в декабре 1916-го приняла решение заслать молодого Зазубрина в охранный отдел с целью разведки, чем он под фамилией Минин и занимался целых три месяца. После были обвинения в провокаторстве и партийный суд, где Зазубрин был полностью оправдан, в том числе по показаниям бывшего начальника сызранской «охранки» Ивлева⁴².

Но даже без «охранки» и белых Зазубрина вряд ли ожидала иная судьба.

³⁸ См. «Щепку».

³⁹ В «Щепке» расстреливают «пятерками».

⁴⁰ РГАСПИ, ф. 17, оп. 171, д. 410, л. 305.

⁴¹ Все из списка получили большие сроки в ИТЛ. Не удалось установить судьбу только Брезгуновой Марии Ивановны и Чупракова Василия Михайловича, которые не значатся ни в одной из доступных баз жертв политических репрессий. В тематических расстрельных мартирологах по г. Москве они также отсутствуют, что подкрепляет тезис об исключительности расстрела Зазубрина. Тем не менее даже на 2020 год не существует окончательных списков расстрелянных по Москве.

⁴² Федоров Г. Новое об авторе первого советского романа. К 80-летию В. Я. Зазубрина // Сибирские огни, 1975, № 6. С. 172.

³⁵ Итин В. Поэты и критики // Сибирские огни, 1927, № 2. С. 227—228.

³⁶ Поздняков Б. Павел Васильев в Новосибирске // Сибирские огни, 2012, № 3.

³⁷ Юрасов И. Рождение журнала // Сибирские огни, 1962, № 3. С. 7.

«Сибирские огни» проредили по той же схеме, что и их родителя — знаменитую «Красную новь», на которую ориентировались «СО»⁴³. Как и Воронскому, Заzubрину приписали фамильный порок, зазубринщину, — протаскивание в литературу буржуазно-кулацких идей. Партия строила «правильную» литературу, где не было места колеблющимся, и Заzubрин держал оборону в «СО» вплоть до своего ухода весной 1928 года. В 1930-м журнал ужимается, зато становится ежемесячным. Из плана публикаций вырезаются крупные вещи⁴⁴.

Зазубрина постоянно критиковали за попутичество, добавляя, что «литература испытывает какой-то странный разрыв с жизнью»⁴⁵, тогда как любое искусство и есть фундаментальное расхождение с действительностью. Искусство — это система расстояний, нечто, способное отдалить бытие без его потери, вечная видимость недоступного. Расстояние не только позволяет взглянуть на жизнь со стороны, но и оберегает ее от прямого вмешательства — великая ценность художественной литературы в том, что она не имеет юридической силы. Ни один роман, даже самый идеологический, не может заявить, что после своего прочтения он вступает в законную силу и требует поступать в соответствии с ним. У художественной литературы всегда остается опасность неисполнения, поэтому она никогда не может полностью удовлетворить власть. Поэтому самые радикальные пролеткультовцы ратовали за очеркизм и газетность, жанры, наиболее соприкасающиеся с жизнью, а значит, и обязательные к исполнению, как это было с нехорошими передовицами 30-х годов. Призыв «не разрываться с жизнью» — это призыв к уничтожению литературы, потому что литература — в стихах ли, в прозе, документальная ли, даже идеологическая — хотя бы чуточку, но пребывает в той дымчатой, никому не

принадлежащей стране, что зовется выдумкой и фантазией. Вот почему Александр Курс так яростно хотел залепить «кирпичом по скворешне»⁴⁶ тем, кто до сих пор пишет «толстые романчики о советских Кутузовых»: «Но что случилось? Отчего вдруг зачала у нас литература? Может быть, злой советский режим загубил этот нежный цветок, требующий особого тепла и заботы? Нет, есть литература. Но кое-что загубил советский режим — это верно. Загубил ту литературу, которой исторически предназначено пойти к собакам: литературу выдумки, кишкзаворотного психологизма, километровых полотен, литературу гармонического и всякого иного невиданного человека».

Всевозможные Курсы сделали свое дело и были уничтожены, а на месте учиненного ими разгрома организовали бесхитростную советскую литературу. Но даже когда Заzubрин писал под соцзаказ, у него получались странные вещи. Таков, например, роман «Горы», посвященный коллективизации на Алтае, а на деле окунающийся в мир алтайской природы, этнографии, радений, шаманства, охоты и звонкого язычества. Не что-то классовое, а натурфилософия, ода земле. Идеология вторгается в эту идиллию неожиданно, как выпавшие из кармана главного героя записи о Сталине, которые он вдруг принимается читать: «Вы обнаружили у меня действительно большую поэму»⁴⁷.

С опорой на Горького Заzubрин пытался доказать партии свою верность, но опять замечтался и пошел наперекор канону соцреализма, требующего изображения «положительного героя-творца»⁴⁸ и борьбы с натурализмом. Без натурализма Заzubрин вообще не может, это основа его поэтики, а положительные герои-творцы... Поручик Барановский из «Двух миров» убит, Срубов из «Щепки»

⁴³ В частности, кальковость «СО» отмечал Михаил Михайлович Басов.

⁴⁴ Яранцев В. Н. Заzubрин. С. 491.

⁴⁵ Нужна ли нам художественная литература // Сибирские огни, 1929, № 1. С. 192.

⁴⁶ Курс А. Кирпичом по скворешне // Советская Сибирь, 1928, 17 июня. С. 2.

⁴⁷ Заzubрин В. Я. Общезитие. С. 331.

⁴⁸ Полное определение см.: Энциклопедический словарь. — Л., Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности, 1935. С. 271.

сходит с ума, честный коммунист Аверьянов из «Бледной правды» расстрелян по решению коммунистического же суда, насельники «Общежития» перезаражали друг друга сифилисом, «Горы» оканчиваются тем, что у главного героя Безуголова умирает жена («Анна, кажется, тянет последние дни») — бабка сделала ей аборт вязальной спицей, сын Никита искалечен, кулаку Мореву удается сбежать, а сам Безуглый мучается, «что возникло подозрение в его честности. Он скрыл свое происхождение, обманул партию»⁴⁹. Наиболее соцреалистическим оказывается последнее произведение Зазубрина — пьеса «Подкоп» (1937). Оно же и самое слабое. Не к марксизму тяготел Зазубрин, а к поэзии, которая, конечно, отнюдь не стихи. Как однажды Зазубрин сказал Федору Тихменеву: «Я всегда радуюсь, когда встречаю человека, способного к поэтическому восприятию мира»⁵⁰.

Даже непонятно, почему Зазубрин удивлялся нападкам на свои произведения. На что он вообще рассчитывал, когда в том же «Общежитии» острил: «Скажите, какие билеты будут выдавать советским проституткам — желтые или красные?» Складывается ощущение, что Зазубрин вспоминал о необходимости *соответствовать* в самый последний момент, когда произведение было не то что продумано, а уже закончено. И вот рубят людей обезумевшие чекисты, летят из мясной избушки щепки, а в самом конце вдруг про океан и «все же». Перезаражалось партийное общежитие сифилисом, но ведь «румяным пятнышком» горит во всем доме окно Феди Русакова, к которому ходит красногубая курсантка Катя Комиссарова. Почти все «Горы» посвящены восторженному языческому натурализму, а потом из кармана выпадает что-то про Сталина. Триумфом оканчивается только «Подкоп», но и задача этой неудачной пьесы — сойти за своего, избежать трави.

В столкновении двух миров — излюбленной темы Зазубрина — писатель стал щепкой, отлетевшей от плахи истории. Парадокс, но столкновение старого и нового, белого и красного, буржуазно-мещанского и революционного, то есть весь комплекс взаимодействий и противоречий двух миров, в полной мере не могло быть выражено в 20—30-е годы XX века. Слишком много помех и заинтересованных лиц. С одной стороны — юность в Российской империи, сильное влияние Серебряного века, а с другой — еще не состоявшееся новое, обротившееся вскоре во вполне знакомый термидор. О двумерности можно было бы высказаться после отжития старого и созревания нового — где-то с 60-х годов XX века, когда пролегли границы окончательно размежевали выживших. «Два мира» — это изысканный Василий Витальевич Шульгин в фильме 1964 года «Перед судом истории». Или полет в космос Гагарина. А Зазубрин говорил из еще не застывшего, из красной глины, из самого процесса, что ценно причастностью, но в полной мере не позволяет ни понять старое, ни очертить новое. Это неизбежно вело к размытости и пограничности, что прекрасно олицетворяет все творчество Зазубрина — не старое и не новое, а рожденное на сломе эпох.

Время было такое: 25 октября 1917-го воздух в Петрограде прогрелся до двух градусов тепла, то и дело шел дождь; в октябре бесхлебная столица почему-то была завалена горами яблок⁵¹; далекий от Петрограда купец Иннокентий Пшеницын мирно дышал на стекло, чтобы рассмотреть за ним градусник; и не догадывался никто, что тысячелетней России последний отмерен день.

А над ними уже выходила, поднималась из тумана, из сырости оврагов, из темени колодцев и провалов меж волн — вставала Она, чадом умытая, русская ширококозадая, ненасытная баба-революция.

⁴⁹ Зазубрин В. Я. Общежитие. С. 363—368.

⁵⁰ Тихменев Ф. В. Я. Зазубрин в Канске // Сибирские огни, 1970, № 3. С. 153.

⁵¹ Яблочная спекуляция // Петроградский листок, 1917, 25 октября. С. 5.

ИЗДАНО В СИБИРИ

Ермаково поле. Сибирской славы корни вековые: книга-альбом. А. Г. Елфимов, ред.-сост. Н. А. Ягодинцева. — Тобольск, издательский отдел ТРОБФ «Возрождение Тобольска», 2020.

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» издал книгу «Ермаково поле. Сибирской славы корни вековые». Соратник основателя фонда «Возрождение Тобольска» А. Г. Елфимова известный поэт Юрий Перминов в предисловии к книге написал: «Тобольский парк получил от своего создателя ко многому обязывающее имя — “Ермаково поле”, но он одновременно и елфимовский, поскольку сады всегда похожи на своих создателей. Парк — ключ — символ и к пониманию выбранного Елфимовым жизненного пути».

В книге «Ермаково поле» А. Г. Елфимов подробно рассказывает о творческих людях, словом и делом помогавших создать «ландшафтный историко-культурный парк с его монументальной составляющей и растениями».

Повесть Елфимова о художниках, ученых, скульпторах, архитекторах — это увековечивание имен талантливых и бескорыстных людей, совершающих свои деяния в соответствии с внешними, экзистенциально выверенными православными традициями, с собственными эмоциями, с собственным характером.

Прочитав небольшой фрагмент письма А. Г. Елфимову великого писателя Валентина Распутина: «...Должен поблагодарить за книги, которые Вы издаете... [они] все больше и больше удивляют не только своим превосходным видом, но и содержанием, но и подбором авторов, но и необходимостью теперь в наше время. ...Вы за годы сделали столько, что и за последнее столетие не удалось сделать. И всей Сибири надо низко поклониться Вам».

Книга «Ермаково поле. Сибирской славы корни вековые» также производит огромное впечатление и более того — может служить методическим пособием при

создании подобных исторических парков в разных регионах нашей страны.

Заплавный С. А. Томск изначальный. — Томск, 2020.

Известный писатель, общественный деятель Сибири, почетный гражданин Томска С. А. Заплавный опубликовал очередное историческое повествование — «Томск изначальный». Родился С. А. Заплавный в Чимкенте, жил в Алма-Ате, Усть-Каменогорске, а затем поступил в Томский университет, после окончания которого всю последующую жизнь связал с Томском.

В книге «Томск изначальный» рассказывается об исторических событиях конца XVI и первой половины XVII веков, происходивших в Сибири.

Автор отводит в книге целую страницу, перечисляя тех, кто из разных волостей и губерний прибыл на строительство города, показывая тем самым, что строила Томск вся Россия. «Это были люди крепкой породы — выносливые, жизнелюбивые, прямодушные, готовые воевать, если придется, но лучше дружить, как дружил до них с “сибирцами” атаман Ермак и его дружина».

С. А. Заплавный всегда был мастером исторической прозы, и писатель Валентин Распутин еще в январе 1997 г. отзывался о книге Заплавного «Рассказы о Томске» так: «В книгах своих он писатель-историк, писатель-краевед и всегда — писатель-патриот. Его “Рассказы о Томске” — художественная и увлекательная энциклопедия русского города, написанная изящно и исследовательски глубоко. <...> В художественных книгах, которые я знаю (в повести “Марейка” и романе “Укрепи мою память”), Сергей Заплавный показывает себя мастером тонкого и психологического письма с сибирским привкусом...» Это высказывание Распутина можно отнести и ко всему творчеству Сергея Заплавного.

Станислав Ломакин

Андрей КУЗНЕЦОВ

СЛОЖНЫЕ ОТТЕНКИ ПРОСТЫХ КРАСОК

Янина Болдырева — художник легкий. Она относится к тому типу творческих людей, у которых нет страха перед новым материалом: в одно и то же время может работать над фотопроектом (а фотография для нее — особая любовь), создавать графику, писать огромную, в сотни квадратных метров, стенопись. За этой легкостью и свободой, способностью адаптироваться, конечно, стоит и профессионализм — навыки, приобретенные в учебном классе: Янина Болдырева — дипломированный художник-монументалист, окончила Новосибирскую архитектурно-художественную академию. И она очень темпераментна, что влияет на ее вовлеченность в художественный процесс, на творческую активность и разнообразие интересов.

Большинство сибирских художников редко меняют даже авторскую манеру, не говоря уж об излюбленной теме или жанре. Для деятеля искусства, интегрированного в арт-рынок, узнаваемость — гарантия продаж, успех напрямую связан с ответом на ожидания потребителя, постоянство и устойчивость стиля диктует «школа», художники часто стремятся опереться на традицию, воспринимаемую как набор удачных решений, готовых лекал; отчасти это обусловлено привычной замкнутостью художественного мира, его «герметичностью», отчасти — тем, что общество и зрители, особенно в провинциальных городах, воспринимают искусство как каноничный набор узнаваемых «вещей».

И отчужденность художников, и предсказуемость реакции зрителей — следствие общей заторможенности культурных процессов. Но последнее десятилетие резко поменяло расстановку сил

в художественном мире — исчезла качественная разница между провинциальным и столичным искусством, более того — провинциалы получили своего рода «бонус»: их опыт, образы и сама материя провинциальной жизни оказались отличным материалом для искусства. Художники «из регионов» активно пробивают себе путь в большом искусстве, многие весьма успешно выставляются в столицах. Мастера генерации, к которой принадлежит Янина Болдырева, свободны от привычки преклонения перед авторитетами — у них словно не было учителей, они не принадлежат какому-либо традиционному кругу, группе, союзу. Между ними и реальностью, из которой они черпают свои образы, нет прокладки, посредника, того школьного фильтра, который стирает индивидуальность множества художников старших поколений.

Молодые же художники динамичны и способны, как Янина, одновременно создавать совершенно разные художественные продукты: от фотокниг до авторских украшений. Болдырева, как и многие из ее поколения, принципиально делает искусство неконформистское, не ориентированное на локальный коммерческий успех. Никто и никогда не гарантирует художнику, что его путь верен, — многие вещи осмысляются и оцениваются *post factum*, но Янина Болдырева не боится экспериментировать, для нее процесс явно интереснее результата. Многие из создаваемого ею далеко от того, что у нас считают «современным искусством», в котором доминируют интеллектуально выстроенные сухие конструкты или юмористические «гэги», напротив, заигрывающие с публикой.



**Я. Болдырева. «Теплушка»
(малотиражная книга)**

Графика и муралы¹ Болдыревой по форме вполне традиционны, но при этом ее произведения невозможно до конца «прочитать» — в них всегда остается некий иррациональный остаток, нечто не поддающееся одномерной интерпретации. Особый эмоциональный заряд, недосказанность, метафизическая утонченность — то, к чему художница стремится во всех своих произведениях.

Многослойность — одно из слов, описывающих метод Янины, ведь для нее работа с этой слоистой природой объекта — средство достижения художественного эффекта. Прежде всего художница играет с материальной многослойностью «носителя» — рисунка и фотографии, — и эта игра всегда создает дополнительное смысловое измерение. Особенно активно Янина экспериментирует в своих авторских малотиражных книгах и «зинах»², объединяющих изображения и текст. В «Теплушке», одной из последних книг художницы, читатель, например, вынужден стать соавтором (разрезать специальным лезвием листы) для того, чтобы прочесть скрытый текст, — этот жест как бы

¹ Мурал — уникальный вид монументальной живописи, сочетающий черты традиционной фрески и современного стрит-арта, в России часто используется для обозначения крупных настенных росписей.

² Зина (сокращение от английского magazine) — любительское малотиражное издание на любую тему.

материализует образ раны, проходящий через всю книгу. Однозначность, банальность, повторяемость идей и приемов — главные болезни современного искусства, но Болдырева явно пытается уберечься от них.

Еще один метод, которым пользуется Янина, — коллажирование. Художница стремится совместить различные планы бытия в своих фотосериях, где поверхность повседневной жизни способна обнаружить драматическую глубину и хрупкую красоту. Янина Болдырева в ряде своих фоторабот сумела заметить и донести до зрителя

в концентрированной форме нечто большее, чем случайный орнамент реальности, — природа образа в этих вещах основана на том, что визуальный материал, его текстура, заключенные в рамку авторской композиции, становятся осмысленным и требующим осмысления текстом, сообщением-«меседжем» («белая» зимняя серия фоторабот, ставшая основой «зина» и выставки «На всем белом»). Этот метод, конфликтно сталкивающий смысловые «слои» реальности между собой и устанавливающий таким образом новые смыслы, напоминает своей заостренностью и парадоксальностью то, что делалось в графическом жанре арт-плаката в 1970—1990-е годы. В графическом языке плаката идея и «концепт» нашли отточенное визуальное воплощение в лаконичном, но визуально богатом графическом языке. Конечно, работы Янины, ее задокументированные визуальные «путешествия», далеки от какой-либо плакатности, но они способны быстро найти эмоциональные «болевые точки» зрителя. Художница стремится избежать чисто формального подхода в своем изобразительном языке — и фотографии, и рисунки Янины, даже кажущиеся мимолетными, случайными фрагментами, всегда — плод некоей эмоциональной медитации-размышления.

В высшей степени эмоционально Янина реагирует на самые болезненные темы

нашего времени — взаимное отчуждение людей (это сильно звучит в серии «На всем белом», в которой темы «замороженной» коммуникации, фрагментирования жизни и отчужденности — одни из главных), человеческие конфликты и пассивность.

Люди, блуждающие в снегах, поскользнувшиеся на льду, — метафора тотальной социальной отчужденности. Снежная Сибирь, своеобразный «край земли» — не только привычное пространство нашей жизни, но источник мощных образов, человеческих и природных. Снег в его различных ипостасях — материя говорящая. Это многомерный символ, это слово на множестве языков — от политического до экзистенциального.

Еще одна болезненная тема — война, разрывающая связи между людьми, война как средство расчеловечивания и всеобщего истребления (совместная работа Янины Болдыревой и Александра Исаева «Зона разрывов»).

Речь идет не только о локальных и глобальных конфликтах, разрушающих единство человеческого рода, — война может быть и образом жизни добропорядочных граждан в окружающей нас повседневности. Янина и Александр осмысливают войну как деформацию формы, как разрыв и телесную травму — зеркальное повторение травмы духа, его уничтожения.

Память, ее иррациональная творческая природа, подменяющая утраченную реальность воображением, — мотив, который художница использует в своих украшениях из дерева и старых зеркал. В этой серии банальное украшение (бижутерия) становится настоящим произведением искусства, способом размышления о человеческой жизни, утрате и обретении памяти.

В своих монументальных работах художница часто обра-

щается к фигуративным мотивам: человек и способы его существования, «вещество» жизни — вот объект исследований Янины как монументалиста (работа «Круговорот жизни» во внутреннем двореке между «болгарским домом» и зданием Облпотребсоюза на углу ул. Орджоникидзе и Красного проспекта, композиция в Военном городке, «Денисовский человек и палеогенетика» на ул. Терешковой). Человеческое лицо и тело, увеличенные во много раз, — основа большинства муралов Янины — создают почти сюрреалистический эффект присутствия.

Можно много спорить о ценности уличного искусства, но очевидно то, что Янина Болдырева и ее коллеги по объединению «Людистен» и соратники по фестивалю «Графит Науки», проходившему в новосибирском Академгородке, попытались дать стрит-арту Новосибирска некий новый импульс, сделать его более профессиональным.

Последний проект Болдыревой (большая графическая серия «Коллективные бездействия») представлен новосибирским любителям искусства в новой галерее «ПОСТ» (Свердлова, 3) и объединяет в единый пространственный текст графические листы, выполненные в оригинальной технике (уголь и черная акварель), ряд крупноформатных работ (белая акварель и мел на черной битумной бумаге) и аудиовизуальную инсталляцию.



Я. Болдырева. «Теплушка» (малотиражная книга)



Я. Болдырева.
Украшение
(дерево, зеркало,
фотография)

Графика, представленная на выставке, создана Яниной Болдыревой в период карантина и самоизоляции (весна — лето 2020 г.) — во время глобальной остановки всех общественных процессов, когда общество оказалось распылено на первичные «атомы».

Разобщенность и крах привычных коммуникаций, вынужденная дистанция стали неотъемлемыми условиями жизни, новыми правилами игры. Мгновенная остановка привычных рутинных процессов выявила суть коллективного невроза, переживаемого всеми нами. Его природа — в тотальном взаимном отчуждении индивидуумов, в неспособности соединить векторы индивидуальных волей воедино.

Оптимизм и здоровье уступили место сомнению и болезни (изображение закрытого стационара для заразных больных с его непривычным визуальным ритмом коек, стоящих в отдалении друг от друга, — зримый символ новой реальности — один из самых сильных и шокирующих). Сублильные фигурки, подхваченные хаотическим броуновским движением, то оказываются на листах Янины в декорациях платоновского «Котлована», то водят хороводы вокруг разрушающегося «Хрустального дворца» (образ технократического оптимизма), то отдыхают на пустыре гигантского коллек-

тивного пикника (еще одна тема, на этот раз — «французская»).

Один из самых впечатляющих листов серии изображает массовую зарядку — образ давно ушедшего санаторного досуга исчезнувшей страны — СССР. Приметы последнего времени: лозунги, включенные, подобно свечам, смартфоны, флаги и шарики — всего лишь реквизит, образы уходящей природы 2000-х, но они подобны атрибутам минувшего... Тени коллективного бессознательного, выведенные Яниной на сцену черно-белого паноптикума, — образы былой и нынешней жизни, вечно изменчивой и в то же время постоянной в своих формах. Ее мертвящий автоматизм может преодолеть только личность, способная на осмысление и творческую трансформацию реальности.

Конечно, для того, чтобы расшифровать «иероглифы» Янины Болдыревой, нужен некоторый опыт, чуткость и культура, но искусство всегда требует усилий со стороны воспринимающего и не сводимо к повторению очевидного.

Янина Болдырева — молодой художник, и естественно то, что в процессе развития многое будет переосмыслено и отброшено, но поиск — основа подлинной свободы, без которой настоящего искусства не бывает.

АВТОРЫ НОМЕРА

Аржаникова Марина Владимировна родилась в 1958 г. в Томске. Окончила Томское музыкальное училище. Почти три десятка лет руководила фольклорным коллективом «Пересек» при Томском политехническом университете. Публиковалась в «Сибирских огнях». В настоящее время живет в США.

Бутрин Андрей Владимирович родился в 1972 г. в Новосибирске. В 1994 г. окончил Новосибирский государственный педагогический университет, в 1999 г. — Новосибирское театральное училище, в 2007 г. — ГИТИС. Работал актером в театре «Старый дом». С 2007 г. преподает в Новосибирском государственном театральном институте, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры. Живет в Новосибирске.

Злобин Володя родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (2017). Живет в Новосибирске.

Зонов Никита Владимирович родился в 1968 г. в Томске. Учился в Томском государственном университете на физическом и философском факультетах. Работал на руководящих должностях на томских промышленных предприятиях. Публиковался в различных советских и российских литературных сборниках и журналах. Живет в Томске.

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор нескольких книг стихов и литературно-критического сборника «Быть при тексте». Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

Кононов Дмитрий Алексеевич родился в 1988 г. в Омске. Окончил Омский государственный университет. Работает преподавателем перевода. Финалист Национальной премии «Русские рифмы. Русское слово» (2019). Живет в Омске.

Корицкая Полина Николаевна — поэт, прозаик, детский писатель, автор-исполнитель. Родилась в Томске. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (семинары Ю. П. Кузнецова, Г. И. Седых). Победитель фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» (2019). Публиковалась в газете «Литературная Россия», журналах «Подъем», «Юность», «Начало века». Автор книг поэзии и книги прозы. Живет в Москве.

Кузнецов Андрей Александрович родился в 1975 г. в Новосибирске. Учился на филологическом факультете НГПИ, затем — в Новосибирской архитектурно-художественной академии. Преподаватель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, автор статей о новосибирских художниках. Живет в Новосибирске.

Кузнецова Полина Ильинична родилась в 1997 г. в Королёве. Окончила в 2020 г. Литературный институт им. А. М. Горького. Работала преподавателем, литературным редактором. Живет в Королёве.

Лобанов Валерий Витальевич родился в 1944 г. в Иванове. Окончил Ивановский государственный медицинский институт. Более 30 лет работал анестезиологом-реаниматологом в ЦРБ г. Одинцово Московской области. Публиковался в журналах «Арион», «Юность», «Урал», «Новый мир», в «Литературной газете», «Новой газете» и других изданиях. Автор пяти поэтических книг. Член Союза российских писателей. Живет в Одинцове.

Мардань Александр Евгеньевич родился в 1956 г. во Владивостоке. Драматург, прозаик, член Национального союза писателей Украины, лауреат многочисленных премий, заслуженный деятель искусств Украины. Проза и пьесы публиковались в альманахах и журналах «Театр», «Современная драматургия», «Москва», «Сибирские огни» и др. Живет в Одессе (Украина).

Неклюдов Андрей — прозаик, член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Нева», «Костер», «Северная Аврора», «Сибирские огни» и др. Автор книги «Нефритовые сны», нескольких книг для подростков, энциклопедии для школьников «История Сибири». Лауреат Международного конкурса детской и юношеской художественной литературы им. А. Н. Толстого. Живет в Санкт-Петербурге.

Рябов Дмитрий Геннадьевич родился в 1969 г. в Киселёвске Кемеровской области. Автор двух поэтических книг. Пьесы публиковались в журналах «Современная драматургия», «Сибирские огни». Спектакли поставлены в профессиональных театрах Армавира, Дмитровграда, Калининграда, Костромы, Новосибирска, Харькова, Тамбова и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Чепурнов Юрий — поэт, драматург. В 1993 г. по окончании Новосибирского театрального училища поступил на службу в театр «Старый дом». В 2000 г. перешел на работу в Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. С 2010 г. занимается собственными проектами. Живет в Новосибирске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 03.12.2020. Дата выхода № 1 за 2021 г. в свет 21.01.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.